АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ • ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
МАЖЮЛИС В. П.
МЕЛЬНИЧУК А. С.
РАСТОРГУЕВА В. С.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АЛПАТОВ В. М.
АПРЕСЯН Ю. Д.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ДЫБО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)
ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОБОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРБАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1988 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). Происхождение и типология алфавитной системы письма (Письменные системы раннехристианской эпохи) (Окончание) 5
Десницкая А. В. (Ленинград). Теория ранней ступени номинативного строя (О труде С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования») 34
Эдельман Д. И. (Москва). Некоторые проблемы сравнительно-исторической морфологии иранских языков 45
Бидэм К р. (Файф, Шотландия). Видовое значение конструкции «*быть* + + страдательное причастие» 63

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Иванов Вяч. Вс. (Москва). О лингвистических исследованиях П. А. Флоренского 69
Флоренский П. А. Антиномия языка 88

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Малаховский Л. В. (Ленинград). Новое в англо-американской лексикографии 126

Рецензии

Жлуктенко Ю. А. (Киев). Wurdboek fan de Fryske taal 135
Уваров Ю. П. (Москва). *Гринева Е. Ф., Громова Т. Н.* Словарь разговорной лексики французского языка 138
Невлева Т. Н. (Ленинград). *Чан Нгок Тхем.* Система текстовой связности вьетнамского языка 141
Дарбеева А. А., Тенишев Э. Р. (Москва). *Орловская М. Н.* Язык «Алтан тобчи» 144
Бокадорова Н. Ю. (Москва). Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века 146

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 150
Указатель статей, опубликованных в 1988 г. 158

CONTENTS

G a m k r e l i d z e Th. V. (Tbilisi). Origin and typology of the alphabetic system of writing (End); D e s n i c k a j a A. V. (Leningrad). Theory of the early stage of the nominative system in language (on S. D. Kacnel'son's work «Historical-grammatical investigations»); E d e l' m a n Dž. I. (Moscow). Some problems of comparative-historical morphology of the Iranian languages; B e e d h a m C h r. (Fife, Scotland). Aspectual meaning of the construction «the verb *to be* + past participle»; **From the history of science:** I v a n o v V. V. (Moscow). On the linguistic investigations of P. A. Florenskij; F l o r e n s k i j P. A. Antinomy of language; **Surveys:** M a l a x o v s k i j L. V. (Leningrad). New publications in Anglo-American lexicography; **Reviews:** Z l u k t e n k o Ju. A. (Kiev). Wurdboek fan de Fryske taal; U v a r o v J u. P. (Moscow). *Grineva E. F., Gromova T. N.* Dictionary of colloquial French; N e v l e v a T. N. (Leningrad). *Tran Ngoc Them.* System of text-cohesion in Vietnamese; D a r b e e v a A. A., T e n i š e v E. R. (Moscow). *Orlovskaja M. N.* The language of «Altan toběi»; B o k a d o r o v a N. J u. (Moscow). The concepts of historical continuity and development in linguistics of the first half of the XIX century; **Scientific life.**

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ АЛФАВИТНОЙ СИСТЕМЫ ПИСЬМА

(Письменные системы раннехристианской эпохи)

II

10.1. Сравнительное изучение различных древних алфавитных систем письма восстанавливает типологию возникновения письменности и дает общую картину процесса создания алфавитного письма на основе взятой за образец письменной системы, служащей некоторой моделью для вновь создаваемой письменности.

Первый и основной этап этого процесса — расчленение звуковой стороны языка на отдельные звуковые единицы, которые следовало бы выразить на письме особыми графическими символами, т. е. в сущности создание плана содержания письменной системы. Этот основной этап создания письменности представляет собой в принципе фонетико-фонемный анализ языка [49, с. 226], проводимый на основе сопоставления фонетической стороны языка со звуковыми единицами, которые представлены в определенной последовательности в письменной системе, взятой за образец [35]. В результате письменная модель индуцирует в языке, для которого создается письменность, определенное множество звуковых единиц, совокупность которых и составляет план содержания вновь создаваемой письменной системы.

Выделение и расположение в определенном порядке звуковых единиц языка, для которого создается письменность, предполагают одновременно и изобретение определенных графических символов, с помощью которых должны выразиться эти выделенные по конкретному письменному образцу звуки, т. е. в сущности создание наряду с планом содержания и плана выражения письменной системы. Эти два процесса — выделение и расположение звуковых единиц языка в определенной последовательности и создание графических символов для их выражения — являются взаимосвязанными процедурами, предполагающими друг друга. Оформление как плана содержания, так и плана выражения письменной системы представляет собой единый творческий процесс ее создателя [36].

---

[35] Поскольку каждая письменная система, и в особенности алфавитная система письма, предполагает имплицитно предварительный фонетико-фонемный анализ языка со стороны ее составителя, соответственно каждая письменная система являет собой древнейший образец лингвистического исследования данного языка.

[36] За каждой письменной системой, будь то старосемитская, архаическая греческая, коптская, древнеармянская, готская, старославянская и др., стоит конкретная личность ее создателя, который по заранее намеченному плану оформляет на основе определенного письменного прототипа новую письменность для своего языка. Не следует представлять себе процесс создания письменности в виде некоторого коллективного творчества, т. е. таким образом, будто одним лицом в определенный момент созда-

10.2. Самым простым и естественным способом оформления плана выражения вновь создаваемой письменной системы было бы точное воспроизведение начертания соответствующих графических символов системы-прототипа, представленных в определенной последовательности. «Добавочные» знаки, выражающие специфические для данного языка звуки, могли быть заимствованы из других письменных источников, в которых представлены звуки, фонетически схожие с этими специфическими звуками, или созданы путем графической модификации определенных знаков данной системы.

Примером подобного метода создания плана выражения новой письменности может служить архаическое греческое письмо, которое в сущности повторяет парадигматику и начертание знаков старосемитской письменности. Добавочные знаки греческой системы создаются позднее путем графической модификации основных знаков системы или путем их заимствования из других письменных источников.

Аналогичного характера с точки зрения плана выражения системы являются коптский и готский алфавиты, а также старославянская к и р и л л и ц а, которые основаны на греческой письменности не только в отношении внутренней структуры, но и в отношении формы и начертания соответствующих знаков греческого унциального письма.

10.3. В процессе создания письменности для какого-либо языка L звуковые единицы этого языка выделяются путем сопоставления со звуками языка L′, представленными в определенной последовательности в письменной системе L′, которая берется в качестве образца или модели для вновь создаваемой письменности.

Выделенные таким образом фонетически сходные звуки языка L располагаются по образцу исходного алфавита языка L′ и получают соответствующие графические выражения. Иными словами, происходит установление звуковых соотношений на основе фонетического сходства звуков языка L и языка L′, письменность которого берется за образец для вновь создаваемой письменности.

В результате установления таких фонетических соотношений звуковой состав языка-прототипа L′ и последовательность звуков в исходной письменности естественно «отображаются» на соответствующий фонетический ряд языка L, для которого создается письменность; парадигматика исход-

---

ется какое-то количество письменных знаков, далее кто-то добавляет еще какое-то число знаков, позднее появляются еще определенные знаки и т. д., пока не возникнет графическая система, достаточная для выражения основных звуковых единиц языка.

Письменность (если она является таковой) с самого же момента ее создания представляет собой уже довольно полную систему с достаточным количеством графических символов, необходимых для выражения основных характерных для данного языка звуковых противопоставлений. В дальнейшем, в процессе эволюции созданной таким образом (т. е. в результате единого творческого акта ее создателя) письменной системы, письменность может претерпевать определенные системные и графические преобразования с целью ее усовершенствования и более полного и адекватного выражения звуковых противопоставлений (ср. создание дополнительных знаков для выражения вокалической долготы, а также для придыхательных p^h и k^h в греческой письменности) или отражения на письме звуковых преобразований языка. Возможные графические преобразования письменности выражаются в изменениях со временем в начертаниях знаков и в общем графическом облике письма, обусловленных меняющейся манерой письма. В этом смысле в отношении любой письменной системы можно поставить вопрос: известна ли нам данная письменность в той форме, в какой она вышла из рук ее создателя, или дошедшая до нас письменность представляет собой позднюю ее разновидность, сформировавшуюся в результате системного и графического преобразования первоначальной системы?

ной письменности языка L′ отображается на парадигматику вновь создаваемой письменности. Эта последняя определяется, индуцируется парадигматикой письменной системы языка L′, взятой за образец.

Если в языке L1, для которого создается письменность, оказывается бо́льше звуковых единиц, чем в языке L′, письменность которого берется за образец, то во вновь создаваемую письменность приходится вводить бо́льшее количество графических символов для выражения добавочных звуков, отсутствующих в языке-прототипе (ср. с этой точки зрения коптскую или армянскую системы по отношению к греческой или греческую по отношению к старосемитской).

Подобные добавочные графические символы, выражающие «дополнительные» с точки зрения языка-прототипа звуки, добавляются в определенной последовательности к основной части графем, отражающей парадигматику письменной системы, взятой за образец (ср. коптскую систему по отношению к греческой, греческую по отношению к старосемитской). Такие добавочные графические символы могут помещаться и вперемежку с символами основной части, в результате чего во вновь создаваемой системе нарушается парадигматика исходной письменной системы (ср. армянскую систему по отношению к греческой).

В случае обратного соотношения, т. е. при большем количестве звуковых единиц в языке L′, письменность которого берется за образец, остается целый ряд избыточных символов, выражающих «излишние» с точки зрения языка L звуки.

Практически редки (возможно, исключены) случаи, когда звуковое множество одного языка целиком и полностью совпадает фонетически со звуковым множеством другого. Обычно в каждом из сравниваемых языков помимо некоторого множества фонетически сходных звуков выделяется определенная группа звуков, специфичных для каждого языка.

В таком случае во вновь создаваемой письменности происходит замена фонетических значений системы, взятой за образец, на специфичные для данного языка звуковые значения при сохранении мест в алфавитном ряду, унаследованных от парадигматики системы-прототипа (ср. в греческой системе места знаков для гласных и соответствующие места для ларингально-фарингальных согласных в старосемитской парадигматике; ср. также в готской парадигматике знаки для звуков q h^w в сопоставлении с греческой системой, где на соответствующих местах представлены знаки для согласных t^h $\widehat{ps}$ и др.).

Такая замена, субституция фонетических значений во вновь создаваемой письменности мотивирована тенденцией к сохранению парадигматики системы-прототипа в новой системе и к изоморфному воспроизведению тем самым буквенного выражения числовых значений исходной письменности [37].

Добавочные знаки в этих системах также создаются путем графической модификации основных знаков или заимствования отдельных символов из других письменных источников (в некоторых случаях из более ранних письменных систем того же языка; ср. демотические знаки в коптском,

---

[37] С этой же целью в некоторых случаях во вновь создаваемой письменной системе сохраняются знаки, не выражающие никаких значений, помимо числовых. Такие знаки-эписемоны характерны для самой греческой системы и для письменных систем, основанных на греческой (ср. в позднегреческой системе знак *στίγμα* — «6», *κόππα* — числовое значение «90»; готский знак с числовым значением «90», готский знак с числовым значением «6» и др.).

рунические знаки в готской письменности и глаголические знаки в кириллице).

10.4. Совершенно иной путь оформления плана выражения письменности представляет случай, когда графические символы системы-прототипа переносятся во вновь создаваемую систему не в той же графической форме, а с некоторыми (возможно, значительными) графическими модификациями, которые изменяют, зачастую до неузнаваемости, первоначальную форму исходных знаков системы-прототипа (ср. начертание знаков глаголицы в сопоставлении с греческим минускульным письмом).

Подобная графическая модификация взятой за образец письменной системы могла осуществляться сознательно, с целью скрыть зависимость и связь вновь создаваемой письменности с системой письменности-прототипа.

Крайнее выражение этой тенденции представляет древнеармянская письменность «Еркатагир», в которой полностью заменяется план выражения греческой системы-прототипа. Графические символы «Еркатагира» изобретены в основном независимо от греческой графики в результате оригинального творчества его создателя с использованием различных негреческих графических образцов.

В этом отношении древнеармянская письменность противостоит типологически другим письменным системам, опирающимся на греческую письменность: коптской, готской и старославянской кириллице. В типологической группе письменных систем, основанных на греческом прототипе, рассматриваемые системы занимают крайние полюсы. Между ними может быть помещена старославянская глаголица, которая не полностью порывает графически с греческой системой, а представляет соответствующие знаки системы-прототипа в виде крайне модифицированных и графически стилизованных письменных символов.

К этой же типологической группе письменных систем, восходящих к греческому прототипу, следует отнести еще одну письменность — древнегрузинское письмо «Асомтаврули».

11.1. Создание древнегрузинской алфавитной письменности по образцу греческого письменного прототипа, происхождение ее от греческой системы письма можно установить на основании целого ряда внутренних структурных показателей древнегрузинской письменной системы.

11.2. Древнегрузинская письменность была создана для письменной фиксации грузинского языка определенного периода путем выражения основных звуковых единиц языка с помощью специальных графических символов.

Заметной спецификой звуковой системы грузинского языка на всем протяжении его развития является поразительный фонетический консерватизм системы, сохраняющей звуковую структуру грузинского языка древнейшего периода до наших дней без значительных фонетических преобразований. Этим и объясняется в большой степени то, что грузинская письменность сохраняет в полной мере однозначность соответствий между звуковыми единицами языка и графическими символами письма как в парадигматике, так и синтагматике, что является одной из основных характеристик вообще алфавитной системы письма при ее создании и на начальных этапах ее развития [38].

[38] Во многих изначально алфавитных системах письма, созданных для адекватного выражения звуковой стороны языка, в результате более или менее значительных преобразований звуковой системы написание слов уже не отображает полностью их реального произношения; звуковая синтагматика языка все более отдаляется от графической синтагматики, отражавшей звуковой облик соответствующих слов при соз-

Как было отмечено выше, первым и обязательным этапом в процессе создания письменности и в особенности алфавитной системы письма является предварительная сегментация звуковой системы языка на отдельные звуковые единицы, которые должны быть выражены с помощью особых графических символов. В сущности от этого предварительного анализа звуковой стороны языка зависит характер и степень функциональной адекватности письменной системы звуковым противопоставлениям, которые должны быть выражены на письме. Чем более последователен и полон предварительный звуковой анализ языка, тем более совершенна письменность, отображающая его звуковой состав, тем более соответствует она целям графической фиксации языка.

Изучение с этой точки зрения древнегрузинской письменности «Асомтаврули» показывает, что создатель грузинского алфавита с поразительной точностью и полнотой передает звуковые противопоставления современного ему грузинского языка; с исчерпывающей полнотой учитывает он звуковой (фонемный) инвентарь, передача которого на письме необходима для адекватного письменного выражения грузинского языка.

Звуковой инвентарь грузинского языка настолько полно и адекватно отображен в древнегрузинской письменности «Асомтаврули», что в дальнейшем грузинская письменность не претерпевает особых структурных изменений (скажем, добавления знаков для обозначения звуковых противопоставлений, остававшихся невыраженными в старой системе, как это имело место, например, в позднегреческих системах письма по сравнению с архаической греческой системой).

11.3. Какая письменная система служит для создателя древнегрузинского алфавита моделью, письменным образцом, по которому были выделены в грузинском звуковые единицы и расположены в определенной последовательности, отражающей парадигматику системы-прототипа; по какой системе был построен вновь созданный грузинский алфавит? Это и есть в сущности проблема происхождения древнегрузинской письменности «Асомтаврули», сведенная к решению конкретной задачи — установлению того, на какую письменную систему опирается древнегрузинская письменность как на свою письменную модель или прототип, определивший ее строение и парадигматику.

В качестве системы-прототипа в указанном выше смысле для древнегрузинской письменности вообще можно было бы предположить два основных письменных источника — старосемитскую письменность (или вос-

---

дании алфавитной письменной системы и на ранних этапах ее развития, пока еще сохранялся древний фонетический облик слов (ср. [7, с. 7; 3, с. 11]).

В таких более поздних алфавитных системах графический облик отдельных слов представляет собой уже в сущности условный знак для выражения их звуковой стороны. Отдельные графические символы в таких системах могут выступать в синтагматике уже не как выразители отдельных звуков-фонем, а в качестве графических элементов некоторой синтагматической совокупности, выражающей звуковую сторону целого слова (ср., к примеру, написания отдельных слов в современном английском или французском).

Логическим завершением такого несоответствия в развитии фонетической стороны языка и древней синтагматики письма может быть превращение алфавитной по происхождению письменности в квазилогографическую систему с отдельными знаками или синтагматическими группами знаков, выражающими целые слова (при полном несоответствии между звуковыми значениями этих знаков и звуками, составляющими эти слова). Письменность как бы порывает всякую связь со звуковой стороной языка, превращаясь в независимую от языка систему с определенным количеством графических символов и особыми правилами синтагматики, отражающими древнюю звуковую синтагматику. Только в этом смысле можно говорить об автономности системы письма по отношению к звуковому языку (ср. [50, 51]).

ходящие к ней другие семитские письменные системы, ср. [52]) или греческую алфавитную письменность (или восходящие к ней другие алфавитные системы письма [28, 53] и др.).

11.4. В любом случае (т. е. при допущении семитского или греческого письменного прототипа) заранее ясно одно: при соотнесении этих систем со звуковыми единицами грузинского языка в грузинском, характеризующемся более богатым консонантизмом, выделилась бы целая группа согласных, не находящих фонетических эквивалентов в сопоставляемых системах. Такие грузинские согласные можно считать «добавочными», специфическими звуками с точки зрения звукового состава системы-прототипа.

Таким образом, в процессе создания древнегрузинской письменности при соотнесении звуков грузинского языка со взятой за образец системой письменности все множество звуковых единиц грузинского языка должно было разделиться на две части. Первая и основная группа звуков определялась звуковыми единицами сопоставляемой системы: эти звуки должны были распределиться сообразно с парадигматикой системы-прототипа. Вторая группа звуков включала бы в себя звуковые единицы, специальные с точки зрения сопоставляемой системы-прототипа и поэтому добавочные по отношению к основной группе, определяемой характером исходной письменной системы. Поэтому проблема происхождения древнегрузинской письменности характеризуется двумя основными аспектами: это, во-первых, установление того письменного прототипа, по образцу которого должна была сформироваться основная часть грузинского алфавита, и, во-вторых, выявление тех письменных источников и принципов, по которым должна была быть образована дополнительная часть алфавитного ряда, добавляемая к основной части для создания единой письменной системы.

Таким образом, проблема происхождения древнегрузинской письменности получает на этом этапе исследования еще более конкретное содержание и сводится к выяснению того, по какому письменному образцу была сформирована основная часть древнегрузинского алфавита, или, точнее, какой письменный прототип — семитский или греческий — определил внутреннее строение и структуру «основной» и соответственно «добавочной» частей древнегрузинского алфавита.

Ясно, что принятие греческой или семитской письменной системы в качестве основного письменного образца и прототипа по-разному оформило бы «основную» и «добавочную» части вновь создаваемой письменности, придало бы этим составным частям единой системы различный характер с точки зрения их звукового состава и парадигматической структуры.

11.5. Сравнение с этой точки зрения семитской и греческой систем письма с грузинской письменностью выявляет генетическую связь последней с греческой системой и исключает происхождение ее от семитской системы письма. В процессе создания древнегрузинского алфавита греческая система письма должна была быть использована в качестве письменной модели, по образцу которой должны были быть выделены звуковые единицы в грузинском и распределены в определенной алфавитной последовательности. Допущение греческой системы в качестве письменного прототипа при создании древнегрузинского алфавита делает вполне понятными структуру и характер «основной» и «добавочной» частей древнегрузинского алфавитного ряда: в добавочной части оказываются лишь те звуковые единицы грузинского языка, которые не имеют фонетических соответствий в греческом.

Древнегрузинское письмо „Асомтаврули"							
совр. печатная форма		фонетическое значение	наименование	совр. печатная форма		фонетическое значение	наименование
Ա	ა	a	an	Ռ	რ	r	rae
Բ	ბ	b	ban	Ս	ს	s	san
Գ	გ	g	gan	Տ	ტ	t'	t'ar
Դ	დ	d	don	Վ	ვ	wi	wie
Ե	ე	e	en	Փ	ფ	p^h	p^har
Զ	ზ	v	vin	Ք	ქ	k^h	k^han
Է	ზ	z	zen	Օ	ღ	ğ	ğan
Ը	ი	ej	he	Ֆ	ყ	q'	q'ar
Թ	თ	t^h	t^han	Ջ	შ	š	šin
Ժ	ი	i	in	Ռ	ჩ	č	čin
Ի	კ	k'	k'an	Ց	ც	c	can
Լ	ლ	l	las	Ւ	ძ	ǯ	ǯil
Խ	მ	m	man	Փ	წ	c'	c'il
Ծ	ნ	n	nar	Ք	ჭ	č'	č'ar
Կ	ჯ	j	je	Օ	ხ	x	xan
Հ	ო	o	on	Ֆ	ჰ	q^h	q^har
Ղ	პ	p'	p'ar	Ղ	ჯ	ǰ	ǰan
Ճ	ჟ	ž	žan	Ղ	ჰ	h	hae

При допущении семитской системы в основе древнегрузинской письменности ее «основная» и «добавочная» части характеризовались бы совершенно иной структурой и построением.

Вместе с тем следует отметить, что все те характерные структурные особенности, которыми греческая письменная система отличается от старосемитской и которые возникли на собственно греческой почве при создании греческой письменности из старосемитской или в процессе ее

последующего развития, всецело и полностью отражены в древнегрузинском алфавите. Все это явственно свидетельствует о происхождении древнегрузинской алфавитной системы из греческой письменности, а не непосредственно из семитской системы письма (см. с. 11).

Сопоставление древнегрузинской письменности с семитской и греческой системами выявляет отличный от семитского строй древнегрузинского алфавитного ряда и совпадение его в основном с греческой парадигматикой, которая и должна была послужить письменной моделью для создателя древнегрузинского алфавита. Девятая буква древнегрузинского алфавита *t'an* с фонетическим значением [t'] и числовым значением «9», выступает в качестве эквивалента знака ϑῆτα греческой системы (фонетическое значение [t'], числовое значение «9»). Характерно, что на соответствующем месте в старосемитской письменности стоит знак *ṭēt'*, выражающий эмфатический (непридыхательный) согласный [ṭ]. Этот знак переходит в греческую систему в значении придыхательного [t'], тогда как семитский знак *t'āw* для придыхательного [t'] заимствуется в греческий для обозначения греческого непридыхательного [t] (см. об этом выше).

Древнегрузинский алфавит и в этом отношении отражает специфику греческой системы, а не ее прототипа — старосемитской. В древнегрузинской парадигматике на девятом месте представлен знак *t'an* с фонетическим значением придыхательного [t'], а не глоттализованного [t'], чего бы следовало ожидать, ввиду фонетической близости глоттализованного [t'] и эмфатического [ṭ], в случае использования в качестве системы-прототипа старосемитской письменности. В то же время глоттализованное (непридыхательное) [t'] в грузинской системе выражается знаком *t'ar* (числовое значение «300»), соответствующим именно греческому ταῦ (числовое значение «300»), который обозначает непридыхательное греч. [t] (в отличие от своего семитского прототипа *t'āw* в значении придыхательного [t']).

Аналогичным образом, в парадигматике древнегрузинской системы на местах, соответствующих греческим κάππα (числовое значение «20») и πῖ (числовое значение «80»), представлены символы *k'an* и *p'ar* (числовые значения соответственно «20» и «80»), выражающие глоттализованные (непридыхательные) согласные [k'] и [p'], а эквивалентами греческих знаков φῖ (числовое значение «500», фонетическое значение [p']) и χῖ (числовое значение «600», фонетическое значение [k']) выступают символы *p'ar* и *k'an* (числовые значения соответственно «500» и «600»), выражающие, в полном соответствии с греческим прототипом, придыхательные согласные [p'] и [k'] [39].

В случае использования при создании древнегрузинской системы письма старосемитской письменности было бы естественно ожидать совершенно иной парадигматики смычных, иного распределения знаков для глоттализованных и придыхательных согласных в соответствии с парадигматикой системы-прототипа. В частности, в таком случае следовало бы ожидать распределения грузинских придыхательных /p' t' k'/, фонетически соотносимых с семитскими придыхательными /p' t' k'/, в соот-

[39] В процессе фонетического отождествления звуков грузинского языка со звуковыми единицами системы-прототипа глоттализованные согласные /p' t' k'/, характеризующиеся фонетически отсутствием придыхания, были, очевидно, приравнены к греческим глухим непридыхательным π τ κ, тогда как грузинские придыхательные /p' t' k'/ естественным образом были сопоставлены с соответствующими древнегреческими глухими придыхательными смычными φ θ χ.

ветствующих этим последним местах парадигматического ряда; то же самое касается и грузинских глоттализованных /t' k'/, близких фонетически к семитским эмфатическим *ṭ* и *q*. Они должны были бы занимать не те места в парадигматике, какие засвидетельствованы в исторической системе (числовые значения соответственно «300» и «20»), а места, соответствующие семитским *ṭ* и *q*. Знак для глоттализованной фонемы /p'/, не имеющей фонетического эквивалента в семитском, должен был бы оказаться где-то в «дополнительной» части парадигматической системы.

Отражение в парадигматике древнегрузинской письменности изменений, возникших при преобразовании старосемитской системы в греческую, а также в процессе последующего развития греческой письменности, является явным свидетельством зависимости древнегрузинской парадигматики от греческой письменности, послужившей ей в качестве системы-прототипа, в соответствии с которой и были выделены и распределены в определенном порядке звуковые единицы во вновь создаваемой системе.

11.6. Пятнадцатая буква древнегрузинского алфавита *je*, с фонетическим значением [i̯] и числовым «60», стоит в алфавитном ряду на месте, соответствующем греческому знаку ξῖ (фонетическое значение [ks͡], числовое значение «60»). Этот знак выражает неслоговой вариант сонанта /i̯/ в архаической системе грузинского языка; слоговой вариант [i] той же фонемы выражался специальным знаком *in*, который в грузинском алфавите представлен на месте, соответствующем знаку ἰῶτα греческой системы.

В случае с символом *je* налицо полное несоответствие между фонетическими значениями этого знака древнегрузинской системы и его парадигматическим эквивалентом в греческой системе ξῖ, занимающим пятнадцатое место в алфавитном ряду (числовое значение «60»), но выражающим специфическое для греческого фонетическое значение [ks͡] (в отличие от фонетического значения [i] соответствующего символа грузинской системы).

При составлении парадигматики древнегрузинской письменной системы парадигматическому эквиваленту греческого ξῖ в грузинском было приписано фонетическое значение [i] при замене первоначального значения греческого знака-прототипа [ks͡], «излишнего» с точки зрения фонетики грузинского языка.

И в этом факте недвусмысленно проявляется греческая основа древнегрузинского алфавита. При использовании старосемитской системы в качестве прототипа для древнегрузинской системы в этом месте алфавитного ряда следовало бы ожидать знака для обозначения свистящего спиранта [s], поскольку в соответствующем месте старосемитской системы стоит знак *sāmek*^{h}, выражающий свистящий спирант [s], фонетически схожий с грузинским свистящим спирантом [s]. Замена этого значения в древнегреческой системе на [ks͡], объясняемая особенностями развития архаической греческой системы письма, делает понятной субституцию фонетических значений [ks͡] → [i] уже при составлении древнегрузинской парадигматики на основе греческой. Полное устранение этого знака из грузинской парадигматики вызвало бы смещение числовых значений последующих знаков и тем самым нарушение системы числовых значений греческой системы-прототипа. Во избежание этого эквивалент греческого знака оставляется на соответствующем месте древнегрузинской парадигматической системы с соответствующим числовым, но специфичным для грузинской системы фонетическим значением.

Подобная субституция фонетических значений системы-прототипа фонетическими значениями, характерными для языка с вновь создаваемой письменностью, является одним из приемов сохранения в новой системе письма строя и парадигматики письма, взятого за образец. Очевидными примерами подобной процедуры могут служить фонетические субституции и замены, которые были осуществлены в коптской и особенно готской системах письма по сравнению с прототипной греческой письменностью.

11.7. Шестнадцатая буква древнегрузинского алфавита *on*, с фонетическим значением [o] и числовым значением «70», соответствует знаку ὁ μικρόν греческой системы с теми же значениями. Символ *'ajin*, выражавший в старосемитской системе ларингальный согласный /ʿ/ и преобразованный в архаическом греческом в знак для обозначения гласного [o], выступает в древнегрузинской системе, наподобие греческой, для выражения именно вокалической фонемы [o].

Графические символы *an*, *en*, *in*, *on*, выражающие в древнегрузинской системе письма гласные звуки и занимающие в парадигматике те же места, что и соответствующие знаки греческой системы, являются очевидным доказательством связи древнегрузинского алфавита с греческим в смысле использования последнего в качестве системы-прототипа для выделения звуковых единиц грузинского языка и их расположения в определенном парадигматическом порядке. Именно в греческом были впервые созданы особые знаки для выражения собственно гласных фонем, что превратило древнегреческое письмо, берущее начало от старосемитской консонантно-силлабической письменности, в последовательно алфавитную систему письма.

11.8. Восемнадцатая буква древнегрузинского алфавита *žan*, с фонетическим значением [ž] и числовым значением «90», занимает в парадигматике древнегрузинской письменности место, соответствующее греческому знаку κόππα (числовое значение «90»).

Появление фонетического значения [ž] в части древнегрузинского алфавита, соответствующей греческой парадигматике, может показаться на первый взгляд даже неожиданным, ввиду отсутствия в греческом фонем типа шипящего спиранта [ž]. Но это звуковое значение связалось в древнегрузинском алфавите с символом, соответствующим парадигматически греческому знаку κόππα, поскольку κόππα, восходящий к старосемитскому знаку *qōpʰ*, в сравнительно поздней греческой системе был лишен конкретного фонетического значения и употреблялся только для выражения числового значения «90» (см. выше). И в этом случае заимствующая система избегает устранения из алфавитного ряда системы-прототипа конкретного знака, хотя и лишенного определенного фонетического значения, дабы сохранить ее парадигматику и не нарушить систему соответствий числовых значений последующих знаков [40].

Следует отметить, что вытесненный из древнегреческого алфавитного ряда семитский знак *ṣādē*, стоящий в старосемитской парадигматике

---

[40] Характерно, что в готском алфавите на соответствующем месте в алфавитном ряду стоит восходящий к греч. κόππα графический символ без определенного фонетического значения, но с числовым значением «90». Аналогичную ситуацию можно предположить и для раннего состояния древнегрузинского алфавита. Этот восходящий к греч. κόππα знак в системе древнегрузинской письменности был, вероятно, первоначально лишен конкретного фонетического значения и употреблялся лишь в качестве эписемона в числовом значении «90». Конкретное фонетическое значение [ž] было приписано этому знаку лишь позднее, в период появления, очевидно, из иностранного источника, фонемы [ž] в звуковом составе древнегрузинского языка.

перед знаком *qōpʰ*, не находит отражения в этой части древнегрузинской системы, что опять же свидетельствует в пользу составления древнегрузинского алфавита на основе древнегреческой, а не старосемитской системы.

Дело в том, что в архаической греческой системе знак, восходящий к сем. *sādē*, употреблялся первоначально для выражения спиранта [s]. Позднее этот знак выпал из алфавитного ряда, поскольку греческий спирант [s] стал обозначаться знаком σίγμα, берущим начало от ст.-сем. *šīn*. Греческий алфавитный ряд несколько «уплотнился» в результате выпадения из системы знака-эквивалента сем. *ṣādē*, который позднее дополнил греческую парадигматику в качестве последнего, двадцать седьмого знака-эписемона с числовым значением «900» (см. выше).

Это — единственный в греческой системе случай выпадения определенного знака с соответствующего места в парадигматике (а не сохранения его в алфавитном ряду с заменой первоначального фонетического значения или путем употребления его в качестве эписемона). В результате этого числовые значения греческой системы оказываются в этом месте парадигматического ряда смещенными на одну ступень вверх по сравнению со старосемитской системой. Числовое значение «90» в греческой системе выражается знаком κόππα, а значение «100» выражено следующим за ним знаком ῥῶ, тогда как в семитской системе «90» выражается знаком *ṣādē*, а следующий за ним *qōpʰ* (прототип греческого κόππα) выражает значение «100».

Если бы за основу древнегрузинского алфавита мы приняли старосемитскую систему и отождествили грузинский знак *žan* (фонетическое значение [ž], числовое значение «90») с сем. *ṣādē* (фонетическое значение [ṣ], числовое значение «90»), оставался бы непонятным вопрос, почему в древнегрузинской письменности не отразился следующий за *ṣādē* семитский знак *qōpʰ* с фонетическим значением [q] и числовым значением «100» [41].

Старосемитский знак *qōpʰ* обозначал эмфатический велярный смычный [q], фонетически близкий к ряду грузинских звуков, которые нуждались в графическом выражении (таких, например, как глоттализованные [k'] или [q']). То же можно сказать и о фонетическом значении эмфатического *ṣ*, выражаемом семитским знаком *ṣādē*, у которого, возможно, нашлись бы фонетические эквиваленты в звуковом составе грузинского языка (такие, как аффрикаты *c*, *c'*, *č*, *č'*). Но этот семитский знак не отразился на соответствующем месте древнегрузинской парадигматики по той простой причине, что он не был представлен в этом месте парадигматики системы-прототипа, что опять-таки приводит нас к греческому алфавиту.

В отличие от этого греческий знак κόππα, который продолжает семитский символ *qōpʰ*, был перенесен в грузинскую систему на соответствующее греческому место с числовым значением «90».

11.9. Двадцатая буква древнегрузинского алфавита *san*, с фонетическим значением [s] и числовым «200», соответствует греческому знаку σίγμα, имеющему те же значения и занимающему в девнегреческой парадигматике двадцатое место.

Греческий знак σίγμα, выражающий глухой свистящий спирант [s], берет начало от семитского *šīn*, который в семитском выражал шипящий

---

[41] За знаком *žan* (числовое значение «90») в древнегрузинском алфавитном ряду следует знак *rae* с фонетическим значением [r] и числовым значением «100», что в точности отражает греческую парадигматику κόππα «90» — ῥῶ [r] «100».

и/или свистяще-шипящий спирант *ś/š*. Вместо выражения чуждого греческому шипящего спиранта [š] знак σίγμα был использован в древнегреческом алфавите для обозначения единственного в греческом свистящего спиранта [s]. И именно в этом фонетическом значении, т. е. для обозначения свистящего спиранта [s], употребляется в древнегрузинском алфавите знак *san*, соответствующий парадигматически греческому σίγμα и семитскому *šīn*. Грузинский алфавит и в этом случае отражает те преобразования, которые произошли в греческой системе по сравнению со старосемитской, что указывает на непосредственную связь древнегрузинской системы с греческой, минуя старосемитскую. При допущении использования в качестве системы-прототипа семитской письменности оставалось бы необъяснимым то обстоятельство, что семитский знак *šīn* был почему-то использован в грузинской системе для выражения свистящего спиранта [s], а не шипящего [š], который входит в звуковой состав грузинского языка и который поэтому должен был быть выражен на письме с помощью определенного графического символа.

11.10. Двадцать вторая буква грузинского алфавита *vie* (числовое значение «400») выступает в древнегрузинской письменной системе в качестве графического символа, фонетическое и числовое значения которого полностью определяются греческим прототипом ὑ φιλόν. Греческая система определяет как место этого знака в алфавитном ряду, так и его фонетическое значение и функциональное назначение в древнегрузинской письменной системе.

Фонетическое значение этого греческого знака [ü], чуждое звуковому составу грузинского языка, переносится на соответствующий знак грузинской системы в виде сегмента [u̯i], фонетически родственного палатализованному гласному звуку [ü] (ср. частое чередование сегментов [ü] ~ ~ [u̯i] в отдельных языках).

Другим, более архаичным фонетическим значением греческого знака Y было выражение неслогового сегмента [u̯] в дифтонгах типа AY[au̯], EY [eu̯]. Аналогичное употребление древнегрузинского знака *vie* в сегментах типа [au̯], [eu̯] должно отражать именно эту специфику древнегреческого знака.

Тот же знак *vie* в графической комбинации со знаком *on* применяется в древнегрузинской письменной системе для выражения гласной фонемы [u].

Обозначение гласного [u] в древнегрузинской письменности диграфом [ou̯] продиктовано целиком правилами древнегреческой орфографии (ср. в этом отношении аналогичное графическое средство выражения гласного [u] в древнеармянской и старославянской системах письма).

Синтагматическая комбинация знаков OY, которая в архаическом греческом передавала дифтонг [ou̯], уже довольно рано превращается в диграф для выражения долгой гласной [ū], возникшей в результате монофтонгизации дифтонга [ou̯]. При переходе в этих диалектах первоначальной гласной [u], выражавшейся знаком ὑ φιλόν, в свою палатализованную разновидность [ü] комбинация знаков OY становится единственным графическим способом передачи непалатализованного гласного [u] (см. выше). Именно этот графический способ обозначения гласного звука [u], отражающий естественные фонетические преобразования в греческой системе, лежит в основе графической передачи гласного [u] с помощью синтагматической комбинации знаков | ou̯ | в древнегрузинском алфавите (а также в других письменных системах, опирающихся на греческий письменный прототип).

Следует отметить, что двадцать третий знак ὖ φιλόν в архаической греческой системе является дополнительным по сравнению со старосемитской системой из двадцати двух графических символов, введенным в архаическую греческую систему для выражения гласного [u] (а также и неслогового сегмента *u̯*). Древнегрузинский алфавит в случае знака *vie* в точности и во всех деталях повторяет особенности этого специфически греческого дополнительного знака, что свидетельствует о непосредственных связях в указанном выше смысле между греческой и древнегрузинской системами письма.

11.11. Двадцать третья (*p^h^ar*) и двадцать четвертая (*k^h^an*) буквы древнегрузинского алфавита, с фонетическими значениями соответственно [p^h^] и [k^h^] и числовыми значениями «500» и «600», совпадают фонетически и функционально с греческими символами φῖ и χῖ, у которых в старосемитской системе не находится графических прототипов. Эти знаки представляют собой «дополнительные» по отношению к старосемитской системе графические символы, созданные уже позднее на собственно греческой основе для обозначения придыхательных звуков [p^h^] и [k^h^], которые оставались не выраженными специальными знаками в архаической греческой системе письма с ее двадцатью тремя графическими символами, основанными непосредственно на знаках старосемитской письменной системы.

Последние три графических символа древнегрузинского алфавита (*γan*, *q'ar* и *šīn*), с фонетическими значениями [γ], [q'] и [š] и числовыми значениями соответственно «700», «800» и «900», выступают в системе парадигматическими эквивалентами греческих знаков ψῖ [p̲s̲], ὦ μέγα [ō] и σάμπι, завершающих греческий алфавитный ряд с числовыми значениями соответственно «700», «800» и «900». Этим графическим символам в древнегрузинской системе были приписаны специфические для грузинского фонетические значения [γ], [q'] и [ś], отсутствующие в греческом, вместо выражаемых соответствующими прототипными греческими знаками специфических для греческого фонетических значений [p̲s̲], [ō], «излишних» с точки зрения звукового состава грузинского языка. В случае этих трех графических символов, завершающих алфавитный ряд греческой системы-прототипа, следует допустить такую же субституцию фонетических значений в процессе составления древнегрузинского алфавита, как и при оформлении некоторых других знаков парадигматики, разобранных выше.

11.12. Рассмотренные выше двадцать семь графических символов древнегрузинского алфавита, отражающие парадигматику греческой письменности, распределяются в системе, в полном соответствии с греческим прототипом, по трем группам из девяти знаков каждая, выражающим соответственно «единицы», «десятки» и «сотни». Наподобие того, как $9 \times 3 = 27$ графических символов греческой системы выражали последовательно «единицы», «десятки» и «сотни», первые $9 \times 3 = 27$ знаков древнегрузинского алфавита, возникшие по образцу греческой системы, обозначают соответственно «единицы», «десятки» и «сотни» [42]:

---

[42] Небезынтересно отметить, что двадцатиричная система счета в грузинском выражается десятичной системой на письме, что является некоторым несоответствием между системой счета (*Zahlsprache*) и ее письменным выражением (*Zahlschrift*). Нормальный для греческого десятичный принцип числовых значений, отражающий десятичную систему счета в греческом, заимствуется в грузинском, характеризующемся, однако, двадцатиричной системой счета.

Греч.		Груз.	Греч.		Груз.	Греч.		Груз.
a	1	a	i	10	i	r	100	r
b	2	b	k	20	k'	s	200	s
g	3	g	l	30	l	t	300	t'
d	4	d	m	40	m	u	400	wi
e	5	e	n	50	n	p^h	500	p^h
(v)	6	v	ks	60	j	k^h	600	k^h
z	7	z	o	70	o	ps	700	γ
ē	8	ej	p	80	p'	ō	800	q'
t^h	9	t^h	(q)	90	ž	—	900	š

12.1. Двадцать седьмым знаком *šīn*, выражающим фонетическое значение [š] и числовое значение «900», заканчивается та часть древнегрузинского алфавитного ряда, которая была упорядочена по образцу древнегреческой письменной системы. В этой части парадигматической системы древнегрузинской письменности распределились в определенной последовательности и выразились соответственно графическими символами те звуковые единицы грузинского языка, у которых в греческой системе оказались фонетически близкие корреляты, а также некоторые специфически грузинские звуки, занявшие в алфавитном ряду места греческих символов со специфически греческими фонетическими значениями (или места знаков, выражавших в греческой системе только числовые значения).

Поскольку звуковая система грузинского языка характеризуется бóльшим количеством звуковых единиц, в частности консонантных, чем греческая, после установления звуковых соотношений и распределения определенного множества звуков по образцу греческого алфавитного ряда в грузинском должны были оставаться еще некоторые звуки, не находящие в греческом соответствующих фонетических коррелятов [43].

Такие грузинские звуки создают специфическую группу звуковых единиц, которая в виде некоторой «дополнительной» части приставляется к «основной» части алфавитной системы, оформленной и упорядоченной в соответствии с парадигматикой греческой системы-прототипа.

Эта «основная», соответствующая греческой системе часть грузинского алфавитного ряда определяется последовательностью знаков от *an* (числовое значение «1») до *šin* (числовое значение «900»), а начиная со следующего, двадцать восьмого знака — *čin* (фонетическое значение [č], числовое значение «1000») в древнегрузинском алфавите представлены «специфически» грузинские, отличные от греческого «дополнительные» звуки и выражающие их графические символы.

12.2. Поскольку звуковой состав древнегрузинского языка характеризовался бóльшим, чем $9 \times 3 = 27$, количеством звуковых единиц, стало возможным создать более совершенную, чем древнегреческая, систему выражения числовых значений с помощью алфавитной письменности, в частности путем добавления к системе из $9 \times 3 = 27$ знаков «дополнительных» графических символов для обозначения «тысячных». Для выражения полного ряда «тысячных» было необходимо и достаточно ввести дополнительно д е в я т ь графических символов, дабы общее число букв в алфавитной системе составило $9 \times 4 = 36$ единиц. Именно

[43] Подобные специфически грузинские языковые единицы должны были оставаться и после того, как несколько подобных звуков были уже распределены в грузинском алфавитном ряду в части, соответствующей греческой системе, в виде субститутов специфически греческих звуков.

такие девять графических символов, выражающих «специфически» грузинские, отличные от греческого звуковые единицы, добавляются к основной, упорядоченной по греческому образцу части древнегрузинского алфавита для обозначения на письме всех возможных звуковых различий грузинского языка и создания полной системы числовых значений, выражаемых особыми графическими символами для «единиц», «десятков», «сотен» и «тысяч».

Эта дополнительная часть древнегрузинского алфавита представлена в следующей последовательности графических символов с выражаемыми ими фонетическими и числовыми значениями:

Знак	*Фонет. знач.*	*Числ. знач.*	*Наименование*
ჰ	č	1.000	čin
ც	c	2.000	can
ძ	ʒ	3.000	ʒil
წ	c'	4.000	c'il
ჩ	č	5.000	čaṙ
ხ	x	6.000	xan
ყ	q^h	7.000	q^haṙ
ჯ	ǰ	8.000	ǰan
ჰ	h	9.000	hae[44]

Таким образом, в «дополнительной» части древнегрузинского алфавита помещаются графические символы и выражаемые ими звуковые единицы, у которых не находится фонетических коррелятов в греческой

[44] Первоначально в древнегрузинской системе письма знак «*hae*» был, очевидно, эписемоном, т. е. символом, выражавшим только числовое значение «9000», сообразно с тридцать шестым местом, занимаемым им в алфавитном ряду (ср. аналогичную функцию знаков κόππα и σάμπι в классической греческой системе, а также знака с числовым значением «90» в готской). В период создания древнегрузинского алфавита звук [h], очевидно, не являлся фонемной единицей языка и появился в грузинском позднее, в результате определенных позиционных преобразований велярного спиранта [x] (по всей видимости, не ранее VI—VII вв. н. э.). С появлением фонемы [h] в грузинском это фонетическое значение было приписано знаку-эписемону, свободному до того от фонетического значения (ср. выше аналогичное предположение в отношении знака *ǰan*).

системе и которые с этой точки зрения оказываются специфически грузинскими звуками, не характерными для греческого языка [45].

12.3. Легко видеть, что характер и состав «основной» и «дополнительной» частей алфавитного ряда всецело зависят от характера взятой за образец системы-прототипа. Конкретные фонетические характеристики «основной» и «дополнительной» частей древнегрузинского алфавитного ряда полностью мотивированы фонетическими характеристиками греческой парадигматической системы; представленные в заключительной части древнегрузинского алфавита звуковые единицы являются «специфически грузинскими» ввиду их нехарактерности для звукового состава греческого языка. Эти же звуки могли оказаться фонетически схожими (и в этом смысле не «специфически грузинскими») со звуками какой-либо другой системы, принятой за письменный прототип, и поэтому попасть в «основную» часть алфавитного ряда. Так, например, в случае использования семитской системы в качестве письменного образца при составлении древнегрузинской письменности такие грузинские звуки-фонемы, как [š], [c'], [q'] и обозначающие их графические символы, у которых обнаруживаются фонетические корреляты в семитских языках (в виде звуков, выражаемых знаками *šīn*, *ṣādē*, *qōp*^{h}), должны были бы оказаться среди графических символов основной части, в пределах первых двадцати двух знаков, которые бы отражали систему старосемитской письменности.

12.4. В действительности старосемитская система письма (вероятно, ее арамейская разновидность) могла быть использована в процессе создания древнегрузинского алфавита в основном при выделении специфически грузинских звуков [š], [q'], [c], [c'], [x] и др., остававшихся неотожествленными на основании греческой системы, и при отнесении их к «дополнительной» части древнегрузинского алфавита. Такие звуки могли быть выделены в грузинском и соответствующим образом выражены с помощью графических символов на основании отожествления их с фонетически схожими семитскими звуками [š], [q], [s], [x]. В случае грузинских *q'ar* (фонетическое значение [q']) и *c'ar* (фонетическое значение [c']) можно предположить и графическое влияние семитских символов *qōp*^{h} и *ṣādē* при оформлении соответствующих грузинских письменных знаков (ср. [54]). Однако несмотря на следы подобного влияния семитской письменности, обнаруживаемые в отдельных графических символах «дополнительной» части древнегрузинского алфавитного ряда и выражаемых ими звуковых единицах, эта часть древнегрузинской письменности не была, очевидно, оформлена целиком по образцу какого-либо одного определенного письменного прототипа.

12.5. Распределение графических символов и выражаемых ими «специфически» грузинских звуков в этой части древнегрузинской письменности следует определенному фонетическому принципу [звонкая аффриката [ʒ] в центре группы — глухие придыхательные аффрикаты [č c] перед этой фонемой и (глухие) глоттализованные аффрикаты [č' c'] после нее]. Далее следуют поствелярные согласные [x] и [q], которые соотносятся с согласными γ, *q'*, *š*, завершающими «основную» часть алфавитного ряда. Всю эту группу согласных завершает аффриката [ǯ] и выражающий ее графический символ *ǯan*, за которым в алфавитном ряду сле-

---

[45] Интересно отметить, что в «дополнительной» части коптского алфавита, берущего начало от греческого, оказываются примерно те же звуки, что и в заключительной части древнегрузинского алфавитного ряда: *š*, *x*, *ǧ*, *č*.

дует символ *hae*, являвшийся, очевидно, первоначально знаком-эписемоном «9000», без какого-либо конкретного фонетического значения:

Такое фонетически осмысленное распределение звуковых единиц в «дополнительной» части древнегрузинского алфавита, не имеющей определенного письменного прототипа, свидетельствует о знакомстве создателя древнегрузинской письменности с определенными принципами фонетической классификации звуков.

В частности, распределение аффрикат в последовательности [č c ǯ č' c'] [со звонкой аффрикатой [ǯ] в середине и придыхательными и глоттализованными (непридыхательными) аффрикатами по обе стороны от нее] может отражать фонетический принцип классификации звуков у Дионисия Фракийского на δασέα «густые» (т. е. «придыхательные», лат. aspirata: φ ϑ χ): ψιλά «голые», «простые» (т. е. «чистые непридыхательные», лат. tenues: π τ κ) и μέσα «средние», «срединные» (т. е. «звонкие», лат. media: β δ γ), которые характеризуются как τῶν ψιλῶν μὲν δασύτερα, τῶν δὲ δασέων ψιλότερα «более густые, чем чистые (согласные) и более чистые, чем густые (т. е. придыхательные согласные)». Именно такие характеристики обнаруживает звонкая аффриката /ǯ/ в грузинском по отношению к придыхательным аффрикатам [č c], с одной стороны, и непридыхательным (глоттализованным) аффрикатам [č' c'], с другой. Звонкая аффриката /ǯ/, являющаяся «средним» или «срединным» согласным (τὸ μέσον), была соответственно помещена в центре этой группы аффрикат (ср. [55]).

Любопытно, что и в основной части древнегрузинского алфавита грузинские звонкие смычные [b d g], как было отмечено выше, отожествляются с греческими звонкими β δ γ (т. е. «срединными», μέσα), грузинские придыхательные [pʰ tʰ kʰ] приравниваются к греческим придыхательным φ ϑ χ (т. е. «густым», δασέα), а грузинские глоттализованные, являющиеся фонетически непридыхательными согласными, сопоставляются с греческими чистыми (т. е. «непридыхательными», ψιλά) согласными, π τ κ.

13.1. Названия букв древнегрузинского алфавита не повторяют наименований соответствующих знаков греческой системы-прототипа (или какой-либо другой письменной системы) и были, по-видимому, искусственно составлены как некоторые условные обозначения графических символов.

13.2. Названия знаков для гласных составлены путем прибавления к соответствующему гласному элемента *-n*: *an*, *en*, *in*, *on*, *un*.

Названия знаков, выражавших согласные звуки, оформились как односложные слова с различными гласными и с конечным *-n*: *ban*, *gan*, *don*, *vin*, *zen*, *tʰan*, *k'an*, *man*, *san*, *kʰan*, *γan*, *šin*, *čin*, *can*, *xan*, *ǯan*.

Односложные названия семи букв характеризуются конечным *-r*: *nar*, *p'ar*, *t'ar*, *p'ar*, *č'ar*, *γar*, *qar*.

Названия двух знаков обнаруживают сонорную согласную *l* в качестве конечного элемента: *ǯil*, *č'il*; только одно название характеризуется конечным *s*: *las*.

Своеобразную двухсложную структуру образуют названия *rae* и *hae*. На гласную *e* оканчиваются также наименования *he*, *je* и *vie* [46].

13.3. Названия букв в алфавитном ряду распределены таким образом, что они создают впечатление рифмованной последовательности. Это было, несомненно, мнемотехническим средством, способствовавшим лучшему запоминанию алфавитного ряда. Интересно отметить, что названия букв дренегрузинского алфавита содержат в качестве конечных элементов сонорные согласные *-n*, *-r*, *-l* (в одном случае спирант *-s*), и именно эти согласные играют особую роль в рифмической клаузуле грузинского стиха, являясь здесь наиболее частыми консонантными элементами [56].

14.1. Графический анализ букв древнегрузинского письма и их сопоставление с соответствующими символами древнегреческой письменности обнаруживают их полное графическое несоответствие и несводимость друг к другу. При создании древнегрузинского письма греческая письменная система была взята, очевидно, за образец, по которому были выделены и распределены грузинские звуковые единицы, выраженные особыми графическими символами. Однако сами графические символы древнегрузинского алфавита не повторяют графической формы соответствующих знаков единовременного с ним греческого письма, как это имеет место, например, в коптском и готском алфавитах или славянской кириллице. Более того, некоторые знаки древнегрузинского письма обнаруживают такие графические черты, которые сближают их с начертанием графических символов именно архаического греческого письма (совпадающего в принципе с графикой финикийских письмен). Такими знаками древнегрузинского письма, сближающимися с архаичным начертанием соответствующих графических символов древнегреческой системы, можно считать обращенные влево древнегрузинские знаки *ban* (ср. арх. греч. βῆτα), *gan* (при арх. греч. γάμμα), *en* (при арх. греч. ἓ ψιλόν), *vie* (при арх. греч. δίγαμμα) и др. Однако большинство знаков древнегрузинского письма не обнаруживает никаких черт графического сходства вообще с начертанием соответствующих знаков греческой письменной системы.

14.2. Как следует объяснить графическое различие большинства знаков древнегрузинского письма и парадигматически соответствующих знаков древнегреческой письменности при сходстве некоторых знаков с ар-

---

[46] Не исключено, что некоторые из этих названий были оформлены под влиянием соответствующих наименований знаков из других письменных систем. Так, например, прототипом груз. *šin* могло быть и сем. *šin*, а по образцу *šin* могло оформиться название *čin*; ср. также груз. *zen* при сем. *zajin*; груз. *san* при греч. (дор.) σάν; груз. *he* при греч. ἦτα и др. (ср. [30, с. 197]).

Что касается сходства грузинского названия *in* с наименованием знака для гласного [i] в армянском *in*, то здесь мы имеем дело скорее со случайным совпадением названий, нежели с влиянием одной системы на другую. Если уж обязательно говорить о заимствовании этого названия из одной системы в другую (см. [37, с. 132]), то скорее следует допустить заимствование из древнегрузинской в армянскую, а не наоборот, поскольку в грузинском это наименование отражает особый принцип составления названий гласных (гласный звук + *n*: ср. груз. *an*, *en*, *in*, *on*, *un*), тогда как армянское *in* является единственным названием подобной структуры среди имен для гласных: ср. арм. *in*, *ajb*, *eč*, *o*.

хаическими греческими? Является ли такое графическое различие между этими системами результатом естественного развития и графической эволюции древнегрузинской системы, в процессе которой она должна была значительно отдалиться графически от начертаний знаков исходного для грузинского письма архаической греческой системы-прототипа?

При таком предположении мы должны были бы отнести образование древнегрузинского алфавита по греческому образцу к весьма ранней эпохе, когда была распространена архаическая греческая система письма, направленного справа налево, с обращенными соответственно влево письменными знаками и с целым рядом архаичных графических и фонетических особенностей.

Если даже отвлечься от трудностей культурно-исторического порядка, возникающих при допущении столь ранней хронологии возникновения древнегрузинской письменности «Асомтаврули» [47], сам факт отражения в древнегрузинской системе письма целого ряда графических и фонетических особенностей, возникших в греческой письменности значительно позднее [48], делает такое предположение маловероятным.

Следовательно, нужно допустить, что при создании древнегрузинской письменности в качестве письменного образца был использован архаический греческий алфавит с учетом тех графических и фонетических изменений, которые возникли в греческой системе в последующий период. Все это делает возможным предположить создание древнегрузинского алфавита искусственным путем, в результате сознательной архаизации и графической стилизации взятой за образец греческой графической системы.

Создатель древнегрузинской письменности берет в качестве письменного прототипа современную ему монументальную греческую письменность и производит ее стилизованную архаизацию, выразившуюся в повороте некоторых графических символов влево и в их графическом преобразовании. Наряду с этим создается целый ряд оригинальных графических знаков, не повторяющих начертания соответствующих букв греческой системы-прототипа [49].

---

[47] Самые ранние образцы древнегрузинской письменности «Асомтаврули» датируются первой половиной V в. н. э.

[48] В частности, такие отраженные в древнегрузинском алфавите черты греческой системы, возникшие уже после утверждения направления письма слева направо, как выпадение из системы знака, восходящего к сем. *sādē*, и появление характерных для греческого дополнительных знаков; переход гласной [u] в ее палатализованную разновидность [ü] и выражение комбинацией знаков OY гласного [u] и др.

[49] Представляется возможным анализировать графемы древнегрузинской монументальной письменности «Асомтаврули» как составленные из ограниченного числа исходных графических элементов. В качестве таких исходных графических элементов можно принять «прямую» и «полуокружность». Путем разных сочетаний в пределах квадрата такой «прямой» и «полуокружности», описываемых определенными правилами комбинаций, можно составить все графические символы древнегрузинского письма «Асомтаврули» (ср. [55—59]). Знаки письма «Асомтаврули» являются определенными геометрическими фигурами одинаковой высоты, составляемыми с помощью ц и р к у л я и л и н е й к и в пределах некоторого незримого квадрата. Исходные элементы этих фигур — «прямая» и «полуокружность», комбинируясь друг с другом, заполняют целый к в а д р а т или его п о л о в и н у. При этом «прямые» распределяются исключительно вдоль перпендикулярной срединной линии — «медианы» квадрата и по его горизонтальным и/или вертикальным катетам, составляя прямые углы. В этом выражается одно из кардинальных графических отличий древнегрузинского монументального письма от геометрических фигур древнегреческой монументальной письменности, которые также можно рассматривать, как сочетания «прямой» и «полуокружности» в пределах геометрического квадрата, допускающие, однако, и наклонное положение «прямых», т. е. положение вдоль диагоналей квадрата (ср. [60]).

Таким путем создается совершенно оригинальная по начертанию знаков и внешне независимая монументальная письменность, связь которой с греческим письменным прототипом, определившим ее парадигматику и внутреннюю структуру, удается установить лишь в результате специального системного анализа грузинского письма.

14.3. Составитель древнегрузинского алфавита создает самобытную национальную письменность. Такая письменность должна быть, согласно древним представлениям, полностью оригинальной и независимой от какой бы то ни было иной, ранее известной письменной системы. Самым простым и естественным путем достижения подобной внешней самостоятельности системы было сознательное графическое преобразование знаков системы-прототипа и создание в ряде случаев совершенно новых и оригинальных графических символов для выражения и распределения в определенной алфавитной последовательности звуков языка, выделенных на основании и в соответствии с системой письменности-прототипа.

Аналогичные мотивы лежат, по-видимому, в основе создания Месропом Маштоцом оригинальных знаков древнеармянской письменности, сохраняющих общий монументальный характер греческого письма, но полностью отличных по начертанию от графических символов греческого письменного прототипа; очевидно, по той же причине знаки греческой минускульной письменности претерпевают стилизацию в старославянской глаголице, изменившей до неузнаваемости письменные знаки греческого прототипа. Все это делается для утверждения национальной самобытности вновь создаваемой письменности и демонстрации ее независимости от других письменных систем.

Такая тенденция привела создателя древнеармянского алфавита к почти полному отказу от использования греческих графических символов и созданию совершенно новых и оригинальных письменных знаков.

Создатель древнегрузинского алфавита выбирает несколько иной путь; он не порывает целиком связи с планом выражения письменности, взятой за образец, с начертанием знаков греческой системы-прототипа, а производит лишь графическую архаизацию и стилизацию знаков системы прототипа путем использования различных графических приемов. В результате создается новая и оригинальная письменная система, схожая с системой-прототипом начертанием некоторых графем, а также общей монументальностью письма и геометрическим характером графических символов.

Аналогичным образом действует и создатель древнеславянской глаголицы, производя сознательную стилизацию взятой за основу графики греческого минускульного письма [50].

---

[50] Поскольку письменные знаки рассматриваемых систем представляют собой продукт свободного творчества их создателей, наши предположения о конкретных приемах графического оформления этих знаков всегда будут оставаться весьма условными и гипотетичными. Действительно, невозможно в точности установить, какие графические ассоциации могли возникать у создателя письменности в процессе изобретения того или иного графического символа. Наши выводы по этому вопросу отражают скорее субъективные впечатления исследователя, чем объективные процессы создания графических знаков древней системы письма.

Мы можем только смоделировать синхронную графическую взаимозависимость отдельных символов определенной письменности (см. выше о составлении всех графических символов древнегрузинской письменности из «прямой» и «полуокружности»), но это вовсе не означает воссоздания картины той графической процедуры, которой придерживался создатель данной письменности при оформлении тех или иных графических знаков. Тем более не оправдано методологически делать на основании подобного графического анализа отдельных символов какие-либо заключения о происхождении и путях создания определенной письменности.

У авторов этих древних алфавитов одна цель — создать самобытную национальную письменность, но достигается эта цель в указанных системах различными графическими способами.

14.4. Создание самобытной национальной письменности диктуется общей тенденцией после христианизации страны к возрождению местной культуры на базе национального языка. Крещение народа и объявление христианства официальной религией страны подразумевало в то же время развитие широкой деятельности по переводу и распространению христианской литературы на национальном языке с помощью специально созданной для этих целей новой письменности [63] [51]. Так было это в случае создания коптской, готской, древнеармянской и старославянской систем письма. Аналогичные факторы должны были привести к созданию древнегрузинской национальной письменности «Асомтаврули».

15.1. Принятие древнегрузинского письма «Асомтаврули» в сущности за христианскую письменность и определение времени ее создания эпохой крещения и христианизации Грузии (IV в. н. э.) делают понятным целый ряд формально-структурных особенностей письма «Асомтаврули», которые оно проявляет по отношению к остальным письменностям восточнохристианского культурного мира: коптской, готской, древнеармянской и старославянской. Все названные письменные системы составляют единую типологическую группу письменностей, основанных на общем письменном прототипе — греческой системе письма — и характеризующихся целым рядом общих структурно-типологических черт.

15.2. С коптской и готской системами письма древнегрузинскую письменность объединяет принцип парадигматической зависимости от греческой системы-прототипа. В этом отношении названные письменные системы резко расходятся с древнеармянской письменностью.

В древнегрузинском алфавите, так же, как в коптском и готском, полностью отражен весь парадигматический ряд греческой системы; все $9 \times 3 = 27$ знаков греческого прототипа, которые характеризуются определенными фонетическими и числовыми значениями (или только последними — в случае знаков στίγμα, κόππα, σάμπι), перенесены в эти алфавиты в той же последовательности, с соответствующими фонетическими и числовыми значениями. Греческие эписемоны переносятся в той же функции (т. е. только в качестве символов, выражающих определенные числовые

Весьма характерен в этом отношении метод анализа кавказских письменностей (древнеармянской, древнегрузинской, алуанской), применяемый С. Н. Муравьевым в своих многочисленных статьях (см. библиографию в работе [61]). Считая ряд знаков древнегрузинского письма (в частности, знаки для гласных) созданными путем «графической деривации» из соответствующих армянских гласных, автор «оглашает» в своей работе на этом основании вывод о создании древнегрузинской письменности из древнеармянской.

На базе аналогичного графического метода анализа отдельных символов древнеармянской и древнегрузинской письменностей (в данном случае знаков для согласных) Р. Патаридзе [62] еще задолго до С. Н. Муравьева приходит к прямо противоположному выводу о взаимоотношении этих письменностей — к заключению о происхождении древнеармянской письменности из древнегрузинской.

Все это наглядно показывает, насколько субъективны и произвольны заключения о происхождении той или иной письменности, основанные преимущественно на графическом анализе письменных знаков.

[51] В этом отношении восточное греческое христианство резко расходится с Римской церковью, которая распространяла христианское мировоззрение в Западной Европе на базе латинского языка и латинской письменности, отказывая местным народам в праве перевода книг Священного писания на их языки и богослужении на родном языке (ср. [64, 65]).

значения, ср. коптские знаки в значениях «6» и «900», готские знаки с числовыми значениями «90» и «900») или они приобретают в новых системах характерные для данного языка специфические фонетические значения (ср. знак *fāj* в коптском — фонетическое значение [f], числовое значение «90»; знак в готском с фонетическим значением [q^w] и числовым значением «6»; знаки *vie*, *žan*, *šin* в грузинском — фонетические значения соответственно [v], [ž], [š], числовые — «6», «90», «900» и др.).

Греческие знаки со специфическими с точки зрения этих систем греческими звуковыми значениями (такими, как [ks], [ps], [ō] и др.) переходят во вновь создаваемые письменные системы с новыми фонетическими значениями, специфическими уже для звукового состава данных систем, с сохранением, однако, числовых значений системы-прототипа (ср. готские знаки с числовыми значениями соответственно «9», «60», «700» и фонетическими значениями [p̄], [j], [h^w]; древнегрузинские знаки *je*, *γan*, *q'ar* с числовыми значениями «60», «700», «800» и фонетическими значениями соответственно [ǰ], [γ], [q']).

Путем подобной «фонетической субституции» и отражения на соответствующих местах в алфавитном ряду вновь создаваемой письменности всех графических символов системы-прототипа осуществляется в принципе сохранение парадигматики исходной системы письма, взятой за письменный образец. Тем самым парадигматика системы-прототипа как бы отображается на алфавитный ряд вновь создаваемой письменности.

В готском подобное «отображение» парадигматики греческой системы-прототипа на алфавитный ряд осуществилось без необходимости добавления к нему некоторого количества знаков со специфическими для готского фонетическими значениями. Такие специфические для готского фонетические значения уместились полностью в рамках парадигматики греческого прототипа в результате осуществления некоторых фонетических субституций. Поэтому готский алфавит содержит то же ($9 \times 3 = 27$) число графических символов, что и греческий прототип. Из них первые девять символов в алфавитном ряду выражают «единицы», следующие девять — «десятки» и заключающие алфавитный ряд девять графических символов — «сотни».

В коптском и древнегрузинском при отображении парадигматики греческой системы-прототипа на алфавитный ряд вновь создаваемой системы и осуществлении определенных фонетических субституций оставалось еще некоторое количество «специфических» звуковых единиц, которые должны были быть выражены на письме. Эти «специфические» звуки и обозначающие их графические символы были добавлены в качестве заключительной части алфавитного ряда к основной его части, отражающей парадигматику исходной системы-прототипа с $9 \times 3 = 27$ графическими символами. Посредством таких дополнительных знаков становится возможным в древнегрузинском алфавите выразить и числовые значения «тысяч».

Существенно отличный от этого парадигматический принцип лежит в основе древнеармянского алфавита, что противопоставляет его типологически коптской, готской и древнегрузинской письменным системам.

При составлении древнеармянского алфавитного ряда из парадигматики греческой системы-прототипа были предварительно устранены все эписемоны (т. е. знаки, выражающие в греческом только числовые значения: στίγμα, κόππα, σάμπι), а также все графические символы, обозначавшие специфические для греческого и нехарактерные для армянского звуки: ξῖ (фонетическое значение [ks]), ψῖ (фонетическое значение [ps]), ὦ μέγα

(фонетическое значение [ō]). Представляется, что при составлении древнеармянского алфавита была осуществлена не фонетическая субституция специфических для греческого фонетических значений собственно армянскими звуками (как это имело место при создании коптской, готской и древнегрузинской письменностей), а редукция греческого алфавитного ряда на последовательность, содержащую лишь фонетические корреляты армянских звуковых единиц, которые должны были быть выражены особыми письменными знаками. Возникающая таким путем (т. е. после устранения специфических с точки зрения армянского фонетических значений в алфавитном ряду греческой системы-прототипа) греческая парадигматическая последовательность явилась исходным ядром фонетических значений, на основании которого сформировалась полная система древнеармянского алфавита путем добавления выраженных особыми графическими символами «специфически» армянских звуковых единиц.

Однако эти «специфически армянские» фонетические значения составляют не продолжение в алфавитном ряду «основной» части, отражающей редуцированную особым образом греческую парадигматику, а даются вперемежку с нею; символы «дополнительной» части вставляются в разных местах между графическими символами «основной» части, что и нарушает первоначальную, мотивированную греческим прототипом парадигматику и соответственно систему числовых значений, характерную для исходной греческой модели.

Принцип сохранения во вновь создаваемой письменной системе числовых значений письменности-прототипа, строго соблюдаемый в коптском, готском и древнегрузинском алфавитах, полностью отвергается создателем древнеармянской письменности, который использует греческую письменность лишь в качестве опорной системы для выделения соответствующих армянских звуковых единиц. Этим обстоятельством должно, очевидно, объясняться и то, что создатель древнеармянского алфавита при использовании в качестве образца греческой письменности не учитывает в ней графических символов, выражающих специфически греческие, излишние с точки зрения армянского звуки, а также и знаков-эписемонов, лишенных какого бы то ни было фонетического значения. По этой причине ядро греческого алфавита, лежащее в основе древнеармянской системы, определяется последовательностью символов от ἄλφα (арм. *ayb*) до χῖ (арм. $k^h\bar{e}$), за вычетом некоторых знаков со специфически греческими значениями в пределах этой последовательности. Между этими крайними знаками древнеармянского алфавитного ряда располагаются в разных местах вперемежку с графемами основной части все дополнительные символы, составившие совместно с графемами основной части совершенно новую, отличную от системы греческого прототипа парадигматику древнеармянской письменности [52].

В результате полностью нарушается соответствие между греческой письменностью-прототипом и древнеармянским алфавитом в отношении выражения с соотносимыми графическими символами числовых значе-

---

[52] Знак [š] в древнеармянском алфавитном ряду (числовое значение «500») не стоит на месте греческого ξῖ, выражающего специфически греческое фонетическое значение [ks], не является его субститутом (ср. [37, с. 119]), а представляет собой символ «дополнительной» части, занявший место в последовательности первоначального ядра между знаками [n] и [o], соответствующими греч. νῦ и ὀ μικρόν. То же касается и знака [j] (числовое значение «900»), который стоит в древнеармянском алфавитном ряду не на месте греч. κόππα, а попадает в «первоначальной последовательности» между [p] и [ṙ], соответствующими греческим символам πῖ и ῥῶ.

ний, чем древнеармянская письменность резко расходится с коптской, готской и древнегрузинской системами письма, составляющими в этом смысле единый типологический класс.

15.3. Кроме единого принципа парадигматической зависимости от греческой системы-прототипа названные письменные системы сближаются друг с другом и по целому ряду других структурно-типологических характеристик.

Так, например, древнегрузинскую письменность с готской объединяет не только общий принцип сохранения парадигматики системы-прототипа путем фонетической субституции специфических звуковых значений исходной системы, но в одном случае и совпадение фонетического значения подобных субститутов.

В готском алфавите, как и в древнегрузинском, греческий знак ξ̄ (фонетическое значение [ks͡], числовое значение «60») заменен соответствующими графическими символами, имеющими одно и то же фонетическое значение [j] (числовое значение «60») и проявляющими в то же самое время некоторое графическое сходство друг с другом: ср. гот. [j] «60» и др.-груз. [j] «60». Следует заметить, что замена греческого [ks͡] именно на [j] в обеих этих системах не может быть оправдана чисто фонетически, поскольку звуковые сегменты [ks͡] и [j] слишком отличны друг от друга по звучанию.

Такое совпадение в фонетическом значении субститутов греческого [ks͡] в обеих письменных системах может свидетельствовать скорее о наличии определенных исторических связей между ними.

Составитель древнегрузинского алфавита был, несомненно, знаком с современными ему письменными системами, среди них, возможно, и с готским алфавитом, данные которого он мог учесть при создании новой письменности [53].

В свете этого, возможно, не случайно и то, что названия некоторых букв древнегрузинского алфавита совпадают с наименованиями соответствующих знаков готской письменности. Так, например, название древнегрузинской буквы с фонетическим значением [l] и числовым значением «30» — *las*, стоящее фонетически обособленно по отношению к остальным наименованиям, очень походит на наименование *laaz* готского знака с фонетическим значением [l] и числовым значением «30», ср. также наименования графем груз. [v] *vin* и гот. [w] *uuinne*; груз. [m] *man* (числовое значение «40») и гот. [m] *manna* (числовое значение «40»).

15.4. С точки зрения исторических взаимоотношений алфавитов христианской эпохи, основанных на системе греческой письменности, следует рассмотреть также и старославянские письменности глаголицу и кириллицу, относящиеся к той же типологической группе древних письменных систем.

В старославянской глаголице проводится в сущности тот же принцип парадигматической зависимости вновь создаваемой письменности от греческой системы-прототипа, что и в коптском, готском и древнегрузинском алфавитах.

Основная, соответствующая греческой системе часть глаголицы упорядочена по образцу греческого алфавита, с осуществленными в ней оп-

---

[53] Вестготы — восточная ветвь германского племени готов, принявшая христианство в IV в.,— проживают в это время в Северном Причерноморье. Уже по этой причине созданная Вульфилой на греческой основе новая готская письменность могла быть известна народам соседних стран, и в частности создателю древнегрузинской письменности.

ределенными фонетическими субституциями. «Специфические», отличающиеся от греческого звуковые единицы представлены в системе в виде дополнительной части, завершающей алфавитный ряд и выражающей числовые значения «тысяч».

Для выделения таких «специфически» славянских звуков и их упорядочения в виде «дополнительной» части алфавита создатель глаголицы должен был учесть данные и других современных ему письменных систем. Среди таких систем могла быть и древнегрузинская письменность [54]. Следы этого можно усмотреть в распределении в дополнительной части некоторых букв, выражающих «тысячи». Дополнительная часть глаголицы из девяти символов, выражающих «тысячи», начинается с графемы с фонетическим значением [č] (числовое значение «1000»), точно так же, как и в древнегрузинском алфавите, где дополнительная часть системы из девяти символов начинается с графемы с фонетическим значением [č] и числовым значением «1000». На шестом месте этой группы графем в глаголице стоит символ с фонетическим значением [x_1] и числовым значением «6000», как и в древнегрузинском алфавите, где на соответствующем месте алфавитного ряда представлен символ с фонетическим значением [x] и числовым значением «6000».

Такую историческую связь между древнегрузинским алфавитом и старославянской глаголицей считает возможным допустить Н. С. Трубецкой [47, с. 23]. В этом смысле характерна и последовательность в глаголице символов *c* «900» — *č* «1000» — *š* — «2000» (отразившаяся также и в кириллице в виде последовательности *c* — *č* — *š*), обратная последовательности соответствующих символов в древнегрузинской письменной системе: *š* «900» — *č* «1000» — *c* «2000».

15.5. Кроме сходства парадигматической структуры, древнегрузинскую письменность «Асомтаврули» и старославянскую «Глаголицу» объединяет также общий принцип отдаления графики вновь создаваемой письменности от графики системы-прототипа, с тем чтобы возникшая система характеризовалась всеми чертами «независимой национальной письменности», не похожей внешне на другие современные ей системы письма.

Крайним проявлением этого принципа явилась созданная Месропом Маштоцом древнеармянская письменность с полностью отличной от греческого прототипа графикой. Месроп Маштоц, опиравшийся при создании древнеармянской письменности на греческую систему письма, полностью меняет графику системы-прототипа и прибегает к иным графическим приемам для оформления соответствующих знаков новой письменности. Таким путем порывается всякая внешняя связь с греческим прототипом и создается видимость полной независимости и оригинальности вновь созданного письма.

Создатель древнегрузинского алфавита «Асомтаврули» в тех же целях осуществляет сознательную модификацию греческой системы-прототипа: он не порывает во вновь создаваемой системе связи с греческой графикой, а только преобразует ее путем нарочитой архаизации графики системы-прототипа и графической модификации соответствующих знаков. Этим составитель древнегрузинского алфавита достигает в принципе того же результата в деле создания оригинальной национальной письменности,

---

[54] О знакомстве создателя старославянского алфавита Константина-Кирилла с иберийской (древнегрузинской) письменностью можно заключить и по «Житию» Кирилла, согласно которому среди известных ему оригинальных азбук Константин-Кирилл упоминает и грузинскую (ср. [48, с. 129]).

что и Месроп Маштоц, создававший оригинальную древнеармянскую национальную письменность на совершенно отличной от греческого прототипа графической основе.

Такие тенденции в восточнохристианском культурном мире, диктовавшиеся определенными политико-религиозными соображениями, приводят к созданию нескольких внешне отличающихся друг от друга письменных систем, опирающихся на греческую письменность, но проявляющих в то же время внешнюю графическую независимость по отношению к греческой системе-прототипу.

С этой точки зрения древнегрузинская письменность «Асомтаврули», древнеармянский «Еркатагир» и старославянская «Глаголица» подпадают под общий типологический класс, противопоставляясь коптской и готской письменностям, а также славянской «Кириллице», графическое выражение которых отражает графику современной им греческой письменной системы.

Но в то же самое время древнегрузинская письменность (так же, как и старославянская глаголица) резко расходится с древнеармянским алфавитом в отношении внутренней, парадигматической структуры письма. С точки зрения парадигматической зависимости от системы греческого прототипа древнегрузинская письменность (а также старославянская глаголица) типологически более близка к древнейшим образцам христианских письменностей — коптской и готской системам письма.

15.6. Определение древнегрузинского капитального письма «Асомтаврули» в качестве письменности христианской эпохи, составленной на основе греческого алфавита, естественно ставит вопрос о личности ее создателя: кем был человек, создавший на почве современного ему греческого алфавитного письма совершенно новую и оригинальную письменность монументального стиля в результате сознательной архаизации и модификации графики письма греческой системы-прототипа?

История сохранила нам имена гениальных создателей христианских письменностей — готского, древнеармянского и старославянского алфавитов. Это выдающиеся деятели своего времени — Вульфила, Месроп Маштоц и Константин-Кирилл. Но нам не известна достоверно личность того деятеля, который создал древнегрузинскую монументальную письменность «Асомтаврули», как не известно и имя создателя христианской коптской письменности.

Армянская историческая традиция связывает создание древнегрузинской письменности (а также и письменности кавказских албанцев) с деятельностью Месропа Маштоца. Но на основании свидетельства той же исторической традиции можно заключить, что Месроп Маштоц не знал грузинского языка, что полностью исключает возможность создания им грузинского письма.

Создание новой письменности, как было отмечено выше, не означает только изобретения и составления определенных графических символов письма; оно предполагает прежде всего глубокий лингвистический анализ, членение звуковой стороны языка и выделение отдельных его звуковых единиц, которые должны выразиться на письме соответствующими графическими символами. Это и есть логически первый и основной этап в процессе создания новой письменности, на котором в сущности основывается вся последующая процедура графического выражения отдельных звуков и их распределения в определенной последовательности в зависимости от алфавитного ряда системы-прототипа. Все это делает невозможным создание письменности для определенного языка человеком, не овладев-

шим основательно этим языком и не способным по этой причине осуществить его детальный фонетический анализ.

Нет объективных оснований считать Месропа Маштоца и «инструктором» или «консультантом» в деле создания древнегрузинской письменности, который «делится с создателем новой письменности своим опытом и общими принципами» [37, с. 132; 66], поскольку древнегрузинский алфавит, как было показано выше, опирается на отличные от древнеармянского структурные принципы. Как парадигматика древнегрузинской системы, так и графические характеристики знаков письма проявляют в отношении зависимости от греческой системы-прототипа существенно отличную от древнеармянской системы картину, что само по себе уже исключает участие создателя древнеармянской письменности в составлении древнегрузинского письма хотя бы даже в роли «консультанта» [67].

Естественно допустить между христианскими древнегрузинской и древнеармянской письменностями одной и той же эпохи наличие определенных исторических связей и взаимовлияний, о чем мог бы свидетельствовать и обнаруживаемый в этих системах ряд сходных черт: ср. графику знаков груз. [k'] и арм. [k]; ср. также груз. [p^h] и арм. [p^h], груз. [k^h] и арм. [k^h], отражающие графику соответствующих знаков греческого прототипа; ср. наименования букв: груз. *k'an* — арм. *ken*; груз. *ban* — арм. *ben*; груз. *in* — арм. *in* и др. Однако направление таких влияний можно будет определить лишь с установлением точной даты создания древнегрузинской и древнеармянской систем письма.

Во всяком случае отдельные примеры таких возможных взаимовлияний не перекрывают существующих между древнегрузинской и древнеармянской системами принципиальных структурно-типологических различий, превращающих эти письменности, несмотря на их сходную по характеру графику монументального стиля, мотивированную, очевидно, графическим характером греческого письменного прототипа, в полярные системы в рамках единой типологической группы.

Грузинская историческая традиция связывает появление грузинского письма с деятельностью царя Парнаваза (III в. до н. э.), который «ввел книжничество на грузинском языке». Хотя правдоподобность этого свидетельства грузинского историка XI в. Леонтия Мровели и оспаривается некоторыми учеными, однако вся культурно-историческая обстановка этого периода не исключает в принципе возможности существования в древней Иберии особого вида доалфавитного (?) грузинского письма. Такое «архаическое грузинское письмо» могло применяться в грузинском государстве дохристианской эпохи для записи текстов различного характера [55]. С крещением Иберии и объявлением христианства официальной ре-

[55] «Архаическое грузинское письмо» и «книжничество на грузинском языке» может отражать тот вид «письма», который И. Гершевич [68] характеризует как «аллоглоттографию» (т. е. «иноязычное написание»), широко распространившуюся в ряде стран древнего Ближнего Востока, и в особенности в иранском мире. При системе «аллоглоттографии» текст или сообщение, диктуемые на одном языке, например, древнеперсидском, записываются на языке с особой письменностью, в данном случае эламском, и читаются адресатом (или адресату человеком, знакомым с эламским языком и эламской системой письма) не на эламском языке, на котором записан текст, а на первоначальном языке сообщения, в данном случае — древнеперсидском. Эламский язык и письменность выступают в таком случае в качестве некоторого языка-посредника, кодирующего первоначальное сообщение, составленное устно на древнеперсидском языке. Только позднее создается собственно древнеперсидская клинопись для непосредственной записи древнеперсидских текстов.

Для среднеперсидской эпохи подобным языком-посредником выступает уже не эламский, а широко распространившийся в ту эпоху арамейский язык с «консонантно-

лигией страны создается новая, алфавитная письменность на основе греческой системы письма, которая полностью вытесняет «архаическое грузинское письмо» дохристианского периода и становится господствующей письменностью с официальным статусом государственной и религиозной письменности христианской Иберии. С помощью этой новой, специально созданной национальной письменности осуществляются первые письменные переводы на грузинский язык книг Священного писания и создаются в дальнейшем оригинальные литературные произведения агиографического жанра [56].

силлабической» письменностью. «Эламография», характерная для «книжничества» древнеперсидской эпохи, сменяется в среднеперсидскую эпоху «арамеографией», приведшей впоследствии к арамейской «гетерографии» и идеографии среднеиранской эпохи.

По образному сравнению И. Гершевича, описанный метод записи устного текста в древности сопоставим с современной записью речи на магнитофон. Писец, записывавший устный персидский текст с автоматическим переводом его на эламский или арамейский языки, и чтец этого записанного текста, переводивший при чтении его обратно на персидский язык, уподобляются современному записывающему аппарату; в первом случае в качестве «механизма» такого аппарата выступают эламский (или арамейский) язык и письменность, во втором случае — электрическое устройство. Метод аллоглоттографии, очевидно, широко применялся на Ближнем Востоке, что и объясняет особое распространение в различные эпохи отдельных языков (эламского, арамейского) во всем этом регионе.

Не исключено, что и в Закавказье дохристианской эпохи особое распространение арамейских надписей, в частности, надписей, выполненных особым «армазским» письмом, отражает именно аллоглоттографию, широко практиковавшуюся и в этом регионе (и в первую очередь в древней Армении и Иберии) для записи текстов на местных языках. Так, вероятно, следует понимать сообщение летописца о том, что в эпоху царя Парнаваза в Картли «говорили уже только на грузинском языке» и что «он же создал книжничество грузинское», т. е. «грузинскую аллоглоттографию», естественно, на базе самого распространенного в то время арамейского языка (III век до н. э.), письменность на котором в Закавказье развилась в дальнейшем в особую разновидность, именуемую, вслед за акад. Г. В. Церетели [69], «армазской».

[56] Следует полагать, что такие письменные переводы на грузинский язык книг Священного писания, осуществленные после создания древнегрузинского письма «Асомтаврули», отразили в значительной своей части те устные переводы канонических религиозных текстов, которые в раннехристианскую эпоху могли осуществляться христианскими проповедниками «аллоглоттоэпическим» путем, т. е. при иноречевом чтении или произнесении оригинала. Такой метод устной передачи на национальном языке иноязычных религиозных текстов при проповедях, распространившийся в древней Армении и Иберии, должен был содействовать в значительной степени терминологическому и лексическому совершенствованию и развитию национального языка уже в устной его форме (ср. работу Т. Х. Саркисяна [70], который именует такой метод «иноязычного чтения» гетероэпией).

ЛИТЕРАТУРА

49. *Rosén H.* Le transfert des valeurs des caractères alphabétiques et l'explication de quelques habitudes orthographiques grecques archaïques // Aux origines de l'Hellénisme. La Crête et la Grèce. Hommage à Henri van Effenterre. P., 1984.
50. *Uldall H. J.* Speech and writing // Readings in linguistics. V. II. Ed. by Hamp E. P., Householder F. W., Austerlitz R. V. Chicago—London, 1966.
51. *Vachek J.* Some remarks on writing and phonetic transcription // Readings in linguistics / Ed. by Hamp E. P., Householder F. W., Austerlitz R. V. II. Chicago—London, 1966.
52. *Джавахишвили И. А.* Грузинская палеография. 2-е изд. Кн. III. Ч. I. Тбилиси, 1949 (на груз. яз.).
53. *Кекелидзе К.* Два праздника грузинской культуры // Мнатоби. 1929. № 5, 7 (на груз. яз.).
54. *Церетели Г. В.* Армазское письмо и проблема происхождения грузинского алфавита. II // Эпиграфика Востока. 1949. II.

55. *Boeder W.* Zur Analyse des altgeorgischen Alphabets // Forschung und Lehre. Festgruß Joh. Schropfer. Hamburg, 1975.
56. *Церетели Г. В.* Метр и рифма в «Витязе в барсовой шкуре». Тбилиси, 1973 (на груз. яз.).
57. *Мачавариани Г. И.* Общекартвельская консонантная система. Тбилиси, 1965 (на груз. яз.).
58. *Мачавариани Е. М.* Графические основы грузинского алфавита // Сабчота хеловнеба. 1977. № 10 (на груз. яз.).
59. *Мачавариани Е. М.* Графические основы грузинского алфавита. Тбилиси, 1982 (на груз. яз.).
60. *Harder R.* Die Meisterung der Schrift durch die Griechen // Das neue Bild der Antike / Hrsg. von Berve H. Leipzig, 1942.
61. *Муравьев С. Н.* Три древних алфавита Кавказа. Их различия, их сходство, проблема их родства. Ереван, 1982.
62. *Pataridze R.* Les bases graphiques de l' «Erkataguir» // Bedi Kartlisa. Revue de Kartvélologie. 1972. T. XXIX—XXX.
63. *Jakobson R.* The beginning of national self-determination in Europe // The review of politics. 1945. 7.
64. *Marquart J.* Ueber das armenische Alphabet in Verbindung mit der Biographie des heiligen Mašt'oc. Wien, 1917.
65. *Meyerdorff J.* The Byzantine legacy in the Orthodox Church. Crestwood (New York), 1982. P. 24 ff.
66. *Greppin J. A. C.* Some comments on the origin of the Georgian alphabet // Bazmavep. Revue d'études arméniennes. 1981. V. CXXXIX. № 3—4.
67. *Gamkrelidze Th. V.* A reply to John Greppin // Bazmavep. Revue d'études arméniennes. 1981. V. CXXXIX. № 3—4.
68. *Gershevitch I.* Alloglottography of Old Persian // TPhS. 1987.
69. *Церетели Г. В.* Армазская билингва. Двуязычная надпись, найденная при археологических раскопках в Мцхата-Армаза. Тбилиси, 1941.
70. *Саркисян Г. Х.* К предыстории армянской письменности // Кавказ и Византия. Вып. 2. Ереван, 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

ДЕСНИЦКАЯ А. В.

ТЕОРИЯ РАННЕЙ СТУПЕНИ НОМИНАТИВНОГО СТРОЯ
(О труде С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования»)

«Историко-грамматические исследования» [1] — один из наиболее значительных и важных трудов С. Д. Кацнельсона, завершивший необычайно яркий и творчески напряженный этап исследовательской деятельности замечательного ученого, ярко отмеченный расцветом его научного таланта. Напомню кратко о содержании этой книги, имеющей весьма солидный объем — около двадцати авторских листов. После обширного теоретического Введения, в котором излагается общая грамматическая концепция автора (морфология языка; различие флективной и нефлективной морфологии; части речи и члены предложения; смысловая структура слова и синтаксические отношения), следует основной текст исследования, озаглавленный «Из истории атрибутивных отношений». Он состоит из трех больших разделов: 1) Партитивное определение; 2) Происхождение имен прилагательных; 3) Предикативный атрибут. Материалом для лингвистического анализа послужил язык древнеисландских поэтических (песни Эдды) и прозаических (родовые саги) памятников.

В кратком предисловии С. Д. Кацнельсон писал: «Основная задача этой работы — раскрыть важнейшие закономерности развития грамматического строя в эпоху разложения первобытно-общинного и возникновения классового общества в том специфическом проявлении, в котором эти закономерности выступают в древне-исландском языке» [1, с. 5].

Опубликованный в рассматриваемой книге текст должен был, по идее автора, составить первую часть широко задуманного исследования, в котором С. Д. Кацнельсон предполагал далее осветить вопросы истории субъектно-объектных, предикативных, обстоятельственных и модальных отношений в рамках той же эпохи. К сожалению, этот грандиозный план не был осуществлен. Более того, судьба опубликованной части задуманного труда сложилась неблагоприятно. Талантливая книга С. Д. Кацнельсона не только не оказала влияния на развитие историко-типологических исследований у нас в стране и не заняла подобающего ей места в истории отечественного и мирового языкознания, но фактически осталась малоизвестной. Это обусловлено тем, что она была подписана к печати в декабре 1949 г. и вышла в свет собственно к моменту начала известной лингвистической дискуссии 1950 г. Я не знаю, какова была судьба тиража, дошел ли он полностью до читателей. Печальным фактом явилось то, что книга, содержавшая оригинальный опыт творческого развития стадиально-исторической концепции языка и мышления, оказалась в числе осуждаемых с точки зрения наивного традиционализма, который приобрел на ряд лет официозный статус в нашем языкознании под знаком так называемого «сталинского учения о языке». Отрицательным моментом, поставившим под удар труд С. Д. Кацнельсона, были, в частности, содержав-

шиеся во Введении позитивная оценка и интерпретация некоторых идей акад. Н. Я. Марра (главным образом, по вопросам семантики). О характере ситуации, сложившейся после выступления Сталина в качестве участника лингвистической дискуссии, можно судить и по тому факту, что в 1950 г. С. Д. Кацнельсон был исключен из числа сотрудников Академии наук и был вынужден искать себе работу за пределами Ленинграда (несколько лет он проработал профессором Педагогического института в городе Иваново).

Настало время оценить в полном объеме научное значение трудов С. Д. Кацнельсона — одного из классиков советского языкознания. И с этой точки зрения книга «Историко-грамматические исследования», в которой смелость и оригинальность научной мысли соединились с глубоким и детальным анализом огромного языкового материала древних текстов, заслуживает самого пристального внимания.

В краткой статье нет возможности осветить все богатство содержания этого труда, проследить развитие излагаемых в нем идей, связанных с общей теоретической концепцией автора. Книга «Историко-грамматические исследования» уже принадлежит истории науки, и как всякое выдающееся явление в области духовной культуры она нуждается в историческом изучении, целью которого должны стать выявление и анализ внутренних и внешних творческих контекстов, в которых осуществилось ее создание. Поэтому необходимо обратиться к истокам тех идей, которые получили воплощение в рассматриваемом научном произведении, а также к той научной ситуации, которая способствовала развитию отразившегося в ней направления научных поисков.

Чтобы понять, как сложился комплекс идей, составивший теоретическое содержание рассматриваемого труда, завершившего собой определенный этап научных исканий С. Д. Кацнельсона, целесообразно обратиться к другой книге, созданной им в начале его научного пути, в которой начинающий лингвист с первых шагов показал себя оригинальным и теоретически мыслящим исследователем. Имеется в виду кандидатская диссертация С. Д. Кацнельсона «К генезису номинативного предложения», защищенная в 1935 г. и опубликованная как монографическое исследование [2]. Это был существенный вклад в разработку теории эргативного строя предложения, волновавшей в 30-е годы умы многих лингвистов. Проблема так называемой «эргативной конструкции» (термин, впервые введенный А. Дирром), естественно, стояла прежде всего в центре интерересов кавказоведения, которое в период 20—30-х годов было одной из приоритетных отраслей советского языкознания. Предметом пристального внимания и опытов интерпретации стали варианты эргативной конструкции, представленные в грамматических описаниях отдельных кавказских языков,— в трудах П. Услара, Л. И. Жиркова, Н. Ф. Яковлева, А. Дирра, Г. Детерса и др., а также в специальных исследованиях проблемы, принадлежавших Х. Шухардту и К. Уленбеку, в которых, помимо кавказских, исследовались факты других языков, обладающих указанной конструкцией предложения, в частности баскского и языков индейцев Северной Америки.

В 1934 г. выдающийся молодой кавказовед Анатолий Бокарев защитил кандидатскую диссертацию специально на тему «О так называемом пассивном характере аварского глагола». Популяризации темы эргативности содействовали статьи и выступления С. Л. Быховской.

Н. Я. Марр, хотя он и не был грамматистом, проявил интерес к указанной проблеме, сперва в плане поисков общих «яфетических» корней

у кавказских языков с баскским, а затем в аспекте стадиальных сближений. И. И. Мещанинов в своих трудах 30-х годов, посвященных стадиальной типологии, интерпретировал эргативный строй предложения как особое стадиальное состояние универсального характера. В широком научном контексте характерного для периода 30-х годов обостренного внимания многих лингвистов к проблеме эргативности следует трактовать активное участие в ее разработке и двух молодых германистов — С. Д. Кацнельсона и М. М. Гухман [3], начинавших свою аспирантскую подготовку под руководством самого Н. Я. Марра.

Привлечение германистов к работам возглавлявшегося им лингвистического института не было для Марра случайным. В этом факте отразился его довольно давний интерес к германским языкам, в особенности к немецкому и готскому. В начале 20-х годов этот интерес, возникнув под влиянием тесных научных контактов с Ф. А. Брауном, возглавлявшим до 1917 г. кафедру германистики в Петербургском университете, имел характер поисков «яфетического» (иначе говоря, доиндоевропейского) субстрата в германских языках [4], что явилось своеобразным откликом на аналогичные идеи, возникавшие в германистике того времени. Однако позднее, в связи с общей эволюцией своей концепции, Н. Я. Марр в работах начала 30-х годов попытался отвести германским языкам особое место в построении теории «единства языкотворческого процесса», иными словами — в постулировавшейся им весьма неопределенной схеме стадий языкового развития, в которой причудливо и хаотически смешивались элементы типологической и генеалогической классификаций языков мира.

Для этого периода были характерны специальные статьи Марра о германских языках [5] и особенно ([6], ср. [7]). Марр писал: «Немецкий язык (так же как, разумеется, каждый из прочих так называемых германских языков) представляет своеобразную структуру переходной ступени стадиального развития от яфетической системы к прометеидской. Различные моменты своеобразия структуры именно немецкого языка в целом находят поддержку, разъяснение и оправдание в различных языках яфетической системы. Главное же своеобразие немецкого языка прослеживается уже не по частям, а в целом со структурой определенных языков яфетической системы, собственно их слоев на Кавказе и в Пиренеях» [7, с. 316]. И там же: «Своеобразие структуры немецкого языка, национально называемого „deutsch“, отнюдь не определяется подбором особенностей прометеидской (т. е. общей так называемой индоевропейской, индогерманской, также арийской) системы или общегерманской ее разновидности, не говоря о том, что подлежат коренному пересмотру признаки принадлежности к этой системе и круг языков, входящих в их состав полностью или в известной строго очерченной степени» [7, с. 322].

Хотя с точки зрения теории и строгих методов сравнительного языкознания изложенная в приведенных высказываниях точка зрения не является приемлемой, т. к. она отражает фантастичность и лингвистический дилентантизм общей концепции Н. Я. Марра, тем не менее нельзя не признать, что занятая влиятельным в то время ученым позиция по отношению к германским языкам давала своего рода индульгенцию для более или менее свободной разработки проблем германистики в довольно широких рамках так называемой стадиальной теории «нового учения о языке». Если в 20-е годы тематика научных работ основанного Марром лингвистического института («Яфетического института») концентрировалась преимущественно вокруг кавказоведения, то в 30-е годы — уже в «Институте языка

и мышления» (переименование, предложенное самим Марром) — разработка проблем германистики (собственно одной из частей индоевропейского языкознания) входит в планы работ в качестве одного из главных направлений. Напомню в этой связи, что сам Н. Я. Марр незадолго до своей смерти лично пригласил В. М. Жирмунского руководить работой германистов [1].

Если говорить о факторах, способствовавших расцвету исторической германистики у нас в стране в период 30—40-х годов, то в качестве одного из них нельзя не упомянуть о благожелательной позиции, занятой по отношению к этим работам самим Н. Я. Марром, в известной степени стимулировавшим разработку проблем исторической типологии грамматического строя на материале германских языков.

Итак, С. Д. Кацнельсон начал свой научный путь в Институте языка и мышления Академии наук, будучи аспирантом самого Н. Я. Марра, призванным обнаружить в германских языках путем специального лингвистического анализа следы более ранних языковых состояний. Так возникла тема «К генезису номинативного предложения», хорошо согласовавшаяся с историко-типологическим направлением работ Института, заметно определившимся под руководством И. И. Мещанинова в период 30-х годов.

Интерпретируя (выборочно) высказывания Марра о германских языках, С. Д. Кацнельсон старался усмотреть в них анализ «разностадиальных идеологических связей, заложенных в строе немецкой речи», «стремление объяснить архаичность языковой структуры и сигнализируемой ею стадии мышления как продукт архаичной общественной формации». Он писал: «...хотелось бы отметить, что прослеживая развитие строя немецкого языка, Н. Я. в ряде мест „Нового поворота е.с.“ вплотную подходит к проблеме стадиальности синтаксиса и, конкретно, к проблеме отражений эргативного строя в немецком» [8].

Книга [2], как уже говорилось, представляет собой текст кандидатской диссертации С. Д. Кацнельсона, защищенной им в 1935 г. В своей общетеоретической части она содержит критический обзор существующих точек зрения и изложение собственного взгляда на проблему эргативной конструкции как особого типа строения предложения. Специальные главы работы автор посвятил рассмотрению архаических особенностей структуры германских языков, которые он надеялся определить как реликты предположительно существовавшего некогда эргативного способа выражения субъектно-объектных отношений. Автор отвлекается от известных ему более ранних попыток обнаружить в грамматическом строе индоевропейских языков вообще следы архаичной конструкции предложения, сходной с так называемой эргативной (в работах А. Ф. Потта, К. Уленбека и др.). Он сосредоточивает свое внимание исключительно на фактах германских языков, анализируя явления, относящиеся к разным разделам грамматики. Предметом его рассмотрения явились: 1) супплетивность падежей личных местоимений в германских языках; 2) безличные глаголы и генезис номинативного предложения; 3) номинативное предложение и залоги.

В выборе конкретных объектов лингвистического анализа С. Д. Кацнельсон уже в этом своем первом исследовании обнаружил характерные для него на протяжении всей дальнейшей научной деятельности оригинальность и «первичность» подхода к языковому материалу. Ему, несом-

[1] О состоявшейся беседе двух ученых мне известно со слов В. М. Жирмунского.

ненно, удалось выделить в морфологии и синтаксисе древних германских языков некоторые архаические явления, восходящие к более ранним состояниям индоевропейской речи. Однако заранее поставленная задача интерпретации этих явлений в пользу исходного для автора положения о наличии пережитков эргативной схемы выражения субъектно-объектных отношений натолкнулась при ее осуществлении на сопротивление языкового материала, не дающего подтверждения такой типологической реконструкции. В очень содержательной и интересной главе, посвященной древнегерманской парадигме личных местоимений, автору, несомненно, удалось показать архаический характер этой парадигмы. Однако это не представило доказательств в пользу утверждения о былом существовании эргативной конструкции в германских (и вообще индоевропейских) языках. В главе о безличных предложениях С. Д. Кацнельсон указывал, что к моменту своего возникновения безличная конструкция «служит для выражения ситуации, в которой субъект, по нормам мышления того времени, либо непосредственно не дан, либо дан лишь как второй, второстепенный субъект, причем сознание необходимо уже предполагает наличие в каждом акте мышления номинативного субъекта». И далее он сам замечает, что безличная конструкция не должна рассматриваться как пережиток эргативного строя и что возникновение ее связано уже с наличием выработавшегося именительного падежа субъекта. Тем самым она является категорией слагающегося или уже сложившегося номинативного строя и не может служить доказательством в пользу гипотезы об эргативной стадии. Автор подчеркивал, что здесь речь должна идти о начальных эпохах возникновения номинативного строя, который развился из некоего более раннего типа. Однако само по себе это не дает оснований реконструировать эргативную конструкцию как более ранний тип синтаксического построения.

Главное внимание С. Д. Кацнельсон сконцентрировал на известном факте залоговой двойственности перфективных причастий с суф. *-to-* и *-no-*, в морфологическом составе которых он предположил наличие местоименных показателей *-t-* и *-n-*, обладавших, по его мнению, пассивным значением. Именно эти причастия он и считал возможным рассматривать как непосредственный остаток глагольных форм эргативного строя. Анализ значения и употребления причастий с суф. *-to-* и *-no-* не давал, однако, оснований согласиться с выдвинутой С. Д. Кацнельсоном гипотезой. Индоевропейские причастия с этими суффиксами первоначально представляли собой прилагательные, связанные с соответствующими глаголами общностью выражаемого признака. Значения «активности» и «пассивности» первоначально определялись в них в основном лексически, в зависимости от семантики глаголов. Грамматическое противопоставление этих категорий захватило указанный тип причастий лишь в связи с образованием описательных форм страдательного залога, но никак не являлось унаследованным в таком виде от предполагавшейся автором эргативной стадии. Таким образом, значение прилагательных с суф. *-to-* и *-no-* не требует для своего исторического объяснения обращения к эргативной конструкции, чем снимается доказательность главного аргумента, выдвинутого С. Д. Кацнельсоном для обоснования гипотезы об эргативном прошлом германских языков.

В то же время анализируемые в этой книге явления, как и многие другие элементы грамматической структуры древних индоевропейских языков, дают основания восстановить черты ранней ступени номинативного строя, что и становится в дальнейшем магистральной темой исследова-

ний С. Д. Кацнельсона, определившейся, таким образом, уже как позитивный результат его первого специального труда. Выход этого труда имел большой научный резонанс. Однако широкое внимание привлекла не столько германистическая его часть, сколько часть, посвященная общей теории эргативности, состоявшая из глав: 4. «Эргативная конструкция» и 5. «Объективное и субъективное в первобытном сознании (экскурс в область истории сознания)».

С характерной для него остротой критического анализа С. Д. Кацнельсон рассмотрел ряд выдвинутых до него интерпретаций и постарался сформулировать собственный взгляд на проблему эргативной конструкции предложения и определить историческое место этой конструкции в общем процессе развития грамматического строя языков. Он писал (на основе обзора существующих точек зрения): «...вчерне наметились по меньшей мере три стадии в развитии предложения: стадия эргативного строя, древний тип номинативного строя и вырастающее из него предложение современного типа» [2, с. 7]. Развивая положение о том, что появлению номинативного строя, представленного в настоящее время в большинстве языков мира, должен был предшествовать эргативный строй как более ранняя стадия в развитии предложения, он объявлял тем самым стадиально универсальный характер этого типа структуры предложения. Стадиально-типологический подход к проблеме развития строя предложения был ярко выражен в следующих словах: «Сопоставление конструкций предложения в языках различных систем вскрывает, при различии морфологического оформления, единообразие их семантического и синтаксического содержания на одной и той же стадии общественного развития — единообразие, которое покоится на единстве происхождения и развития человеческого мышления» [2, с. 9].

Возникновение эргативного строя С. Д. Кацнельсон связывал с выработкой понятия о способности предметов к действиям, причем действенность мыслилась не как имманентно присущее им свойство, но как случайное для них состояние, в которое они попадают помимо своей воли. В этой случайности, неимманентности действия как свойства, приходящего к предметам извне, он, вслед за Уленбеком, усматривал нечто подобное понятиям «мана» или «оренда», выявляющим примитивные представления о свойствах предметов выступать «носителями действенного начала». Как и Уленбек, он считал, что в становлении эргативной конструкции с активным падежом субъекта действия определяющим моментом должно было послужить производившееся первобытным сознанием разделение предметов на «активные» и «пассивные».

С внешним источником действенной силы С. Д. Кацнельсон довольно неопределенно связывал один из наиболее ярких формальных признаков эргативной конструкции переходного глагола — постановку агенса в особом активном (эргативном) падеже, принадлежащем к числу косвенных. При этом обнаруживалась известная неясность сформулированной им точки зрения, проявившаяся в двойственном отношении к наиболее близкой его взглядам концепции Уленбека. В целом принимая ее и соответственно связывая понятие «внешнего» характера «действенности» лица и предмета с первобытными представлениями типа «мана» или «оренда», С. Д. Кацнельсон в то же время критиковал эту концепцию, считая ее привносящей религиозный момент в объяснение происхождения транзитивной конструкции эргативного строя (эманация скрытой силы, определяющей «активность действующего предмета», соответственно «casus energeticus=casus emanativus»). Тем самым оставалось до конца не рас-

крытым предложенное им определение «внешнего» характера действенности, благодаря которому «к чистому представлению о предмете прибавлялось какое-то новое отношение» [2, с. 92].

При неясности в определении генезиса эргативной конструкции оставался в сущности не раскрытым такой формально определяющий признак эргативной конструкции, как косвенный падеж действующего лица при переходном глаголе. Иначе говоря, теория «эргативности» как изучение стадии в развитии строя предложения в сущности отрывалась от комплекса фактов, представленных во многих современных языках, обладающих так называемой эргативной конструкцией предложения.

Создавшейся тупиковой ситуации, вероятно, не мог не сознавать сам С. Д. Кацнельсон, хотя он упорно продолжал называть себя «эргативистом». Углубляя изучение как данного вопроса, так и большого комплекса проблем, связанных с генезисом и древнейшим этапом в развитии номинативного строя предложения, он все дальше уходил от упрощенных представлений об универсальности «эргативной стадии». Погружаясь в изучение новых для него языковых материалов и переходя к многоаспектному рассмотрению особенностей языковых структур в их соотношении с характером мыслительных процессов, С. Д. Кацнельсон уже к концу 30-х годов вырабатывает новые подходы к изучению лингвистических фактов, блестяще примененные им в труде [1] и в ряде статей, написанных в 40-е годы.

Хотя и не отказавшись от ставшей в 30—40-е годы в известной мере традиционной теории о стадиальном характере эргативности, С. Д. Кацнельсон сделал необходимые шаги для преодоления того, что было в ней явно неубедительным и примитивным. Назову здесь эти шаги.

1. Уже в работе [2] С. Д. Кацнельсон устанавливает четкое различие между «актуальной» и «пережиточной» эргативностью, иначе говоря, между «эргативной конструкцией», сохранившейся во многих языках мира, и «эргативным строем», «существовавшим на более ранних этапах общественного развития в соответствии с более примитивным уровнем сознания». «Не следует смешивать,— писал он,— ту или иную конструкцию со строем предложения. Строй предложения в огромном большинстве языков мира номинативный» [2, с. 103]. С этой точки зрения пережиточными следует считать как эргативные конструкции в языках Северного Кавказа, так и черты эргативного строя, обнаруживаемые, по его мнению, в индоевропейских и других языках.

2. Хотя формально не отказавшись от утверждения о наличии остатков «эргативной стадии» в германских и других индоевропейских языках, С. Д. Кацнельсон в сущности прекратил непосредственные научные поиски в этом направлении. Снова обратившись к проблеме эргативности в середине 40-х годов, он разрабатывал ее далее исключительно на материале языков аборигенов Австралии, в особенности на основе текстовых записей языка племени аранта. Так, мы читаем в статье [9] : «В настоящее время есть возможность прямее определить различие между действительно архаической эргативной структурой предложения и пережиточной эргативной конструкцией. Эта возможность возникла благодаря научной разработке языка австралийского племени аранта, в котором архаическое эргативное предложение является живой нормой».

В историко-типологическом плане С. Д. Кацнельсон выделяет в качестве древней языковой стадии, к которой может быть отнесено возникновение эргативного строя предложения, стадию «первобытно-образной речи», в свою очередь соответствующую стадии «первобытно-образного мышле-

ния». Характер мышления и речи на этом древнем этапе развития были тогда же оригинально интерпретированы С. Д. Кацнельсоном в очень ярко и талантливо написанном исследовании ([10], ср. [1]), материалом для которого в основном послужили также текстовые записи языка племени аранта. В основе анализа лежало положение о качественном полисемантизме первобытно-образного имени как «единого предметно-качественного обозначения».

За состоянием первобытно-образной речи следует, согласно теории, развивавшейся Кацнельсоном, «эпоха чувственно-сущностной речи и мысли», за которой далее осуществляется поворот в развитии мышления, связанный уже с «переходом к классовому обществу, когда вырабатывается понятийное мышление позднейших эпох, которое, в свою очередь, обнаруживает ряд последовательных стадий в своем развитии» [1, с. 72].

3. Важнейшим для основного направления историко-типологических исследований грамматического строя явился переход к разработке проблемы «древнего номинативного строя», что непосредственно вытекало из предложенной С. Д. Кацнельсоном новой концепции языковых стадий. Этот переход осуществился уже во второй половине 30-х годов — в процессе работы над текстом докторской диссертации, защищенной С. Д. Кацнельсоном в 1939 г. и озаглавленной «Номинативный строй речи. 1. Атрибутивные и предикативные конструкции». Материалом для этого нового — как по задачам, так и по методу — исследования явился язык поэтических и прозаических древнеисландских текстов, выделяющихся среди других памятников на древнегерманских языках не только богатством и оригинальностью, но также и значительным архаизмом языка и стиля. Состояние языка, представленное в древнеисландских текстах, С. Д. Кацнельсон считал характерным образцом древнего номинативного строя, который он соотносил со стадией «чувственно-сущностной речи», при наличии также пережиточных явлений, сохранявшихся от стадии «первобытно-образной речи».

Диссертационное исследование, законченное к 1939 году, составило (в части, касающейся атрибутивных отношений) основную часть труда С. Д. Кацнельсона, изданную в 1949 г. под названием «Историко-грамматические исследования». Задачи, решавшиеся автором этого труда, были следующим образом сформулированы во Введении. «Задача настоящего исследования заключается в определении исторического своеобразия синтаксиса древне-исландского языка сравнительно с предшествующими и последующими этапами его исторического развития. Выявление особенностей синтаксического строя постоянно требует проникновения в закономерный процесс становления грамматических категорий, восстановления картины дописьменного состояния языка на основании реликтовых явлений и раскрытия важнейших тенденций развития древнего языка по направлению к современности» [1, с. 69].

В книге получила отражение социологическая концепция, развивавшаяся автором применительно к предложенной им историко-типологической периодизации развития речи и мышления. «Первобытно-образное мышление вырастает, насколько можно судить, на базе практики общественного производства и общественного строя эпохи дикости. Приходящая ей на смену эпоха варварства со свойственными ей новыми типами производственной деятельности и общественными отношениями порождает новый строй мышления, проявляющийся в чувственно-сущностной речи. Древне-исландский язык как язык эпохи разложения доклассового

общества и нарождения классовых отношений дает опору для прослеживания процесса перестройки речи при переходе от первобытно-общинного строя к классовому. Вместе с тем многочисленные пережиточные явления в строе древнеисландского языка вынуждают исследователя ставить вопросы, связанные с предшествующим развитием языка вплоть до проникновения в глубь первобытно-образной речи». И далее: «Предпринимаемое здесь исследование строя древнеисландского языка предполагает, таким образом, рассмотрение синтаксических отношений в их историческом своеобразии как в сравнении с идеологически изжитыми и изживаемыми нормами мышления доклассового общества, так и в сопоставлении с нормами более развитого мышления классового общества. Прослеживание исторических закономерностей развития грамматического строя позволит уточнить характеристику отдельных эпох и вместе с тем глубже понять особенности развития специально интересующего нас здесь языка» [1, с. 72—73].

Принятие за основу характеристики описываемого языкового состояния жестко выраженной социологической схемы не нарушило, однако, строгости и ювелирной тщательности проведенного автором лингвистического анализа, который точнее всего может быть определен как стилистико-грамматический, с обостренным вниманием к вопросам семантики, притом не только грамматической, но и лексической.

В книге дано образцовое описание системы выражения атрибутивных отношений, интерпретируемой путем развернутого анализа фактов одного древнелитературного языка, представленного в едином хронологическом срезе, однако с учетом как архаических явлений, так и относительных инноваций. Проблематика, связанная с эргативной теорией, не получила никакого отражения в этом исследовании, и сам термин «эргативность» ни разу не встречается. Вводимое автором различение явлений, связанных с понятиями «чувственно-сущностной» и «первобытно-образной» речи, последовательно применяется при рассмотрении определенных моделей атрибутивных конструкций. Так, например, в главе о партитивном определении отдельно рассматриваются: 1) партитивные обороты на стадии чувственно-сущностной речи и 2) пережитки партитивных форм первобытно-образной речи. Теоретически важный и занимающий, естественно, больше всего места в книге раздел о прилагательных, включающий рассмотрение основных вопросов морфологии и синтаксиса германских прилагательных (бесчленное слабое прилагательное в древних германских языках; членные сочетания слабого прилагательного в Эдде; слабые и сильные прилагательные в языке древнеисландской прозы; определенный артикль; двойная флексия прилагательных и степени сравнения и др.) заключается обобщающим разделом: «Происхождение прилагательных и их развитие на стадии чувственно-сущностной речи». Как отправной момент развития автором предполагается специфическая для предшествующего этапа, а именно, для стадии «первобытно-образной речи», лексическая нерасчлененность предметных и качественных значений. «Одно и то же первобытное имя обозначает как предметы, так и их качества, и только из контекста явствует каждый раз, какое из значений имеется в виду» [1, с. 264]. И на новой ступени развития, т. е. на стадии характерного для анализируемых исландских текстов древнего номинативного строя, «...определение отличается еще рядом особенностей сравнительно с отношениями современной речи. Анализ материалов древнеисландского языка показал, что первоначально прилагательные были даны в виде двух грамматических разрядов — существенных и несущест-

в е н н ы х определений. Как явствует из материала, это разграничение принимало разные формы на разных этапах развития древней речи» [1, с. 266].

В постановке проблем и в методике синтаксического анализа обширного текстового материала заметно влияние труда А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике», которым С. Д. Кацнельсон увлекался в годы написания своей докторской диссертации. Интерпретация грамматических взглядов Потебни применительно к фактам различных языков была одной из главных тем оживленных дискуссий, развертывавшихся в среде ленинградских лингвистов во второй половине 30-х годов, и замечательная книга выдающегося русского языковеда для многих была тогда настольной. Последний раздел труда С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования», посвященный предикативному атрибуту, в отношении тематики и метода исследования непосредственно перекликается со вторым томом «Записок по русской грамматике», хотя и содержит некоторую критику отдельных положений этого знаменитого труда.

В обширном Введении, предпосланном аналитическим по методу главам «Историко-грамматических исследований», интерес представляет изложение общеграмматической концепции С. Д. Кацнельсона, в основном повторяющее содержание его известной статьи 1948 г. «О грамматической категории» [11]. В книге опубликован второй вариант вступительной статьи, заменившей собой первоначальный текст, который был непосредственно связан с основной темой труда С. Д. Кацнельсона и содержал развернутое изложение его концепции развития языковых стадий в их увязке со стадиями развития мышления. В этом изложении были использованы историко-этнографические факты и вообще была широко развернута философская и социально-историческая аргументация развивавшейся автором концепции стадиальности. Замена текста вступительной статьи несомненно повредила цельности изложения историко-типологической проблематики, составляющей основное содержание книги С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования». Более того, первый раздел опубликованного варианта Введения, озаглавленный «Н. Я. Марр о задачах историко-грамматического исследования» (с. 7—35), возможно, а скорее вероятно, послужил основной причиной того, что в условиях сталинской критики теории Марра выдающийся лингвистический труд С. Д. Кацнельсона не дошел в свое время до того широкого круга ученых-гуманитариев, на который он был рассчитан.

В настоящее время, при давно уже назревшей потребности в непредвзятом, полностью объективном изучении истории советского языкознания, представленная в книге С. Д. Кацнельсона подборка теоретических высказываний Марра представляет несомненный интерес. В данном случае интересны не столько сами по себе взгляды Н. Я. Марра, которые нуждаются в специальном, последовательном и объективно-критическом изложении, сколько избирательное отношение к ним со стороны образованного и оригинально мыслившего лингвиста, принимавшего в общей форме такое положение марровской концепции, как идея об общих исторических закономерностях развития человеческой речи, включая законы исторической семантики.

Книга С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования», являющаяся в настоящее время, по-видимому, библиографической редкостью, должна по праву занять выдающееся место в развитии общей теории историко-типологических исследований. Как труд, посвященный детальному анализу системы средств выражения атрибутивных отношений в

древнеисландском языке, она должна занять подобающее ей место среди трудов по германистике. Для индоевропейского сравнительного языкознания это грамматическое исследование, проведенное на материале одного из древнегерманских языков и содержащее, в частности, рассмотрение вопросов поэтического синтаксиса, также может иметь непреходящее значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Кацнельсон С. Д.* Историко-грамматические исследования. I. Из истории атрибутивных отношений. М.— Л., 1949.
2. *Кацнельсон С. Д.* К генезису номинативного предложения. М.— Л., 1936.
3. *Гухман М. М.* Происхождение строя готского глагола. М.— Л., 1940.
4. *Марр Н. Я.* К вопросу об яфетидизмах в германских языках // Яфетический сборник. Т. I. Пг. 1922.
5. *Марр Н. Я.* Готское слово *guma* «муж» (К увязке готов с яфетическими народами Кавказа) // Изв. АН СССР. 1930.
6. *Марр Н. Я.* Новый поворот в работе по яфетической теории (Из результатов научной командировки в Германию) // Изв. АН СССР. 1931.
7. *Марр Н. Я.* Избранные работы. I. Л., 1933.
8. *Кацнельсон С. Д.* Н. Я. Марр и немецкий язык // Язык и мышление. Т. VIII. М.— Л., 1937. С. 276.
9. *Кацнельсон С. Д.* Эргативная конструкция и эргативное предложение // ИАН ОЛЯ. 1947. 1. С. 44.
10. *Кацнельсон С. Д.* Язык поэзии и первобытно-образная речь // ИАН ОЛЯ. 1947. 4.
11. *Кацнельсон С. Д.* Общее и типологическое языкознание. Л., 1986.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ

В ходе сравнительно-исторического изучения как иранской языковой семьи в целом, так и входящих в нее отдельных групп и единичных языков, возникает целый ряд вопросов не только собственно ирановедческих, но и общих, методических, часть которых, как представляется, может оказаться существенной и при исследовании истории других языковых семей (особенно — входящих в индоевропейскую макросемью). Методические проблемы сравнительно-исторического анализа иранских языков давно привлекали внимание исследователей (обзор основных вопросов см., например, в [1—2]); некоторые аспекты этой проблематики рассматривались также в связи со сравнительно-историческим изучением фонетики и фонологии иранских языков [3—5; 6, с. 8—20, 203—217 и др.]. В настоящей статье предпринимается попытка рассмотрения определенных вопросов, связанных со сравнительно-историческим анализом морфологического уровня этих языков. В рамках небольшой статьи естественно ограничиться обзором отдельных моментов, существенных для истории иранских языков: 1) возможности и приемы реконструкции морфологического уровня праязыковой системы в целом; 2) поиски морфологических черт, подкрепляющих противопоставление западноиранских и восточноиранских языков (отчетливое на фонологическом уровне); 3) уточнение характера взаимодействия языковых уровней и выявление причинно-следственных связей в перестройке морфологии от праязыковой системы к системам конкретных языков.

Решение этих вопросов представляет немалые трудности уже в силу специфики самого материала иранских языков. Разбросанность последних на обширном пространстве, их различные по времени и по степени глубины контакты между собой и с другими языками (включая те, которые составили субстрат), вхождение в разные языковые союзы и т. п.,— обусловили целый комплекс разновременных трансформаций (структурных и понятийных) неспонтанного происхождения. При этом даже спонтанные изменения допускают зачастую неоднозначную трактовку. К тому же они не всегда могут быть выявлены из-за скудости и фрагментарности письменных памятников, их жанровой неоднородности и несинхронности для разных языков, а также из-за невозможности проследить историю подавляющего большинства иранских языков по письменным свидетельствам, поскольку, как правило, языки памятников не имеют прямых потомков среди живых языков, а живые — письменной фиксации в существенно удаленном прошлом. Единичные «прямые» линии развития: 1) древнеперсидский → среднеперсидский → классический персидско-таджикский → современные персидский, таджикский, дари, 2) согдийский → ягнобский,— исключения. К тому же и они на разных этапах развития представляют продолжения несколько различающихся диалектных систем.

Вместе с тем несомненная принадлежность иранских языков к индоевропейской семье и продолжение в них части доисторических арийских (индоиранских) диалектов a priori предполагают в их древних состояниях, в частности, в общеиранском,— систему, являющуюся наследницей общеиндоевропейской.

При таком материале «прямая» сравнительно-историческая реконструкция праязыкового морфологического уровня (как и фонологического),— будь то праязыковый период для всей семьи или для одной из групп,— если она базируется только на данных конкретных иранских (как, впрочем, и любых других) языков,— будет ущербной. С одной стороны, она связана с риском спроецировать в прошлое инновации (включая и ареальные «мутации» контактного происхождения, и результаты поздних типологических трансформаций). С другой стороны, она заведомо не дает возможности восстановить древнюю богатую флективную систему, если эта система (вся или частично) была утрачена в ходе последующих структурных трансформаций. То же относится, естественно, и к процессу внутренней реконструкции древнего состояния отдельных языков.

Эти свойства самого иранского материала вынуждают обратиться к иным приемам реконструкции. Как показал уже опыт сравнительно-исторического изучения фонетики и фонологии иранских языков, в этих условиях наиболее результативными оказались приемы «промежуточной» реконструкции — установления системы определенного промежуточного этапа между ранней системой, с одной стороны, и системами конкретных языков,— с другой. В качестве ранней системы может выступать: общеиндоевропейская (и общеарийская) — для реконструкции общеиранской системы, последняя — для реконструкции прасистемы группы родственных языков и т. д. Верифицирующими свидетельствами служат при этом данные других и.-е. языков, в первую очередь — генетически близкого — древнеиндийского. Реконструированные с помощью этих приемов общеиранская система и общее состояние восточноиранской группы на фонологическом уровне позволили в свое время выявить не только их основные синхронные характеристики, но и определенную ареальную и хронологическую стратификацию праязыка, заложенные в нем фонетические тенденции к дальнейшим фонологическим трансформациям, а также наметить следы субстратных воздействий на диалекты праязыка, ряда древних изоглосс, не нашедших отражения в последующей дивергенции языков, и т. д. Эти приемы позволили также установить случаи воздействия морфологической парадигмы на «сбои» историко-фонетических изменений и другие «нестандартные» линии развития фонологии [3—5; 6, с. 8—20, 25—26, 55—57, 84—85, 107—110, 203—217].

Применение этих же приемов в сравнительно-историческом исследовании морфологии иранских языков оказалось еще более перспективным, что связано со свойствами самого морфологического уровня. Тот факт, что он более непосредственно зависим от содержательной стороны языка, что он состоит из большего числа единиц, что многие из них в условиях флективного строя имеют более одной функции и связаны между собой более сложной системой отношений, чем единицы фонологического уровня, и т. п.,— требует его реконструкции не только в плане максимально полного инвентаря материальных единиц, но и в отношении максимального выявления их функций и, в конечном счете,— содержательных оснований. Последнее обстоятельство делает обращение к более удаленным этапам, чем этапы, засвидетельствованные в конкретных иранских языках, особенно необходимым: оно дает возможность реконструировать «промежу-

точную» ступень в развитии функциональной стороны некоторых подсистем морфологического уровня — иногда даже в большей степени, чем в изменениях материального облика составляющих его единиц. Таким образом, внимание к функциональной и, тем самым, к содержательной стороне морфологической системы накладывает свой отпечаток на процесс реконструкции праязыковых систем (общеиранской и прасистем отдельных групп) и более ранних систем единичных языков, а также на выявление путей и движущих сил в трансформации морфологического строя конкретных языков.

При общем учете специфики иранского материала и специфики морфологии как языкового уровня сравнительно-исторический анализ морфологии иранских языков в каждом из трех указанных выше аспектов выдвигает свои дополнительные проблемы.

I

Реконструкция общеиранского морфологического уровня, в отличие от фонологического, при применении приемов «промежуточной» реконструкции вынуждена в качестве своей непосредственной «поздней» опоры использовать в большей степени показания древних иранских языков (прежде всего — авестийского), чем языков последующих эпох. Эта необходимость диктуется тем, что материал древних языков с их ярко выраженным флективным строем при сопоставлении его с реконструированными доиранскими системами дает наиболее полное представление не только о наборе единиц морфологического уровня праязыка, но и об их функциях. Языки же последующих эпох с их тенденцией к аналитизму и затем в части из них — к вторичной агглютинации и частичному синтезу [7] — выявляют уже значительно более скудные рефлексы древней флексии (вплоть до нуля, особенно в именной подсистеме). При этом и функции элементов, продолжающих древние флективные показатели, здесь уже зачастую иные: ср., например, показатель мн. числа имен (первоначально — названий лиц) в беспадежной системе персидского языка *-ān*, восходящий к флексии генитива мн. числа **-ānām*; показатели косв. падежей, оформляющие имя субъекта в «эргативных» конструкциях во многих языках — из древних генитива и инструменталиса; формы прош. времени глагола в хорезмийском языке, восходящие к оптативу и сохраняющие рефлекс его суффикса, и т. п. Поэтому адекватно восстановить общеиранскую парадигму даже в основных ее чертах можно только с опорой на показания языков древнего периода (лишь с отдельными коррективами, вносимыми архаизмами более поздних языков).

В том, что и в наиболее поздний период существования праязыкового состояния («накануне распада») его морфологический уровень был представлен ярко выраженной флективной системой, сомневаться не приходится. Об этом говорит не только флективность (хотя уже и с признаками некоторого упрощения) древнеиранских языков — авестийского и раннего древнеперсидского,— но и флективная парадигма отдельных языков не-древнего периода (хотаносакского, раннего согдийского). Этот факт, как и данные исторической фонетики, указывает на относительно ранний «распад» праязыка на группы, подгруппы и отдельные языки,— в период, когда флективный строй был еще живым. А следовательно, процессы «свертывания» старой флективной системы (т. е. утрата части древней флексии и переосмысление рефлексов сохранившихся элементов) должны были протекать параллельно и независимо в различных группах и языках.

Приближенного хронологически к праязыковому периоду общего «упрощенного» состояния типа народной латыни здесь не было, как не было и единого (в структурном и материальном планах) общего «среднеиранского» состояния всех иранских языков (ср. сложную флективную систему имени и отчасти глагола хотаносакского языка, менее сложную в имени, но с сохранением системы древнего имперфекта в глаголе — согдийского, но существенно аналитизированную в имени и в глаголе — среднеперсидского).

На основании показаний древнеиранских языков (и при учете отдельных архаизмов в более поздних языках) и реконструированных доиранских систем (при верифицирующих свидетельствах других и.-е. языков) восстанавливается, таким образом, в основных чертах сложная общеиранская флективная парадигма, материально и структурно сходная с парадигмами других древних и.-е. языков.

Однако здесь начинаются трудности в частностях, и прежде всего — в выявлении функционального плана некоторых словоформ, а также в реконструкции материального облика единичных элементов.

Так, обнаруживается, что даже реконструировав материальный облик некой совокупности морфологических единиц и установив, что они составляют единую парадигму, не всегда можно определить их функциональную сторону и, следовательно, их соотношение в словоизменительной парадигме имени или глагола (например, разграничение функций падежей имен или значений классов глагольных основ), либо в лексической парадигме, состоящей из группы коррелирующих лексем (например, соотношение разных серий указательных местоимений по их пространственной ориентации на говорящего и собеседника). В условиях отсутствия текста такие данные можно получить лишь косвенными путями.

В традиционных иранистических сравнительно-исторических трудах реконструкция материального облика праязыковой словоформы или форманта обычно не сопровождалась реконструкцией ее содержательной (или функциональной) стороны. Праязыковые формы, а в ряде работ и их продолжения в конкретных языках древнего и более поздних этапов получают, как правило, ту номинацию (и, следовательно, квалификацию их функций), которую в классической индоевропеистике получали аналогичные формы общеиндоевропейского или конкретных древних и.-е. языков. Иногда (при совпадении функций) такая практика оказывается удачной, иногда же она ведет к существенному «сбою» в квалификации функций того или иного элемента.

Так, формы имен от тематических основ с общеиранскими показателями в ед. ч. **-aĥia*, мн. ч. **-ānām* (учитывая и тематическую гласную) принято называть генитивом — на основании аналогичного места в парадигме сходных форм не только авестийского и древнеперсидского языков, но и древнеиндийского и других индоевропейских. Это — удачно, хотя при этом не всегда учитывается, что, называя форму генитивом, мы тем самым как бы уже определили до того общий тип парадигмы и соотношение ее компонентов, поскольку генитив — падеж, появляющийся на определенном этапе типологического развития языка в целом и именной парадигмы, в частности [8; 9, с. 156—164; 10, с. 278].

С другой стороны, глагольные презентные основы с общеиранским суф. **-sa* < **-sśa* (~др.-инд. *-ccha*) < общеарийск. **-sća* < и.-е. **-ŝkelo*, или **-ŝk̂* (14 кл. по Бартоломе [11, с. 78]) по традиции часто называют инхоативными. Этот термин используется иногда и для обозначения их

рефлексов в более поздних языках. Вместе с тем эти основы уже в языке Авесты [12, с. 209—210], а особенно в языках последующих эпох указывают на непереходность действия, на состояние субъекта, используясь зачастую наряду с основами на *-*ia* со слабой огласовкой (27 кл. по Бартоломе [11, с. 82—83]). Возможно, уже в общеиранском состоянии их ведущим значением была именно непереходность, а инхоативность (начинательность) сохранялась как остаточная, периферийная функция. При этом и основы на *-*ia*, традиционно называемые пассивными по аналогии к древнеиндийским пассивам идентичного образования, в иранских языках не генерализовались в качестве пассивных. Здесь они обычно выражают непереходность и состояние (см. также ниже), и возможно, что именно этот круг значений был наиболее характерен для них уже в общеиранскую эпоху. Тем самым в традиционной квалификации данных глагольных основ мы имеем в первом случае архаизацию их функций, во втором — как бы включение их в оппозицию, в которую они не входили.

Таким образом, реконструкция морфологической системы праязыка (как и более ранних состояний конкретных языков) нуждается во внимании не только к материальной, но и к содержательной стороне ее элементов, поскольку реконструируются не просто звуковые единицы или их последовательности, а функциональные единицы, представляющие элементы знаков в их двусторонности, образующие определенные парадигмы.

Трудности для восстановления общеиранской морфологии представляет в некоторых случаях и материальный облик отдельных элементов, особенно входящих в такие звенья системы, которые уже в доиранскую эпоху были периферийными и которые недостаточно представлены в зафиксированных иранских языках. Не всегда ясна даже правомерность реконструкции для общеиранского состояния таких элементов. Так, немногие формы двойственного числа, выявляемые в авестийском в именной и глагольной подсистемах, и единичные рефлексы форм двойственного числа в более поздних языках слишком скудны для воссоздания общеиранских парадигм дуалиса. В принципе довольно большая часть недостающих форм могла бы быть восстановлена по аналогии к соответствующим древнеиндийским. Однако насколько правомерной была бы такая процедура? Известно, что система двойственного числа не получила полного развития в общеиндоевропейском состоянии, и какие-то фрагменты ее парадигмы могли вырабатываться в языках, продолжающих его диалекты, позднее и независимо друг от друга, а могли и не быть выработаны вовсе [13]. В этих условиях, например, неразграниченность в иранской медиальной глагольной парадигме форм от презентных основ с «первичными» и «вторичными» окончаниями в 1-м л. дв. числа (т. е. возможность продолжения здесь окончаний *-*ṷadai* или *-*ṷadi*) может быть результатом как совпадения рефлексов этих общеиранских окончаний в последующую эпоху, так и изначального отсутствия в общеиранском «первичного» окончания, в отличие от ведического языка, где оно могло быть выработано относительно поздно по аналогии к «первичным» окончаниям других форм презенса.

Реконструкция общеиранской морфологии подтверждает в целом показания фонологического уровня об ареальной неоднородности праязыковой системы, о наличии уже в то время определенных регионов (чаще — окраинных или рано изолированных от основной массы диалектов) с отклонениями от общей «нормы» [6, с. 24—26, 36, 53, 58—59, 215]. Особенно наглядно это выявилось, однако, в парадигмах, объединяющих

определенные лексические единицы, прежде всего — в системе числительных и указательных местоимений.

Характерно, например, различное обозначение единицы. В подавляющем большинстве иранских языков продолжается основа *aiu̯á- (ж.р. *aiu̯ā-) с колебаниями ударения (часть языков отражает прототип *áiu̯a-) и ранней суффиксацией *-ka (в ряде случаев прослеживается результат *aiu̯á-ka-, *áiu̯a-ka),— т. е. основа, производная от и.-е. дейктической *ei- «тот, он» с распространителем *-u̯a (ср. авест. aēva-, др.-перс. aiva «один», но др.-инд. evá «так», éka «один», ena- «он», eṣá- «тот» и т.д.) [14, с. 286; 15]. Однако в двух языках: ормури (живом бесписьменном, северо-западной подгруппы) и сакском (вымершем письменном, юго-восточной подгруппы),— продолжается основа общеиран. *ś(i)i̯a- (ж.р. *ś(i)i̯ā-) < арийск. *ć(i)i̯a-, восходящая к другому и.-е. дейктическому элементу — *k̂o-, *k̂e- в форме *k̂(i)i̯o- «этот» [14, с. 609]: орм. логар. še, каниг. sa (ж.р. sye), хот.-сак. śśa-, śśya- (ж.р. śśā), тумш.-сак. śo [16—17; 18, с. 158]; она же сохраняется здесь в сложных числительных («одиннадцать», «двадцать один» и т.д.). Наличие данной основы в языках — потомках древних окраинных диалектов свидетельствует о ее архаичности.

Различны по ареалам были и способы образования сложных числительных. Так, обозначения числительных второго десятка продолжают в одних случаях сочетания полнооформленных слов (иногда весьма архаичные), в других — древние композиты. Ср., например, обозначение числительного «одиннадцать»: авест. aēvandasa-, парф. 'ywnds, согд. ywnts-, хорезм. 'ywnd(y)s, осет. īwændæs/ewændæs восходят к общеиран. *aiu̯an-daśa — из арийского сочетания *aiu̯am daća [аккузатив м.р. или номинатив-аккузатив ср.р.; по той же модели построены хот.-сак. śāṃdasa, орм. śándas, sandas, где первый компонент — из арийск. *ć(i)i̯am], в то время, как в перс. yâzdăh отражается вторичное сочетание *aiu̯a-ča daśa (с растяжением *a > *ā по аналогии с *duu̯ā-ča daśa «двенадцать»), а в пашто yawólas — композит *aiu̯ā-daśa. В числительном «тринадцать» — ср.-перс., кл. перс., тадж. sezdah продолжает либо древнее сочетание *trai̯az-daśa из арийск. *trai̯as daća (номинатив м.р.), либо вторичное сочетание *trai-ča daśa, в то время как авест. θridasa- восходит к композиту *tri-daśa- (как и осет. ᵃrtyndæs/ærtindæs с огласовкой *i и вставкой осет. -n- по аналогии с ærtyn/ærtin «тридцать»), а пашто dyā́rlas и хот.-сак. drraiśuvo' продолжают прототип с дифтонгом: либо композит *trai-daśa, либо общеиранское сочетание *trai̯ah daśa.

Для общеиранского состояния восстанавливается большое количество основ указательных местоимений — первичных и вторичных, возникших при сращении двух основ (всего — не менее 14, не считая основ ж.р. на *-ā от основ м. и ср.р. на *-a). Распределение рефлексов этих основ по разным сериям (т. е. по степеням удаленности от говорящего и собеседника) в конкретных иранских языках при сравнении с соответствующей дистрибуцией их и.-е. прототипов позволяет выявить их приблизительное распределение по сериям в общеиранском. Здесь отчетливо прослеживаются три серии: I — «этот», ближний к говорящему (по Бругману — Ich-Deixis), II — «этот, тот», ближний к собеседнику (Du-Deixis), оно же служит для эмфазы и анафоры «именно тот», «тот, который...» (Der-Deixis), III — «тот», удаленный от обоих участников диалога, ближний к 3-му лицу (Jener-Deixis) [19]. При этом в каждой из этих серий в общеиранском оказывается несколько основ и соотношение их не всегда ясно. Часть основ, по-видимому, распределялась по родам и по разным формам падежей и чисел в парадигме, как и в других и.-е. языках (например, *ha~

~*ta). Однако функции некоторых основ не выявлены. К тому же объединение в рамках единой парадигмы набора именно тех, а не иных основ производится иногда по аналогии с иноязычными системами (обычно — ведической), что оставляет место для сомнений: в общеиранской системе оно могло быть и иным. Не исключено, что в части случаев объединение в одну парадигму разных основ могло быть неодинаковым по ареалам и что некоторые из разных позднейших трансформаций указательных местоимений в конкретных иранских языках были стимулированы различными внутрипарадигматическими процессами в разных диалектах древности.

Таковы далеко не все проблемы, возникающие при реконструкции морфологического уровня общеиранской праязыковой системы.

II

Как известно, членение иранских языков на две большие генетические группы — западную и восточную — основано на определенных историко-фонетических различительных признаках, сложившихся в очень раннюю эпоху, частично (на фонетическом уровне) в диалектах индоиранского состояния, с выходом на фонологический уровень значительно позднее, после «распада» общеиранского языка [5; 6, с. 213—215]. Данные дифференцирующие признаки были свойственны тем самым праязыковым состояниям каждой из двух этих групп.

При этом попытки выявить морфологические (как и лексические) различительные черты, которые подкрепляли бы историко-фонетические, до сих пор не увенчались успехом.

В различных трудах в качестве таких дифференцирующих черт назывались, например, лучшая сохранность падежной флексии в восточной группе, чем в западной; различное происхождение показателей мн. числа; различное построение определительных конструкций (препозиция определения в восточноиранских языках ~ постпозиция его с использованием особых «изафетных» показателей при определяемом — в западноиранских); разные типы организации предложений с переходными глаголами в прош. временах и некот. др. Однако ни одна из указанных характеристик не может служить изоглоссой, действительно разделяющей эти группы. Так, признак лучшей сохранности падежной флексии принадлежит не всем восточноиранским языкам, и не все западноиранские утратили флексию полностью. Неодинаковость происхождения показателей мн. числа характерна для разных языков внутри групп (ср. вторичные показатели, восходящие к древним суффиксам собирательности и абстрактности: к *-*t*/*ϑua*,— показатели, характерные для разных языков обеих групп, и к *-*tā*, свойственные лишь единичным языкам восточной группы). Определительные конструкции изафетного типа, действительно отсутствующие изначально в восточноиранских языках (бактрийское «исключение» сомнительно), развились и не во всех западноиранских: часть из них сохранила препозицию определения. Построения предложений с переходными глаголами в прош. временах, где субъект выражен именем в косв. падеже (так называемые эргативные или эргативообразные конструкции), оказались свойственными большинству языков (в настоящем или в прошлом) обеих групп. К тому же первый и два последних из указанных признаков носят не материальный, а структурно-типологический характер. (Обзор предполагавшихся морфологических дифференциаций и их обсуждение см. [20—22; 1, с. 125; 2, с. 85—86].)

Сравнительно-историческое изучение морфологии иранских языков на новом «витке», особенно с выходом в свет четырех томов «Основ иранского языкознания» [23—26], позволило еще раз вернуться к поискам морфологических изоглосс, разделяющих языки восточной и западной групп. Особое внимание при сравнении истории их парадигм было уделено при этом их материальному и функциональному аспектам. Учитывалось также, что «группировка диалектов по общей изоглоссе, выражающейся в утере и переосмыслении определенных структурных элементов, не предполагает с необходимостью общего совместного развития этих диалектов. Такая изоглосса в некоторых случаях может отражать независимое развитие в отдельных диалектах структурных тенденций, заложенных в общем языке. Структурные данные такого типа могут, очевидно, считаться основанием для диалектной группировки лишь в том случае, если другие более показательные изоглоссы дают основание для такой же ареальной классификации диалектов» [10, с. 387]. Анализ материала в этих условиях выявил следующее.

Существенное «упрощение» древней флективной парадигмы, особенно в живых иранских языках,— вплоть до нуля, а также последующее становление во многих из них различных вторичных агглютинативных и флективных форм имени и глагола оставили очень мало участков парадигм, на которых можно было бы проследить сходства и различия материального инвентаря. Однако и на этих участках сравнение выявляет чаще всего либо разные (фонетически) рефлексы одних и тех же древних формантов, либо продолжение какого-либо элемента в одной группе языков (обычно восточной) и утрату его — в другой (обычно западной). Конкретных изоглосс материальных различий оказалось очень мало, и все они охватывают не каждую группу целиком, а лишь бо́льшую часть входящих в нее компонентов.

Так, в именной парадигме, которая резко упрощена в не-древних языках западной группы (т. е. живых и вымерших языках не древнего периода) и в большей части живых языков восточной группы, расхождения между сохранившимися элементами носят не абсолютный, а частотный характер. Например, в обеих группах отмечаются рудименты древнего генитива: в виде одного из косвенных падежей либо общекосвенного, а при утрате падежной системы — в виде единой формы. Это особенно наглядно в местоимениях 1-го л. ед. и мн. числа (продолжающих соответственно **mana* и **ahmākam* → **amāxam*) и в показателе мн. числа имени (из **-ānām*). При этом в большинстве (но не во всех!) не-древних восточноиранских языков продолжаются и рефлексы общеиранского инструментального падежа мн. числа на **-aibiš*, **-ābiš* и т. п., совпавшие здесь относительно рано с рефлексами датива-аблатива мн. числа и давшие в итоге исход форм мн. числа на *-ev*, *-ef*, *-ĭf* и т. п. Эти формы (в основном существительных и указательных местоимений) тоже выступают в ряде языков как общекосвенные или — при утрате падежных оппозиций — как единые формы мн. числа (иногда для определенных семантических групп имен). Тем самым наличие этих форм является частой, но не общей чертой восточноиранской группы. С другой стороны, хотя в языках западной группы не-древнего периода (живых и вымерших) аналогичные формы не прослеживаются, наличие инструменталиса на *-aibiš* в древнеперсидском не позволяет считать их отсутствие общим западноиранским признаком.

Общеиранские личные энклитические местоимения мн. числа 1 л. **nah*, 2 л. **yah* отражаются в восточноиранских языках в виде либо

энклитических местоимений, либо глагольных показателей (в формах, продолжающих конструкции с причастиями от переходных глаголов). В западноиранской группе в этих функциях выступают инновационные энклитики, образованные показателем мн. числа от 1 и 2 л. ед. числа (типа тадж. мн. ч. 1 л. *-амон*, 2 л. *-атон* от ед. ч. соответственно *-ам*, *-ат*). Однако считать эту черту абсолютной изоглоссой, разделяющей западную и восточную группы, мы не можем, поскольку, например, в курдских диалектах (западная группа), кроме этих новых форм, выявляются также рефлексы старых энклитик мн. числа [27], а в диалектах согдийского и в хорезмийском (восточная группа) наблюдаются аналогичные западноиранским новые построения мн. числа от ед. числа (ср. согд. муг. ед. ч. 1 л. *-my*, 2 л. *-ty*, мн. ч. 1 л. *-mn*, 2 л. *-tn* [28]; хорезм. ед. ч. 1 л. *m*(′), *m*(*y*), 2 л. *v*(′), *d*(*y*), 3 л. *h*(*y*), мн. ч. 1 л. *mn*(′), 2 л. *vn*(′), 3 л. *hyn*(′) [29]. Тем самым и в отношении происхождения местоименных энклитик различие между группами носит лишь частотный (хотя и высокочастотный) характер.

Частотный характер расхождений оказался свойственным и элементам глагольной парадигмы языков обеих групп, хотя часть восточноиранских языков не-древнего периода и здесь сохраняет более архаичное состояние парадигмы. Так, согдийский, хорезмийский и ягнобский выявляют системное продолжение древнего имперфекта с его «вторичными» окончаниями и аугментом. В западноиранской группе прослеживаются лишь рефлексы имперфекта (или инъюнктива) в среднеперсидском языке и частица типа аугмента в талышском (причем древность ее здесь небесспорна). Однако наличие системы имперфекта (хотя и в затухающем виде) со всеми его показателями в древнеперсидском не позволяет считать ее признаком только восточноиранских языков. То же относится к рефлексам общеиранских косвенных наклонений, характерные показатели которых (суффиксы и флексии) обнаруживаются в обеих группах (хотя в восточной они выявляются четче и в большем количестве языков), к продолжениям разных классов презентных основ и т. д. При этом материально сходные инновации свойственны некоторым языкам обеих групп, и общие изоглоссы и в этом плане не выявляются.

Таким образом, признавая общую методическую ценность морфологических изоглосс при определении членения языковой общности на генетические группы и подгруппы, приходится констатировать, что специфика иранского материала не позволяет пока выявить их здесь в «чистом» виде, т. е. в виде не частотных, а общих признаков для всех языков западной или восточной группы. Причиной этого является существенная структурно-типологическая перестройка (переход от флексии к аналитизму и затем к вторичной агглютинации) почти всех языков западной группы и большинства языков восточной группы в период, последовавший за древнеиранским. А поскольку древний период для восточноиранских языков не зафиксирован письменно (язык Авесты по историко-фонетическим данным нельзя целиком отнести к этой группе, см. [6, с. 217]), а для западных зафиксирован памятниками одного языка — древнеперсидского, к тому же значительно «продвинутого» (особенно на позднем этапе) и представленного относительно небольшим количеством текстов,— то многие элементы общеиранской флективной системы, утраченные, возможно, уже в древности, уже не могут быть выявлены и сопоставлены. Новые же элементы образуют изоглоссы, охватывающие либо небольшие языковые подгруппы внутри групп, либо различные единицы обеих групп. Тем самым надежных морфологиче-

ских изоглосс, разделяющих западную и восточную группы, сравнимых по четкости с фонологическими изоглоссами, и на данном этапе изучения истории иранских языков обнаружить не удалось.

Можно предположить, что на том уровне древности, к которому относится возникновение историко-фонетических изоглосс, охвативших диалектные группы еще в общеиранский и даже в общеарийский периоды, когда единые в принципе фонологические системы отличались друг от друга лишь в частностях реализации отдельных серий фонем (см. [5; 6, с. 213—215]), аналогичные изоглоссы могли быть и на морфологическом уровне: единая в принципе морфологическая система могла иметь диалектные различия в облике частных алломорф или их функционировании. Однако из-за отсутствия древних восточноиранских памятников (и скудости древнеперсидских текстов) такие «детали» уже не поддаются реконструкции. Последующие же перестройки — после древнеиранской эпохи — были относительно единообразны в историко-типологическом плане и потому дали сходные результаты в отношении «вымывания» архаизмов и образования новых конструкций и форм по сходным моделям (включая ареальные) в обеих группах. В результате «старые» материальные изоглоссы, противопоставлявшие эти две группы, были утрачены, а новых не образовалось.

III

В традиционной иранистике основной причиной ослабления и отпадения древних флективных показателей считалось их заударное положение. Согласно теории А. Мейе, в древнеперсидском языке с заменой и.-е. разноместного тонического акцента силовым ударением, падавшим на предпоследний слог (если его гласный был долгим) и на пред-предпоследний (если гласный предпоследнего был кратким), заударные слоги — носители флексии — отпадали, что влекло за собой морфологическую трансформацию именной системы в языках-потомках, включая персидский [30]. Это положение было распространено затем на другие иранские языки [31] и стало общим местом иранистики. В результате трансформация морфологической системы стала рассматриваться как результат фонетических процессов, в основном — отпадения слогов — носителей флексии.

Дальнейшие исследования показали, однако, что процессы изменения и просодических систем, и морфологических парадигм были иными.

Во-первых, ударение не во всех языках трансформировалось в силовое: во всяком случае, часть из них (включая персидский и таджикский) сохраняет его комплексный (по некоторым данным, преимущественно тонический) характер (см., например, [32—34]). К тому же многие языки выявляют разноместное ударение либо его следы в именной и глагольной системах (например [35—37; 18, с. 198 и сл.]). Тем самым характер просодических систем в прошлом разных языков оказался различным (подробнее [38; 6, с. 62—65, 197—202]), при том, что упрощение флективных систем затронуло в той или иной мере практически все иранские языки и что распределение типов этого упрощения по разным языкам не совпало с распределением типов акцентуации.

Во-вторых, упрощение флективных парадигм оказалось не фронтальным и носило не случайный характер.

Так, в именной парадигме тематического склонения (генерализовавшегося в большинстве языков до утраты ими флексии), при общей уяз-

вимости односложных падежных показателей, они утрачиваются не во всех языках (ср., например, парадигмы хотаносакского, согдийского языков). Закономерности падения двусложных показателей четко определены их функциональной ценностью. Например, в парадигме мн. числа наиболее устойчивыми повсеместно оказались рефлексы показателя генитива *-*ā́nām* и — в большинстве восточноиранских языков — инструментального падежа: м. р. *-*áibiš*, ж. р. *-*ābiš* (возможно, при совпадении его с дат.-абл.), т. е. тех падежей, которые использовались для оформления имени субъекта в «эргативных» конструкциях с переходными глаголами (см. ниже) и тем самым несли большую информативную нагрузку [1]. Рефлексы этих формантов маркируют в современных языках чаще всего либо общекосвенный падеж мн. числа (при двухпадежной системе), либо просто форму мн. числа (в системе без падежей). Вместе с тем в тех же языках локатив мн. числа на *-*áiši* утрачивается, хотя его показатель находился в столь же «выгодных» фонетических условиях, что и рассмотренные выше (т. е. был двусложным и, согласно классической схеме, ударным). В ед. числе наиболее устойчивым оказывается продолжение древнего генитива на *-*ahia*, хотя его показатель, состоящий из кратких слогов (и по классической схеме — безударный), был фонетически более уязвим, чем у локатива мн. числа. То же относится к местоимениям, особенно личным: здесь также наиболее «живучими» оказались формы генитива, хотя, например, в 1-м л. ед. ч. **azám* (номинатив) и **mána* (генитив) фонетически равноценны.

Таким образом, генитив как падеж имени субъекта при переходных глаголах в силу своей информативной значимости оказался наиболее устойчивым (во многих языках он даже вытеснят номинатив), вопреки фонетической «силе» или «слабости» его оформления. При этом в целом ряде языков генитивный показатель препозитивного определения легко утрачивается — в силу его избыточности в условиях жесткого закрепления синтаксического места определения. В части западноиранских языков, где определительное сочетание унифицировалось по древнему типу оборотов с относительными местоимениями [9, с. 225—240] и превратилось затем в изафетную конструкцию, с постановкой определения за определяемым, оформленным особым показателем (обычно — рефлексом одного из относительных местоимений), — падежное — генитивное оформление определения также становится избыточным и постепенно отмирает (т. е. конструкция «дом, который отца» свертывается в «дом-N отец», где N — утративший связь с местоимением служебный элемент — изафет, указывающий на следование за ним постпозитивного определения).

С избыточностью связан и процесс утраты во многих языках словоизменения прилагательного по родам, числам, падежам, поскольку эти формы имели чисто согласовательный характер и при закреплении прилагательных в приименной позиции теряли свою информативность. С закреплением в приименной позиции древних адвербов и превращением их в предлоги и послелоги, с закреплением позиций имен субъекта и объекта по отношению друг к другу и к глаголу и т. п., — синтаксические отношения имен все более передаются средствами контекста, что ускоряет отмирание соответствующих флексий.

---

[1] О распределении падежей: генитив в обеих группах языков, инструменталис — в части восточных,— см. выше (ср. также [39, с. 45, 52]). В некоторых восточноиранских языках наблюдается дистрибуция этих падежей по разрядам имен субъекта: генитив личных местоимений ~ инструменталис указательных местоимений и существительных.

Эти процессы поддерживались также ослаблением категории рода, признаки расшатывания которой видны уже в языке Авесты [12, с. 195]: затухание семантических оснований (особенно для ср. рода в связи с утратой оппозиции активности/инактивности) уже в древнеиранский период делает эту категорию во многом формальной. В дальнейшем она выживает в тех языках, где сохраняются (или развиваются под воздействием субстрата, иногда со сдвигом семантики [40, с. 28—30]) содержательные противопоставления, связанные с этой категорией. В части же языков она постепенно отмирает.

Категория числа, в силу ее информативной значимости, продолжает существовать и при отмирании падежной флексии: в некоторых языках (обеих групп) развивается синтаксическое ее выражение, однако в большинстве языков для выражения мн. числа используются либо рефлексы древних флективных показателей (генитив и инструменталис, см. выше), либо вторичные суффиксы собирательности или абстрактности (первоначально для имен, обозначавших не человека). При этом выражение мн. числа старыми и новыми постфиксами также противоречит традиционной концепции исчезновения конечных слогов как причины морфологических трансформаций.

Таким образом, в именной подсистеме процесс утраты древних флективных показателей задается и регулируется прежде всего процессами изменения содержательной стороны языка — непосредственно (в отношении категории рода) или через посредство синтаксиса (в категориях числа и падежа). В последнем случае совершенно очевидна тенденция к сохранению информативно ценных для синтаксиса постпозитивных флективных элементов (иногда с изменением их функций) и к созданию новых постфиксов, — при том, что становящиеся малоценными постпозитивные элементы постепенно исчезают. Фонетический же уровень представляет собой лишь фон и вспомогательное средство, способствующее «вымыванию» прежде всего тех из безударных постфиксальных элементов, которые становились «пустыми» или малоинформативными в силу утраты содержательной стороны (род) или достаточной выраженности функций иными средствами (падеж), подробнее см. [41, с. 161—163, 166—167].

В упрощении древней глагольной флективной парадигмы факторы содержательного характера играли еще более очевидную роль.

Развитие содержательной категории переходности/непереходности стимулировало становление различных конструкций с причастиями на **-ta*, реже — на **-na*, **-ца*, — для обозначения результативного действия в прошлом: типа «я пошедший есмь» для непереходных глаголов, но «[у] меня то-то сделано (есть)» в большинстве языков (и «я то-то сделанным имею» в хорезмийском и диалектах согдийского» — для переходных [2]. При формализации оппозиции этих конструкций: с непереходны-

---

[2] Различие конструкций с переходными глаголами в разных языках также связано с содержательной стороной языка и объясняется разной степенью разработанности отвлеченной семантики «иметь» у глагола **dar-* (‹и.-е. **dher (ə)-* [14, с. 252]), обозначавшего в общеиранском «держать», ко времени грамматикализации этих конструкций в том или ином языке. В согдийском и хорезмийском значение «иметь» установилось относительно рано, до их грамматикализации. В других языках оно появилось позднее, чем конструкции «[у] меня то-то сделано (есть)» устоялись или обрели статус грамматических форм; в некоторых же такое значение не развилось вообще, и здесь всякое понятие обладания выражается конструкциями наличия («у меня то-то есть // имеется»), и результативность, выражаемая в разных языковых семьях посессивными конструкциями, естественно передается оборотами «[у] меня то-то сделано (есть)». Подробнее: [9, с. 192—224; 39, с. 28—29; 42].

ми глаголами (номинативных) ~ с переходными («эргативных», или эргативообразных) — и при последующем вхождении их в парадигму личных форм глагола в языках западной и восточной групп происходили различные разновременные процессы трансформации древней парадигмы. Вначале — отмирание старых флективных форм перфекта, а также — несколько позднее — аориста, ставших излишними при наличии нового «перифрастического» перфекта. Впоследствии, с вхождением этих конструкций в сферу претерита при утрате ими значения результативности (и с выработкой новых перфектных образований) в подавляющем большинстве иранских языков становятся избыточными древние формы имперфекта, которые к этому времени расширили свои функции до обозначения прош. времени в целом. Они отмирают, а вместе с ними утрачиваются «вторичные» окончания (исключение — единичные языки восточной группы, где «перифрастические» формы остались перфектными, а прош. время продолжает выражаться системой древнего имперфекта). В новой системе усиливается оппозиция времен: «прошедшее/настоящее (или настоящее-будущее)», выраженная теперь не окончаниями («вторичные/первичные»), а основами (основа прош. вр., восходящая к причастию/основа наст. вр., восходящая к древней презентной основе).

Яркая выраженность в прош. временах категории переходности/непереходности (реализуемой теперь оппозицией синтаксических построений) начинает воздействовать со временем и на формы наст. времени, восходящие к презенсу: из большого числа классов презентных основ наиболее продуктивными, помимо простых тематических (включая позднюю тематизацию), становятся те, которые в той или иной мере выражают переходность или непереходность глагола в первую очередь, т. е., с одной стороны, древние «каузативы» (с полной или продленной огласовкой и в ряде языков с суф. *-*aia*), а также основы с назальными элементами (инфиксом и суффиксами) — для обозначения переходности, а с другой стороны, — основы с суффиксами *-*sa* и *-*ia* с нулевыми огласовками — для обозначения непереходности (см. выше). В дальнейшем из этой группы в различных языках генерализуется та или иная пара основ, противопоставленных по переходности/непереходности, однако происходит это относительно поздно, о чем говорит тот факт, что эти пары могут различаться даже в близкородственных языках (см., например [43, с. 114—132]). Остальные классы основ частично постепенно исчезают, частично сохраняются в качестве застывших непродуктивных образований.

Любопытно воздействие содержательной стороны языка на некоторые чисто формальные структуры. Так, в отдельных языках (например, в согдийском, мунджанском, ишкашимском) презентные формы относительно долго сохраняли разноместное ударение и наблюдалась тенденция к его закреплению: а) на основе, если ее слоговой элемент был представлен долгой гласной или дифтонгом, б) на тематической гласной (или на ее рефлексе в составе окончания), если огласовка основы была слабой. В результате здесь происходит постепенное распределение части переходных и непереходных глаголов по разным акцентным парадигмам: бывшие каузативные глаголы с полной и продленной огласовкой тяготеют к баритональной парадигме, непереходные со слабой огласовкой — к окситональной. А отсюда иногда и различные рефлексы древних окончаний. Например, в мунджанском языке в 3-м л. ед. ч. рефлексами *-*ati* являются: -*t*, -*d* при баритональной, -*i* — при окситональной парадигме в относительно недавнем прошлом. При этом частотность переходных

глаголов с показателями *-t*, *-d* здесь выше, чем с *-i*, и наоборот [ср. 43, с. 66—67; 44]. Тем самым содержательная оппозиция переходности/непереходности не только формализуется в виде разных типов глагольных основ, но и воздействует через них косвенным образом на акцентную парадигму глаголов и в итоге на фонетическое развитие формантов.

Фонетические сдвиги, вызванные той же содержательной оппозицией, распространяются иногда и на рефлексы древних причастий на **-ta*, когда они входят в парадигму глагола: имея изначально слабую огласовку, причастия от переходных глаголов могут заменить ее на полную и даже продленную — по аналогии с презентными основами (в отдельных случаях — даже с основами других глаголов, см., например, причастие от корня **kar-* «делать», выявляющее во многих языках рефлексы **karta-* вм. **kṛta-*: авест. *karta-*, тадж. *kard*, шугн. *čud*, руш. *čüg*— с *č* < **k* перед **a*; ср. презентную основу **kṛ-nau-*: авест. *kərənav-*, тадж. *kun-*, шугн., руш. *kin-* — с *k* < **k* перед **r*, см. [45]).

Обратного воздействия — фонетической стороны словоформ на их содержание — почти не обнаруживается. При ослаблении конечных слогов — носителей глагольной флексии последняя обычно либо сохраняет свой консонантный костяк, либо «регенерирует», заимствуя ослабленные элементы из других парадигм, как это наблюдается в согдийском и ягнобском языках в словоформах от «тяжелых» основ. Единственный случай системной утраты флексии наблюдается в «зависимой» парадигме прош. времени в ягнобском языке, т. е. в формах, употребляемых в качестве второго однородного сказуемого после первого, представленного полной флективной формой (при едином подлежащем). Эти формы продолжают древние имперфектные, первоначально — от «тяжелых» основ, способствующих ослаблению окончаний. Однако в самостоятельной позиции они восстанавливают окончания по аналогии с глаголами, имевшими исторически «легкие» основы. Следовательно, при употреблении этих форм в «зависимой» позиции окончания не восстанавливаются (и исчезают у глаголов с «легкой» основой) именно в силу их избыточности [46—47].

Показательны и иные изменения, связанные с развитием категории переходности/непереходности, в частности, с трансформацией залоговых отношений. В связи с этими процессами унаследованная из индоевропейского состояния оппозиция актива/медиума, в значительной степени формальная уже к общеиранскому состоянию, постепенно становится избыточной и в эпоху после древнеиранской в большинстве языков отмирает, оставляя лишь единичные рудименты медиальных окончаний (относительно системная парадигма медиума в хотаносакском языке противопоставлена активной уже чисто формально).

Однако становление отношений актива/пассива также не пополнило флективной парадигмы. В ходе этого процесса ожидалось бы становление системы пассивных форм (возможно, вначале аналитических с превращением во вторичные синтетические), аналогичных активным формам переходных глаголов и симметрично противопоставленных им. Однако этого не произошло. Обычно в иранских языках высказывание строится в активном плане, причем актив выявляет все многообразие флективных и аналитических форм и сочетаний. Пассивные же построения предложений встречаются значительно реже, причем их глагольная часть представлена сочетаниями причастий или инфинитивов с вспомогательными глаголами и связкой при различной степени спаянности их компонентов. Обычно эти обороты прозрачны по составу, строятся заново на каждом этапе развития языка и получают более или менее устойчивый статус

аналитических форм преимущественно в литературных языках. Логический субъект действия в них, как правило, не обозначен и не всегда подразумеваем; значительно реже встречается его выражение — обычно описательное (и тоже в основном в литературной норме).

Такая асимметрия в выражении актива/пассива свойственна, по справедливому замечанию Т. В. Гамкрелидзе, языкам номинативного (или аккузативного) строя, в которых глубинные субъектно-объектные отношения в достаточной степени адекватно передаются на поверхности активными построениями предложения и формами глагола, пассивные же представляют собой лишь трансформационный (возможно, стилистический) поверхностный вариант активных. Очевидно, дополнительные ограничения на функционирование (и, следовательно, развитие) пассива в иранских языках налагает наличие в их большинстве «эргативных» или эргативообразных конструкций с переходными глаголами, поскольку первоначально центром этих конструкций являлся объект и строились они по пассивной модели (см. выше). Тем самым избыточность или, во всяком случае, периферийность пассивных построений препятствовала развитию системы пассивных форм, аналогичных активным.

Итак, и в глагольной подсистеме изменения в морфологии были вызваны факторами содержательного плана, фонетика же оформляла и фиксировала морфологические трансформации (подробнее см. [41, с. 163—167]).

Наконец, следует затронуть еще одну проблему исторической морфологии иранских языков, вырастающую из их разбросанности по большой территории и постоянных контактов с другими языками (в том числе в рамках языковых союзов, в условиях наложения на различные субстраты и т. д., — т. е. при обширном и глубоком двуязычии). Думается, что упоминавшиеся выше различные темпы и степени упрощения древней флективной системы (как и становления новых систем) в разных группах, подгруппах, ареалах и даже в единичных языках до некоторой степени связаны не только с внутренними причинами, о которых уже говорилось, но и с явлениями ареального, контактного порядка.

Едва ли случайно, например, сохранение в восточноиранских языках большего в целом числа флективных форм и парадигм, чем в западноиранских. Ср., в частности, почти полную именную парадигму древнего типа в памятниках хотаносакского языка (начиная с VII в. н. э.), парадигму из нескольких падежей в раннем согдийском (с IV в. н. э.), рефлексы древних падежей в других восточноиранских языках, включая живые, а с другой стороны — стремительное разрушение этой парадигмы даже в поздних древнеперсидских памятниках (середины IV в. до н. э.).

Особенно характерно «упрощение» флективной именной парадигмы в юго-западной подгруппе. Уже в позднем древнеперсидском, в частности, в надписях Артаксеркса III (359—338 гг. до н. э.) наблюдаются не только ошибки в написании падежных окончаний, но и случаи параллельного употребления форм номинатива и генитива в определительной функции, а также использование определительных конструкций изафетного типа, с постпозицией определения (при «вставке» в них застывших блоков — генеалогических формул с препозитивным определением), и другие отклонения от классической системы, зафиксированной, например, надписями Дария I (522—486 гг. до н. э.), подробнее [41, с. 160—161]. Если такие инновации в языке самих надписей объяснимы не только омертвелостью к этому времени падежной системы, но и возможностью несвободного владения языком составителями текста [48], то продолжение во всех языках юго-западной подгруппы именно такой беспадежной (редко —

двухпадежной, ср. рефлексы генитива в раннем среднеперсидском) и безродовой системы имени, с генерализацией изафетных определительных конструкций (типа «дом-N отец», см. выше), с рядом других черт аналитизма именной системы, — показывает, что такое резкое «упрощение» именной морфологии было вполне массовым, «демократичным» и охватывало не только верхушку древнеперсидского общества (составителей текстов), но и массы в целом. С ним согласуется и «упрощение» глагольной парадигмы в плане почти полной утраты косвенных наклонений (кроме императива и единичных рудиментов конъюнктива), а также раннее вторжение в глагольную систему «перифрастических» форм, характерное словообразование глаголов по типу перс. *guš dâdan* (букв. «ухо давать») или тадж. *гӯш кардан* («ухо делать») для «слушать» и т. п.

Любопытно, что все эти черты «упрощения» древнеиранской флективной системы имени и глагола и развития заменявших и вытеснявших ее синтаксических оборотов (как и утраты стилистического многообразия речи, передававшегося косвенными наклонениями и т. п.) аналогичны тем, которые отмечаются при «пиджинизации» языка в условиях, когда он обслуживает иноязычных носителей, усвоивших язык более «престижного» этноса не в полном объеме (ср. сходные морфологические черты в языках палийских текстов Индокитая [49]).

Очевидно, древние юго-западные диалекты, и прежде всего — один из них, легший в основу языка древнеперсидских надписей, — будучи языком господствующего этноса, а впоследствии и государственным (в условиях жестко централизованного государства), — был также и языком общения господствующей части общества с остальными (а кроме того, возможно, языком общения между собой различных не-персидских племен). Это обстоятельство ускорило переход на него большой группы племен — без достаточно глубокого его усвоения.

В ареале распространения восточноиранских языков (и отчасти — северо-западных) упрощение древнего флективного строя было не столь радикальным, а главное — не столь стремительным. Хотя отдельные языки, особенно на Памире, имеют уже существенно упрощенную структуру, рудименты древних флективных разнообразных парадигм здесь налицо (ср. сохранение застывших падежных форм в виде наречий и топонимов, наличие рефлексов косвенных наклонений в виде окончаний 1-го и 2-го л. нынешнего индикатива и т. д.). При этом в языках восточной группы отмечается большое число субстратных черт, охватывающих все уровни языка, включая морфологический (особенно в плане словоизменительных моделей), а также элементов «языкового мышления», которое в свою очередь тоже вызывает иногда изменения в морфологии (например, трансформацию категории рода, о которой говорилось выше; различия в определительных конструкциях, зависящие от типа принадлежности, и т. п.), см. [50—52; 40, с. 22—32].

Такому развитию восточноиранских языков могла способствовать характерная для них в прошлом социолингвистическая ситуация, существенно отличная от «древнеперсидской», а именно — длительное сосуществование доиранских и иранских языков на общих территориях с постепенным переходом более раннего населения на иранские языки и диалекты.

Дальнейшие морфологические процессы: агглютинации и вторичной флективности, — характерные в разной степени для разных языков и западной, и восточной групп, протекали в одних случаях спонтанно, в других — под сильным воздействием субстрата и адстрата. Наиболее

характерные примеры второго пути развития представлены, например, в морфологии осетинского, хорезмийского языков. Эти процессы сходны с процессами интерференции и креолизации языков в других регионах.

Таким образом, причины морфологических трансформаций иранских языков следует искать как во внутренней перестройке систем (связанной в своей основе с развитием содержательной стороны языка), так и с внешними воздействиями на него в ходе разновременных и разнотипных контактов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Оранский И. М.* Иранские языки в историческом освещении. М., 1979.
2. *Оранский И. М.* Введение // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
3. *Эдельман Д. И.* К фонемному составу общеиранского (о фонологическом статусе $*x^{v}$) // ВЯ. 1977. № 4.
4. *Эдельман Д. И.* К перспективам реконструкции общеиранского состояния // ВЯ, 1982. № 1.
5. *Эдельман Д. И.* К генетической классификации иранских языков // ВЯ. 1984. № 6.
6. *Эдельман Д. И.* Сравнительная грамматика восточноиранских языков. Фонология. М., 1986.
7. *Расторгуева В. С.* Вопросы общей эволюции морфологического типа // Опыт историко-типологического исследования иранских языков. Т. I. М., 1975. С. 163—224.
8. *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962. С. 195—203.
9. *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.
10. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. I. Тбилиси, 1984.
11. *Bartholomae Chr.* Vorgeschichte der iranischen Sprachen // GIPh. 1895—1901. Bd. I. Abt. 1.
12. *Соколов С. Н.* Язык Авесты // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
13. *Watkins C.* Indogermanische Grammatik. Bd III: Formenlehre. I. Teil: Geschichte der Indogermanischen Verbalflexion. Heidelberg, 1969. S. 46.
14. *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern — München, 1959.
15. *Оранская Т. И.* Местоимения и элементарные числительные // ИАН СЛЯ. 1984. № 1. С. 58—59.
16. *Morgenstierne G.* Indo-Iranian frontier languages. V. I. Parachi and Ormuri. Oslo, 1929. P. 346, 407.
17. *Konow S.* Saka studies. Oslo, 1932. P. 50.
18. *Ефимов В. А.* Язык ормури (в синхронном и историческом освещении). М., 1986.
19. *Brugmann K.* Die Demonstrativpronomina der indogermanischen Sprachen // Abhandl. der philol.-hist. Kl. der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1904. Bd. XXII. № VI.
20. *Geiger W.* Kleinere Dialekte und Dialektgruppen // GIPh, 1898—1901. Bd I. Abt. 2. S. 417—423.
21. *Оранский И. М.* Введение в иранскую филологию. М., 1960. С. 350—351.
22. *Оранский И. М.* Иранские языки. М., 1963. С. 63, 180—181.
23. Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
24. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981.
25. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Западная группа, прикаспийские языки. М., 1982.
26. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987.
27. *Цаболов Р. Л.* Очерк исторической морфологии курдского языка. М., 1978. С. 27—28.
28. *Лившиц В. А., Хромов А. Л.* Согдийский язык // Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. М., 1981. С. 456—457.
29. *Боголюбов М. Н.* Личные местоимения в хорезмийском языке // Уч. зап. ЛГУ. 1962. Сер. востоковедч. наук. № 306. Вып. 16. С. 14—15.
30. *Meillet A.* La déclinaison et l'accent d'intensité en perse // JA. 1900. T. 15.
31. *Gauthiot R.* De l'accent d'intensité iranien // MSL. 1916. T. 20. Fasc. 1.

32. *Иванов В. Б.* О персидском словесном ударении (экспериментальное исследование) // Вестник МГУ. 1972. Сер. востоковедение. № 2.
33. *Иванов В. Б.* О тоническом компоненте персидского словесного ударения // Вестник МГУ. 1977. Сер. 13. Востоковедение. № 2.
34. *Хаскашев Т. Н.* Фонетическая природа словесного ударения в современном литературном таджикском языке. Душанбе. 1983.
35. *Дыбо В. А.* Афганское ударение и его значение для индоевропейской и балто-славянской акцентологии // Балто-славянские исследования. М., 1974.
36. *Ефимов В. А.* О некоторых архаических чертах морфологической структуры презенса в ормури // Совещ. по вопросам диалектологии и истории языка: Тез. докл. и сообщ. М., 1979.
37. *Додыхудоева Л. Р.* История основ шугнанского глагола: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1982. С. 34, 41, 76—77.
38. *Эдельман Д. И.* К характеристике общеиранской акцентной системы // Иранское языкознание. Ежегодник 1981. М., 1985.
39. *Пирейко Л. А.* Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. М., 1968.
40. *Эдельман Д. И.* К субстратному наследию Центральноазиатского языкового союза // ВЯ. 1980. № 5.
41. *Эдельман Д. И.* К взаимодействию языковых уровней в истории иранских языков // Иранское языкознание. Ежегодник 1982. М., 1987.
42. *Эдельман Д. И.* О конструкциях предложения в иранских языках // ВЯ. 1974. № 1. С. 25—29.
43. *Соколова В. С.* Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской группы. Л., 1973.
44. *Грюнберг А. Л.* Мунджанский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987. С. 213.
45. *Соколова В. С.* Генетические отношения язгулямского языка и шугнанской языковой группы. Л., 1967. С. 56—62, 93.
46. *Боголюбов М. Н.* Ягнобский (новосогдийский) язык. Исследование и материалы: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. Л., 1956. С. 21.
47. *Хромов А. Л.* Ягнобский язык // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: Восточная группа. М., 1987. С. 681—683.
48. *Kent R.* Old Persian. New Haven, 1950. P. 99.
49. *Елизаренкова Т. Я., Топоров В. Н.* Язык пали. М., 1965. С. 150—155.
50. *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. I. М.— Л., 1949. С. 75—80.
51. *Абаев В. И.* О языковом субстрате // Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР. 1956. Вып. 9.
52. *Абаев В. И.* Armeno-ossetica (Типологические встречи) // ВЯ. 1978, № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

БИДЭМ КР.

ВИДОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ «*БЫТЬ* + СТРАДАТЕЛЬНОЕ ПРИЧАСТИЕ»

Русская конструкция, которая состоит из вспомогательного глагола *быть* и страдательного причастия и образуется посредством суф. *-н-/-ин-* (ср., например, *Книга прочитана учеником*), традиционно рассматривается в качестве залогового образования. В настоящей статье представлена другая точка зрения, согласно которой указанная конструкция служит выражением видовых отношений ([1, 2], ср. [3]). Ниже мы попытаемся объяснить форму, значение и сочетаемость рассматриваемой конструкции [1].

Основанием рассмотрения страдательного оборота как залогового является прежде всего то, что подлежащее в пассиве обозначает реальный объект действия в отличие от действительного залога, где подлежащее обозначает действующее лицо. Обычно считают, что прямое дополнение действительной конструкции становится подлежащим в страдательной конструкции. Значение страдательного залога объясняется следующим образом: действительный и страдательный залоги однозначны, но в действительном обороте подлежащее — действующее лицо, а в страдательном — реальный объект действия (действующее лицо выступает в качестве дополнения в творительном падеже). Ср., например, *Ученик прочитал книгу — Книга прочитана учеником*. При этом только переходные глаголы образуют страдательную форму [4, с. 412—414]. Причастно-пассивная форма образуется прежде всего от глаголов совершенного вида. Глаголы несовершенного вида, как правило, не образуют причастного пассива, а образуют только возвратный пассив при помощи суф. *-ся* [4, с. 502].

В изложенной концепции можно обнаружить целый ряд неясностей и противоречий. Например, переход от действительного залога к страдательному — очень сложный процесс: два существительных изменяют позицию в предложении и падеж; вводится вспомогательный глагол *быть*, личная форма глагола изменяется на причастие. Но семантический эффект при этом минимален: изменение порядка слов не ведет к каким-либо функциональным изменениям. Правда, изменяется тема предложения: в активе тема — действующее лицо, а в пассиве — реальный объект действия [5]. Спрашивается, чем обусловлены столь сложные морфологические и синтаксические изменения, не сопровождаемые какими-либо семантическими сдвигами? Если активный и пассивный обороты — синонимы, почему действующее лицо является облигаторным в действительном залоге, но факультативно в страдательном? Отметим также, что страдательный оборот все же не полностью совпадает по значению с действительным. Почему это происходит и в чем семантические различия актива и пассива?

---

[1] Наш анализ касается только страдательной конструкции «*быть* + причастие», а не страдательных образований с суф. *-ся* (ср., например, русск. *План выполняется шахтерами*). Мы также специально не касаемся и возвратно-пассивных форм глагола.

Кроме того, почему при переходе от актива к пассиву нередко изменяется временна́я характеристика предложения (в упомянутом выше примере, который мы взяли из [4, с. 414], активный вариант *Ученик прочитал книгу* стоит в прошедшем времени, а пассивный вариант *Книга прочитана учеником* — в настоящем)? Концепция, согласно которой рассматриваемая конструкция считается залоговой, подразумевает, что причастный пассив образуется, как правило, только от глаголов совершенного вида. Но почему? Почему причастно-пассивная форма несовершенного вида глагола не употребительна? Залоговая концепция страдательного оборота не дает ответа на этот вопрос. Кроме того, при отрицании страдательное причастие от глаголов несовершенного вида вполне употребительно. Например, *Пол мыт* (от глагола несовершенного вида *мыть*) звучит как разговорное или архаичное: следовало бы сказать *Пол вымыт*, употребляя совершенный вид глагола *вымыть*. Но предложение *Пол не мыт* (от глагола несовершенного вида с отрицанием) вполне соответствует литературным нормам современного русского языка [6]. Анализ страдательного оборота, базирующийся на рассмотрении его как залогового, опять-таки не может объяснить этого явления. Глаголы одноактного способа действия на *-нуть* (например, *плеснуть*, *кольнуть*) также трудно интерпретируются в свете залоговой теории. Ведь это глаголы совершенного вида, однако очень многие из них не образуют причастно-пассивной формы [7]. Последний пункт нашей критики залоговой концепции причастного пассива касается известного факта, выражающегося в том, что многие переходные глаголы совершенного вида или вообще не образуют причастно-страдательной формы, или не могут выступать в определенных страдательных конструкциях. Например: *Председатель поблагодарил Ивана — *Иван был поблагодарен председателем*; *Виктор пожалел Наташу — *Наташа была пожалета Виктором*; *Борис Андреевич твердо настоял на необходимости возвратиться домой — *На необходимости возвратиться домой было твердо настояно Борисом Андреевичем* [8, с. 156]; *Инженер проработал целую неделю над этим проектом — *Целая неделя была проработана инженером над этим проектом* [8, с. 144]; *Человек почувствовал приближение осени —*Приближение осени было почувствовано человеком* [9]. Согласно залоговой концепции пассива, все приведенные страдательные конструкции возможны, хотя они, безусловно, грамматически некорректны.

Данные проблемы и противоречия не существуют в самом русском языке, в его структуре. Они возникают в результате определенного способа лингвистического рассмотрения причастного пассива, а именно анализа его как залогового образования. Если рассматривать причастный пассив в качестве видовой конструкции, то все упомянутые противоречия снимаются. Перейдем к изложению видовой концепции причастного пассива.

Страдательная конструкция русского языка, образующаяся с помощью вспомогательного глагола «*быть* + страдательное причастие»,— это видовое образование. Речь идет о той же конструкции, которая в других языках представлена перфектным оборотом (например, в английском «*have* + *-ed*»: *John has read the book*). Причастный пассив обозначает новое состояние, которое возникает в результате предшествующего действия. Лицо или предмет, выступающие в роли подлежащего, не производят действия, а как бы испытывают на себе чье-либо действие, являясь точкой приложения этого действия. Сочетаемость причастного пассива определяется лексическим видовым значением глагола и тем явлением, которое Х. Й. Веркейль называет композиционной, или составной видовой ха-

рактеристикой предложения, т. е. общим видовым значением цельного предложения. Последнее обусловливается воздействием лексического значения подлежащего, дополнений или обстоятельств в пределах предложения [10]. В понятие лексического вида включается способ действия. Эта особенность сочетаемости причастного пассива характерна для всех видовых конструкций типа «вспомогательный глагол + причастие». Очень важным моментом этой сочетаемости является тот известный факт, что страдательное причастие, как правило, не сочетается с глаголами несовершенного вида. Это объясняется тем, что значение страдательного причастия не сочетаемо со значением несовершенного вида. Таким образом, возможность образования причастного пассива зависит не от переходности глагола, а от лексического вида глагола, а возможность употребления причастного пассива в определенном предложении зависит тоже не от переходности глагола, а от композиционного вида предложения.

Взаимосочетаемость различных типов видовых конструкций исследовал П. Фридрих ([11], ср. [12, 13]). Различается три типа таких конструкций: 1) лексические видовые образования, типичные для русского языка; 2) обороты типа «вспомогательный глагол + причастие», например, английская перфектная конструкция «*have* + перфектное причастие на *-ed*»: *John has read the book* или дуративная конструкция «*be* + причастие на *-ing*», например, *John is reading a book*»; 3) композиционные видовые образования, которые возникают в результате воздействия различных членов предложения на общую видовую характеристику предложения.

В немецком языке образование перфектного времени при помощи вспомогательных глаголов *haben* или *sein* зависит от лексического вида глагола. Длительные глаголы образуют перфектное время посредством глагола *haben*, а результативные глаголы посредством глагола *sein* [13].

Использование страдательного причастия только в пределах конструкции со значением совершенного вида является типичным для русского языка. При указанном видовом значении причастного пассива несочетаемость страдательного причастия и несовершенного вида легко объяснима. Несовершенный вид глагола представляет действие в его течении, в процессе совершения. Совершенный вид глагола представляет действие как ограниченное, в его пределе, в его результате [4, с. 424]. Некоторые лингвисты считают, что именно совершенный вид в отличие от несовершенного имеет значение перфектного времени [14]. Мы утверждаем, что причастный пассив обозначает действие вместе с его результатом. Поэтому причастный пассив сочетается только с совершенным видом. В то же время мы нашли объяснение тому факту, что при отрицании причастный пассив может сочетаться с несовершенным видом. Известно, что результативный вид + отрицание дает длительный вид [12, с. 151]. Другими словами, если глагол обозначает действие, которое могло бы достигнуть результата, но используется с отрицанием, то это ведет к обозначению действия, не достигающего результата, т. е. к образованию длительного вида. Очевидно, отрицательный причастный пассив обозначает действие, не достигающее результата, и таким образом может сочетаться с несовершенным видом, например, в предложении *Пол не мыт*. Невозможность образования причастного пассива у одноактных глаголов на *-нуть* также служит еще одним примером невозможности сочетаемости видовых конструкций типа «вспомогательный глагол + причастие» с лексическим видом.

Зависимость образования причастного пассива от лексического вида глагола дает также объяснение того факта, что многие переходные глаголы не образуют причастного пассива. Объяснение заключается в том, что переходность не определяет возможность образования причастного пассива. Те переходные глаголы, которые не образуют причастного пассива, имеют, очевидно, лексический вид, который не сочетается по семантическим причинам с причастным пассивом. Следует установить общий принцип, согласно которому возможность образования причастного пассива зависит не от переходности, а от лексического вида глагола и составного вида предложения. Ю. А. Пупынин предполагает, что предельность действия определяет возможность образования страдательного залога. Предельность действия — это, безусловно, выражение способа действия, и этим Ю. А. Пупынин признает сочетаемость страдательного залога с лексическим видом. Однако мы не можем согласиться с мнением Ю. А. Пупынина, что предельность действия определяет возможность образования и причастного пассива, и возвратного пассива несовершенного глагола [3, с. 31—32, 34]. По нашему мнению, видовой характер и тем самым сочетаемость с лексическим видом свойственны только причастному пассиву.

Правильность теории видового характера причастного пассива имеет и другие подтверждения. Мы отмечали выше, что причастный пассив обозначает состояние, которое возникает как следствие предыдущего действия. В этой дефиниции значение действия бесспорно: не подлежит сомнению, что страдательная конструкция выражает действие. Но наличие состояния может быть спорным и требует доказательства. У причастного пассива три формальных признака значения состояния. Во-первых, *быть* как самостоятельный глагол имеет явно статическое значение. Поэтому мы можем ожидать, что вспомогательный глагол *быть* тоже имеет статическое значение, а именно значение состояния. Во-вторых, после полнозначного глагола *быть* выступает имя прилагательное, а имя прилагательное обозначает состояние. В-третьих, страдательное причастие имеет окончания прилагательного: эти окончания свидетельствуют о значении состояния у страдательного причастия (Л. Х. Бэбби и Р. Д. Брехт предлагают рассматривать *-ен-* как суффикс, образующий имя прилагательное [15]). Ю. А. Пупынин считает, что значение пассивной формы СВ представляет собой семантический комплекс, в составе которого имеются два элемента: а) действие (конкретный факт); б) состояние (результат действия). В каждом случае употребления в значении формы обязательно воспроизводятся оба указанных элемента. Между тем во внеязыковой действительности действие и состояние-результат находятся в отношениях последовательности, а именно: конкретный факт предшествует состоянию во времени [3, с. 117]. Важно отметить, что результативным значением обладает только причастный, а не возвратный пассив. Ср. высказывание С. Карцевского: «Русский пассив отличается тем, что он представлен в двух разновидностях. Одна из этих разновидностей — истинный пассив, в котором сказуемое является пассивным причастием прошедшего времени. Оно перфективно и по значению близко к именному предложению, ср. *Поле вспахано*. Этот тип, полуглагольный и полуименной, выражает идею результативного состояния. Другая разновидность пассива образуется возвратной формой соответствующего глагола, например, *Поле вспахивается*. Собственно говоря, это не пассив, а имперфективный вариант предыдущей разновидности» [16].

Еще один показатель видового характера причастно-страдательного

оборота в русском языке — формальная близость причастно-страдательного оборота к перфектной конструкции в других языках. Причастно-страдательный оборот русского языка образуется при помощи вспомогательного глагола «*быть* + страдательное причастие». Перфектная конструкция, например, в английском языке, образуется при помощи вспомогательного глагола *have* + перфектное причастие, причем перфектное причастие и страдательное причастие являются омонимами. Это сходство не может быть случайным. Если перфектная конструкция в английском языке — видовая конструкция, можно предположить, что причастно-страдательный оборот в русском языке — тоже видовая конструкция.

Русский причастно-страдательный оборот очень близок к перфектной конструкции в других языках также и по значению. Перфектная конструкция имеет прежде всего результативное значение: она выражает наличие в настоящем результате прошедшего действия [14, с. 211]. Упомянутое выше видовое значение причастно-страдательного оборота — также результативное, оно также выражает действие и его результат. Значение причастного пассива вполне соответствует значениям других видовых конструкций типа «вспомогательный глагол + причастие», особенно с перфектным значением. Следует также заметить, что полнозначный глагол *быть* в русском языке выполняет притяжательную функцию полного глагола *have* в английском языке, например, *У меня есть книга* = *I have a book*. Притяжательное значение полнозначного глагола *have* тесно связано с результативным значением вспомогательного глагола *have* в перфектной конструкции [17—19]. Поэтому не следует удивляться, что полнозначный глагол *быть* получает результативное значение в качестве вспомогательного глагола в причастно-страдательном обороте.

Русисты признают, что причастный пассив иногда не только похож на перфектную конструкцию, но и выступает в роли перфектной конструкции. Речь идет о причастном пассиве в настоящем времени, например, *Дом построен* [14, с. 208; 20]. Однако если причастный пассив имеет перфектное значение в настоящем времени, он вряд ли может утрачивать это значение в прошедшем времени. Причастный пассив обладает перфектным значением во всех временах. При этом не следует называть это значение перфектным. Надо признать причастный пассив самостоятельным видовым образованием с собственным результативным значением. Это и делает Ю. А. Пупынин. Он пишет: «Основной функцией СВ в пассиве, как и в активе, является конкретно-фактическая функция. Особенности в ее выражении сводятся к тому, что в пассиве доминирует перфектный вариант указанной функции, между тем как в активе перфектный вариант не является доминирующим. Необходимо отметить, что доминирование перфектности возникает в пассиве благодаря регулярному воспроизведению в значении аналитической пассивной формы СВ элемента действия (конкретного факта) и элемента состояния-результата. Вследствие этого перфектность как семантический элемент в значении указанных форм обнаруживает тенденцию к категоризации и пронизывает всю картину семантических функций СВ в пассивных конструкциях» [3, с. 157—158].

В заключение отметим, что остальные противоречия залоговой концепции причастного пассива также снимаются в рамках видовой концепции. Причастно-страдательная конструкция формально сильно отличается от актива, т. к. между ними наблюдаются существенные семантические различия. Наличие вспомогательного глагола *быть* и причастной

формы связано с выражением состояния. В этом семантическое отличие пассива от актива, которое все чувствуют, но не могут объяснить.

Действующее лицо факультативно в причастном пассиве, хотя обязательно в активе, потому что актив и пассив не являются взаимодополняющими категориями. Актив — это гипотетическая категория, которую грамматисты постулировали для объяснения страдательной конструкции и которая становится лишней в рамках видовой концепции. Причастный пассив — это самостоятельная конструкция, в которой действующее лицо факультативно. Она имеет свои особенности также и в области категории времени. Предполагать наличие аналогичных временных форм как в активе, так и в причастном пассиве не имеет смысла, потому что причастный пассив — самостоятельная конструкция.

Таким образом, причастный пассив «*быть* + страдательное причастие» следует рассматривать как видовое образование типа «вспомогательный глагол + причастие», а не как залоговую конструкцию. Что же касается значения причастного пассива, то он вовсе не синоним актива: он обозначает состояние, которое возникает под воздействием предыдущего действия. Сочетаемость причастного пассива определяется лексической видовой характеристикой глагола и композиционной видовой характеристикой предложения, а не переходностью глагола.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Beedham C.* The passive aspect in English, German and Russian. Tübingen, 1982.
2. *Beedham C.* The passive in English, German and Russian // Journal of linguistics. 1981. V. 17.
3. *Пупынин Ю. А.* Функционирование видов русского глагола в пассивных конструкциях (К проблеме взаимосвязей категории вида и залога): Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1980.
4. Грамматика русского языка. Т. I. М., 1960.
5. *Адамец П.* Актуальное членение, глубинные структуры и перифразы // Papers on functional sentence perspective / Ed. by Daneš F. Prague, 1974.
6. *Harrison W.* Expression of the passive voice. Cambridge, 1967. P. 31.
7. *Бондарко А. В., Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967. С. 159.
8. *Růžička R.* Versuch einer Modellierung des genus verbi moderner slawischer Sprachen im Rahmen der generativen Transformationsgrammatik // ZfSl. 1968. Hf. 2.
9. *Walther G.* Genus verbi «Passiv» // Linguistische Arbeitsberichte. 1972. 5. S. 63.
10. *Verkuyl H. J.* On the compositional nature of the aspects // Foundations of language. Supplementary series. 1972. V. 15.
11. *Friedrich P.* On aspect theory and Homeric aspect // IJAL. 1974. 40. Memoir 28. P. 4.
12. *McCoard R. W.* The English perfect: Tense-choice and pragmatic inferences. The Hague, 1978. P. 9.
13. *Helbig G., Buscha J.* Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Leipzig, 1977. S. 72.
14. *Лебедева Г. Ф.* Употребление глагольных форм прошедшего времени совершенного вида в перфектном значении в современном русском литературном языке // Вопросы истории русского языка / Под ред. Кузнецова П. С. М., 1959.
15. *Babby L. H., Brecht R. D.* The syntax of voice in Russian // Language. 1975. № 2. P. 352.
16. *Karcevski S.* Système du verbe russe. Prague, 1927. P. 120.
17. *Benveniste E.* The passive construction of the transitive perfect // *Benveniste E.* Problems in general linguistics. Florida, 1950.
18. *Benveniste E.* The linguistic function of «to be» and «to have» // *Benveniste E.* Problems in general linguistics. Florida, 1950.
19. *Лебедева Г. Ф.* Качественный и посессивный оттенки перфектного значения глагольных форм прошедшего времени // Вестник МГУ. 1959. № 3.
20. *Comrie B.* Aspect. Cambridge, 1978.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ИВАНОВ ВЯЧ. ВС.

О ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ П. А. ФЛОРЕНСКОГО

Павел Александрович Флоренский [1882—1937 (?)] — замечательный русский ученый-энциклопедист, математик, специалист по электротехнике и материаловедению, искусствовед, филолог, философ, богослов, священник, поэт. П. А. Флоренский еще в детстве под влиянием отца увлекается естественными науками, особенно геологией, где его заинтересовывает проблема времени (о чем он говорит в своих воспоминаниях [1]). В 1900 г. П. А. Флоренский поступает на математическое отделение физико-математического факультета Московского университета, где учится у Н. В. Бугаева и под его влиянием увлекается проблемами дискретной математики [2], тогда только еще создававшейся. Математическим и философским вопросам прерывности была посвящена его диссертация [3], над которой он работал в 1900—1904 гг. В 1904 г. Флоренский заканчивает университет, написав кандидатское сочинение об особенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности, после чего поступает в Московскую Духовную академию, где учится в 1904—1908 гг. В 1906 г. за слово «Вопль крови» о казни лейтенанта Шмидта Флоренский арестован и заключен на короткое время в тюрьму. В 1908 г. Флоренский начинает преподавать на кафедре истории философии в Московской Духовной академии [4], в 1911 г. он рукоположен в священники, в 1912—1917 гг. состоит редактором «Богословского вестника», где печатается ряд его статей, в том числе и филологического по преимуществу содержания. В 1914 г. он защищает магистерскую диссертацию «Столп и утверждение истины». С 1918 г. Флоренский работает ученым секретарем Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. С 1919 г. он работает также на заводе «Карболит», где занимается изготовлением пластмасс, в 1921 г. переходит на работу в систему Главэлектро ВСНХ. В 1922—1924 гг. состоит профессором ВХУТЕМАСа (Высших государственных художественно-технических мастерских) на кафедре Анализа пространственности в художественных произведениях, где читает соответствующий курс, частично изданный [5—7]. В 1922 г. выходит книга Флоренского «Мнимости в геометрии» [8], где он опубликовал также и план большой философской работы «У водоразделов мысли», отдельные части которой увидели свет лишь в самые последние годы (ср. [9]). С 1927 г. Флоренский — редактор «Технической энциклопедии».

В 1928 г. Флоренский был сослан в Нижний Новгород, откуда его удалось вернуть в 1929 г. благодаря заступничеству руководительницы Политического Красного Креста Е. П. Пешковой (жены М. Горького). В 1930 г. Флоренский становится помощником по научной части директора Государственного экспериментального электротехнического инсти-

тута. В феврале 1933 г. арестован, в июне осужден на 10 лет лагерей и отправлен в Сибирь, где Флоренскому, продолжающему в труднейших условиях занятия разными науками, удается собрать и материал по орочскому языку для орочско-русского словаря. В 1935 г. переведен в Соловки, в 1937 г. П. А. Флоренский лишен права переписки и, по-видимому, тогда же расстрелян. В 1958 г. реабилитирован. В 1969—1988 гг. посмертно опубликовано значительное число произведений Флоренского, из которых многие переведены и изданы на разных европейских языках. В 1987 г. напечатаны из семейного архива и стихи Флоренского [10]. [До того был напечатан сборник его юношеских стихов «В вечной лазури» (1907 г.).]

В Италии, в университете города Бергамо, 10—14 января 1988 г. состоялся приуроченный к 1000-летию крещения Руси симпозиум «П. А. Флоренский и культура его времени», где наряду с итальянскими, американскими, французскими, немецкими, югославскими, венгерскими, польскими учеными участвовала советская делегация в составе чл.-корр. АН СССР С. С. Аверинцева, Р. А. Гальцевой, Н. К. Гея, С. С. Демидова, Л. К. Долгополова, Вяч. Вс. Иванова, епископа Уфимского и Стерлитамакского Анатолия (Кузнецова), иеромонаха Иннокентия (Павлова), П. В. Палиевского, В. М. Пискунова, И. В. Роднянской, священника Василия (Строгонова), Б. А. Успенского, П. В. Флоренского (внука ученого).

О раннем этапе развития взглядов Флоренского на язык можно судить по его магистерской диссертации, где уже видна его увлеченность возможностями этимологического проникновения в историю понятий. Ницше предлагал когда-то объявить конкурс на академическое сочинение под заглавием: «Что дает языкознание, и особенно этимологическое исследование, для истории развития нравственных понятий?». Флоренский одним из первых попытался на этот вопрос ответить. Едва ли существенно вникать в подробности тех этимологий (иногда устаревших, часто нуждающихся в дополнениях и уточнениях), на которые он опирался. Важнее другое. Флоренский систематически сравнивает те семантические процессы, которые можно предположить в индоевропейских языках (из которых он по памятникам хорошо знал древнегреческий, латинский и старославянский, но изучал и другие, среди них осетинский) и в языках семитских (из которых тексты он изучал на древнееврейском). Эти сравнительные штудии привели его к любопытным выводам, изложенным в его труде весьма отчетливо: «*Истина* для еврея, действительно, есть „верное слово“, „верность“, „надежное обещание“. А так как надеяться „на князи, на сыны человечестии“ — тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть непременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. При этом можно отметить, что четыре найденных нами оттенка в понятии истины сочетаются попарно следующим образом: русское И с т и н а и еврейское אֱמֶת

'эмет относятся преимущественно к *божественному содержанию* Истины, а греческое 'Αλήθεια и латинское Veritas — к *человеческой форме* ея. С другой стороны, термин русский и греческий — характера философского,

тогда как латинский и еврейский — социологического. Я хочу сказать этим, что в понимании русского и эллина Истина имеет *непосредственное*, отношение к каждой *личности*, тогда как для римлянина и еврея она *опосредована обществом*» [11, с. 22]. Заметим, что заинтересовавшее Флоренского в этимологии русского слова соединение идеи истинности и абсолютной реальности [11, с. 15—16], из которого Флоренский склонен был выводить и «самобытную характеристику русской философии» [11, с. 17, 614—615], в свете новейших лингвистических открытий должно быть возведено к индоевропейской древности: причастие от глагола **es-* «быть» значило «подлинно-существующее» [11, с. 15] не только в славянских языках (ср. русск. *сущая правда*), но и в архаическом гимне «Ригведы» (*yád satyám* «которое — из двух соперничающих слов — правдивое», VII, 104), и в хеттской молитве в древней формуле признания вины: *asan-at* «это истинно так», где причастие *asan(t)-* «сущий» может заменяться и глагольной именной формой *es-zi* «есть, существует, является истинным» [12; 13, с. 82] (ср. сходное значение старолитовской формы *esti* «это на самом деле так»). Эти новые лингвистические разыскания подтверждают проницательность языковой интуиции Флоренского еще в одном отношении — в латинском *sōns* «виновный», как и в родственном германском слове с тем же значением, отражена древняя правовая формула, в конечном счете связанная со значением истинности в том правовом его аспекте, который Флоренский для латинского языка и для древности вообще оправданно считал одной из сторон *культа* [11, с. 20]. Подтверждено новыми работами о развитии глагола в индоевропейских диалектах и принимавшееся Флоренским вслед за компаративистикой его времени различие индоевропейского **es-* как обозначения длительного в отличие от **bhū-* как обозначающего становление, чем и объясняется супплетивизм форм настоящего времени и аориста и перфекта [11, с. 17]. В современной лингвистике эта черта рассматривается как диалектная особенность той группы диалектов, из которых позднее выделился древнегреческий. Следовательно, хотя, по его собственным словам, Флоренский мог быть охарактеризован как «философ, больше из вежливости, чем всерьез, прислушивающийся к поучениям лингвиста» [11, с. 786], при этом он достаточно глубоко вникал в некоторые уроки сравнительного языкознания, хотя элемент игры с этой наукой в его работах ощутим. В отдельных случаях Флоренский дает два альтернативных этимологических объяснения, одно из которых ближе к народной этимологии (греческое μάκαρ от приативной частицы μα, которую Флоренский, желая этим подкрепить давнее объяснение μάκαρ у Шеллинга, сопоставляет и с осетинским отрицанием *ма*: по отношению к обоим отрицаниям сближение правильно, но этимология Шеллинга, см. о ней [11, с. 185—186], этим еще не доказывается), а другое дается этимологическими словарями (μάκαρ «блаженство» от **mak-*, греч. μακ-ρός) [11, с. 189, 710]. Такая же двойственность обнаруживается и в трактовке Флоренским этимологии слова *приятель* в русском языке. Сначала он говорит о толковании *приятеля* как *приемлющего*, которое «не чуждо, по-видимому, богослужебным книгам,— хотя бы в виде игры слов» [11, с. 786]. Но затем дается общепринятая этимология слова (скр. *priya-* и т. п. [11, с. 787]). В этом случае два осмысления — близкое к игре слов и этимологическое — сам Флоренский, хотя и без полной уверенности, склонен толковать как два следовавших друг за другом этапа в осознании этого слова. Но рассуждение о нем прямо идет за пассажем, где Флоренский отрицает необходимость следования за «модой» в этимологии и настаивает на символическом

статусе лингвистической теории: «Лингвистические теории для нас,— не аргументы в собственном смысле. (— Да и возможны ли вообще таковые в вопросах внутренней жизни? а если бы и были возможны, то нужны ли они,— там, где сама жизнь говорит красноречивее всяких аргументов?—). Но если оне — не аргументы, то что же такое?— Конечно, своеобразные символы. При этом вовсе уж не так важно знать, насколько эти символы одобрены современными лингвистами; ведь переживания внутреннего опыта — для всех времен и народов, научные же мнения — дело текучей и изменчивой моды, постоянной нисколько не более, чем мода на дамские шляпки или рукава... Итак, если некоторая символика идет к нашей ближайшей задаче, то мы позволим не тревожиться, что скажут на нее лингвисты» [11, с. 785]. В это время, как бы подготавливая читателя к изложенному им позднее пониманию науки как символического описания, молодой Флоренский противопоставляет «радостную легкую окрыленность грядущей», веселой науки (слова Ницше) [11, с. 123] «священной, седой таинственности древней науки» и «нравственной важной строгости — новой».

Из других сопоставлений семантического развития слов, передающих сходные понятия в индоевропейских и семитских языках, стоит отметить наблюдения П. А. Флоренского о словах со значением «вера». «Русское „*верить*“ означает, собственно, доверять, т. е. содержит в себе указание на ***нравственную*** связь того, кто верит, с тем, кому он верит. Несколько подобно этому и **немецкое *glauben*** верить, равно как и со-коренные: erlauben дозволять, loben хвалить, geloben дать обет, lieben любить и **английское** *believe* верить вочто, веровать, происходящие от $\sqrt{\text{lub}}$ (ср. наш $\sqrt{\text{люб}}$ в слове „любить“) и первоначально означали почитать доверять и также одобрять. **Греческое** πιστεύειν связан(н)о с πείθεσθαι слушаться. а собственно — дать себя уговорить „быть убеждену“, но также относится и к самому лицу: „дарить доверием“, „доверять“» [11, с. 69]. Отметив сходство соотношения греческого πίστις и πιστός с русским *вера* и *верный*, Флоренский переходит далее к опыту этимологического соединения еврейского הֶאֱמִין ге'эмин с древнееврейским обозначением истины, рассмотренным в цитированном выше отрывке. По Флоренскому, «если русское ***верить*** и немецкое *glauben* указывают на субъективный момент веры, именно „веренье“, как нравственную деятельность соотношения с Каким-то Лицом, то еврейское הֶאֱמִין ге'эмин отмечает природу этого лица как природу Истины и указывает на веру — как на ***истинствование***, как на пребывание в Истине, разумеемой, конечно, *по-еврейски же*» [11, с. 69]. Лат. *fides* по его значению («удостоивание доверием и самое доверие» [11, с. 69]) Флоренский сопоставляет с греч. πίστις, тогда как по отношению к лат. *credere*, правильно отмечая, что оно «имеет, по латинскому обычаю, значение *сакральное*» [11, с. 69], Флоренский не вполне верно истолковывает его связь с скр. *śraddhā*. Разыскания последних десятилетий дают основание считать, однако, что семантическая реконструкция исходного значения этого латинского (и санскритского) слова «свое сердце полагать

н а (Б о г а)» была верной (ср. [13, с. 143, 146; 12, с. 30]): Флоренский правильно представил древнее значение словосложения (в ведийском еще сохранявшего, как и в хеттском, черты словосочетания со свободным порядком составных частей) как результат соединения двух слов — названия «сердца» и глагола «полагать, ставить» (как теперь установлено, грамматическое значение формы первого слова близко к локативному). При нередких неточностях Флоренский прав в окончательном результате, что позволяет сравнить силу его лингвистической интуиции с теми прозрениями, которые можно найти у крупнейших лингвистов прошлого: конкретные этимологии устаревают, но выводы относительно истории слов их переживают.

В разделе своего первого большого философского сочинения, посвященном символике «сердца», Флоренский приходит к выводам, подтвержденным всем последующим развитием сравнительно-исторического языкознания: «В индо-европейских языках слова, выражающие понятие „с е р д ц е", указуют самым корнем своим на понятие центральности, серединности» [11, с. 269]. Правильность этого положения, раскрывшаяся полностью для общеиндоевропейского после обнаружения родственных слов со значением «сердцевина, внутренности» в хеттском и других анатолийских языках, как представляется, Флоренскому была обеспечена благодаря его ориентации в данном случае именно на славянские языки, сохранившие в словах типа цитированного Флоренским древнерусского *середъ* следы очень старого словоупотребления. Флоренский присматривался и к живой речи, включая и вновь возникавшие термины (позднее он посвятит им столько статей в «Технической энциклопедии»): «„С е р д ц е" принимает иногда значение: „нутро, недро, утроба, средоточие, нутровая средина", так что говорится „с е р д ц е з е м л и", вместо нутро земли, „сердце дерева" (ср. французское coeur d'un arbre) и „сердце пера" — в смысле „средины толщи" их. Подобным же образом можно слушать выражения: „сердечко яблока", т. е. гнездо, семена вместе с кожухом; „с е р д ц е в и н а дерева", т. е. срединная мякоть в дереве, проходящая как бы жилою от корня, до самой вершины; „сердцевина камня", ядро где оно есть, особого вида или состава камень внутри другого; „соляная сердцевина" в горной соли (Илецк), чистые гранки, прозрачные как стекло, лежат гнездами; кремневый голыш в меловой толще, или, на казанском наречии, с е р д ц е. Поэтому же с е р д о ч н и к о м называется всякий стержень, влагаемый в ствол, в дыру; болт, пропускаемый сквозь переднюю подушку и ось повозки, на котором ворочается передок; шворень, штырь, курок; железный стержень с шаром, для образования пустоты, при отливке пустотелых артиллерийских снарядов; или, еще, мягкое железо, образующее электро-магнит и помещаемое внутри намотки, например, в динамо-машинах, „сердечник электромагнитов" или „сердечник барабана"» [11, с. 269—270]. Среди недавно открытых древних индоевропейских параллелей к употреблениям слов этого корня, изученным Флоренским, особенно стоит упомянуть соответствующие хеттские факты: существительное *karat-* «внутренности, сердцевина» может относиться и к сердцевине оливкового дерева.

Установив особенности значений слов, родственных названию «сердца» в индоевропейских языках, Флоренский проводит затем этимологическое исследование семитских названий сердца [11, с. 270—271]. Принимаемой им этимологией, по Флоренскому «хорошо объясняется, почему св. Писание говорит иногда о „сердце", т. е. о средоточии, о центральных по значению или по положению пункте или области неодушевленных

существ мира» [11, с. 271]: «сердце неба», «сердце моря», «в середину дуба». Поэтому же Флоренский предполагал «отражение гебраистического образа» [11, с. 271] в евангелии от Матфея, 12.40: τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς «сердце земли».

Эти филологические наблюдения над ветхозаветными и новозаветными текстами сохраняют всю свою ценность независимо от того, верно ли принимавшееся Флоренским предположение о том, что семитское название «сердца» образовано от глагольного корня со значением «укутываться, обворачиваться, обвиваться». В своем исследовании контекстов употребления названия «сердца» и родственных слов в индоевропейских и семитских языках Флоренский одним из первых пошел по пути, который позднее был пройден в ряде последующих сочинений, где, как и в книге Флоренского [11], языковая образность, касающаяся сердца, соотносится с медицинскими и культурно-историческими данными, позволяющими в широкой семиотической перспективе наметить пути преображения символа «сердца» в разных культурах.

Из значительно более бесспорных примеров использования Флоренским выводов сравнительно-исторического языкознания отмечу то, как искусно он привлек их для подтверждения своего понимания памяти как «творческого начала мысли» [11, с. 202]: «Язык тоже свидетельствует в пользу изложенного понимания памяти. По крайней мере корень слова п а м я т ь,— √m̥n̥—, в индо-европейских языках означает м ы с л ь во всей широте понимания этого слова» [11, с. 202—203]. Приведя соответствующие этимологические параллели, Флоренский заключает: «...таким образом, действительно, п а м я т ь — это и есть м ы с л ь по преимуществу, с а м а мысль в ее чистейшем и коренном значении» [11, с. 203].

Замечания Флоренского об этимологии обозначений времени представляют интерес и для понимания в целом его концепции времени, и для сопоставления с научным и художественным преломлением выявляемых у этих обозначений этимологических связей в сочинениях его современников. В одном из примечаний к главе своей большой книги, где говорится о времени, Флоренский приводит со ссылкой на Миклошича и Бругмана сравнение русск. *время*, ст.-слав. врѣмѧ с скр. *vartman-*, «от врѣт-ѣти, как к о л о в о р о т, с чем можно было бы сблизить пре-врат-н-ый, о времени» [11, с. 795].

Идея связи значений «вертеть — время» позднее исследовалась М. Покровским и многими другими лингвистами, чьи выводы поддержал Р. Якобсон в исследовании, посвященном значению «супружеская измена» у старославянского *vrěmę*. Согласно Якобсону, «...If the turn of the wheel underlies the metaphorical „wheel of time" and the Slavic *vermę in its temporal meaning, the same designation of turns might easily bifurcate into a name for uniform rotation and, on the other hand, for notion sideways, swerve, deviation, veer, shift, deflection, aberration, detour» [14, с. 652]. На полученном мной в 1970 г. оттиске первой публикации статьи в дарственной надписи Р. О. Якобсон охарактеризовал ее как „этимологический комментарий" к вещаниям Андрея Белого в письме Э. К. Метнеру 3 III 1903 по поводу провидца Врубеля, живописавшего взаимных соблазнителей Фауста и Маргариту: «Эти обороты веретена суть обороты времени» (подчеркнуто Якобсоном; из моего архива.— *И. Вяч.*). Подобные переклички важны для понимания темы «Флоренский и его время»: оказывается, что даже и некоторые этимологии и основанные на них анаграмматические построения могут быть чертами времени.

Но для Флоренского именно эта этимология не была столь важна — недаром он упоминает ее вскользь в примечании, тогда как для Белого, как потом и для Якобсона, в ней обнаруживались существенные связи между словами. Но при всех различиях между тремя сопоставляемыми текстами (Флоренского, Андрея Белого и Романа Якобсона) центральным при истолковании древнего значения слова *время* оказывается образ «коловорота», отмеченный в цитированном примечании Флоренского, чья интуиция не перестает изумлять.

Этимология этого слова была лишь небольшой частью тех языковых данных, которые были привлечены Флоренским при рассмотрении проблемы времени, занимавшей его и в первой книге, и в последующих работах. Больше всего в первой книге его привлекала тема «Время и Рок», раскрытая им с помощью языковых данных: «Р о к, тяготеющий над нами, есть В р е м я. Самое слово „р о к" имеет смысл темпоральный. У некоторых *славянских* племен оно прямо обозначает „г о д", „л е т о", т. е. двенадцать месяцев, подобное же значение этого слова можно найти и в русском языке южных и западных губерний.

На *чешском* языке, среди прочих значений, оно имеет и значение „определенного времени", „срока", затем „времени вообще" и в особенности „часа". Точно также *русское* „с - р о к" сохранило темпоральное значение своей основы „р о к"; в древнем же языке „р о к" прямо обозначало „о п р е д е л е н н о е в р е м я", „с р о к", „г о д", „в о з р а с т" и, затем уже,— „судьба".

„Р о к", „р о к о в о й" происходит от „р е щ и", т. е. означает и нечто изреченное или изрекаемое; по своему коренному значению, Рок — это и з р е ч е н и е. В *чешском* языке слово rok даже прямо означает р е ч ь, с л о в о, а затем — обручение,— с г о в о р» [11, с. 531—532]. Верность наблюдений раскрылась в более широкой сравнительно-исторической перспективе, благодаря обнаружению в тохарских языках родственных слов со значением «речь»: тохар. В *reki* (точно соответствует праформе **reki*, откуда русск. *речь*), тохар. А *rake* «речь».

Удачным в этой главе представляется и соотнесение с теми же смысловыми переходами связи русского *судьба* и *суд* с греческим συν-τί-θη-μι «соединять, по взаимному договору назначать» и θέ-μι(δ)ς «право, закон, справедливость» (от того же индоевропейского корня **dhe-*); к приведенным сближениям постоянно и теперь возвращаются историки славянской и индоевропейской правовой терминологии и «предправа», реконструируемого и по языковым данным.

Но особенно удачным в этой главе книги (где при многих верных наблюдениях нет тех многочисленных неточностей, которые портят упоминавшиеся выше части книги) представляется сопоставление семантики приведенных славянских слов с развитием значений лат. *Fatum* «судьба, рок» (от латинского корня *fa-to-r*, *fo-r*), которое Флоренский исследовал по текстам, отметив, что в многочисленных надгробных надписях *Fatum*, *Fata*, *Fatus* «употребляются как явные синонимы словам „aetas" и „tempus"» [11, с. 533].

Исследование *Памяти* (в том числе и по данным индоевропейских и семитских ее обозначений) и *Времени* оставалось одною из постоянных тем творчества Флоренского.

Кроме более подробно рассмотренных выше этимологий обозначений времени, сердца, истины, веры, памяти, судьбы, в трудах Флоренского можно найти результаты исследований истории названий стыда [11, с. 704], тела [11, с. 264], ревности [11, с. 479—481], греха [11, с. 179],

ада [11, с. 178], греч. ἀπορία «апория, затруднительное положение» [11, с. 627] (интересны замечания Флоренского о божестве Πόρος у Платона, которое в том же духе понимается вслед за Пальмером и новейшими исследователями, ср. о том же божестве, понимаемом как «Póros „Effectiveness" (Opp. **aporia** „quandary"), whom Alkman... called „the oldest of the gods"» [15]), ц.-слав. *тартаръ* из греч. τάρταρος [15, с. 717] и русск. *кипяток* [16]. Особенно следует отметить занятия Флоренского этимологией греческого и семитских названий мудрости — Софии, занимавшей столь важное место в его концепции [11, с. 326, 753]. Интересовавшие Флоренского общесемитские корни древнееврейского חָכְמָה *Хохмá* «Мудрость» во многом прояснились благодаря исследованию угаритских текстов, где родственное древнееврейскому угарит. *ḫkmt* «Мудрость (Бога)» встречается в таких контекстах, как *tḫkh·il·ḫkm·ḫkmt/'m 'l·ḫyt·ḫẓt/ṭḫmk* «Твое поведение, о Эль, мудро (= Мудрость), мудро навечно! Твое поведение означает жизнь благоденствия» [17]. Связь угарит. *ḫakamu* «мудрый (о Боге-Эле)» и *ḫakamt* «Мудрость (Эля) » согласуется и с предположением о значительной архаичности [18] гимна из Proverbia, где «по отношению к Богу Премудрость представляет собой как бы воплощение Его воли» [19].

У слов разных языков, которые Флоренский включает в свои тексты, есть и совсем другие функции, близкие к художественным. Рассуждая о шеллинговой этимологии μάκαρ «блаженство», Флоренский между прочим отмечает его почти полное созвучие с осетинским *мà хар* «не ешь» [11, с. 188]. В одной из следующих глав в лирическом отступлении, описывающем один из пережитых автором кризисов, Флоренский, пишет: «Тщетно старался я сказать сердцу: „Не ешь — *мà хар*"» [11, с. 257]. Слова осетинского языка, выученные у одного из товарищей Флоренского — осетина П. Г. Ходзарагова, используются в духе той глоссалалии, построенной на основе иностранных (преимущественно итальянских и испанских) слов, которой Флоренский увлекался в детстве, судя по его автобиографии [1, с. 103]; в этой последней можно найти и другие интересные высказывания о привычном ему словоупотреблении, в частности, табуистическом [1, с. 82—85].

Флоренский и сам говорит о том, что лингвистические символы, в том числе этимологические, нужны ему для выражения внутреннего опыта. Так, цитированное описание собственного кризиса, во время которого Флоренский говорит себе осетинское приказание (адресуя его своему сердцу), кончается словами, по-гречески описывающими просветление — «утишение»: «Я обрел вожделенный κατάπαυσις, я постиг тогда, чтó значит μακάριος» [11, с. 258]. Следовательно, изложенная двумя главами выше полуфантастическая осетинская этимология последнего слова — символ пережитого кризиса.

Такое использование этимологии напоминает увлекательные фантазии Стриндберга, за несколько лет до того (в конце 900-х годов — в последние годы жизни) смело сближавшего друг с другом слова самых разных языков [20]. Но особенно близка эстетическая игра с этимологией слов разных языков к принципам построения «Ulysses» и «Finnegan's Wake» Джойса и многочисленным подражаниям, переложениям, дешифровкам и обсуждениям второго романа в поставангардистской литературе. Уже приходилось вместе с тем отмечать разительное сходство языковых опытов Джойса, Арто и Хлебникова. Барочный стиль книги «Столп и утверж-

дение истины» допускает отчасти такие сближения — в той же мере (очень значительной), в какой книга является и художественным произведением (что очевидно уже и по внешнему ее облику). Но у Флоренского принадлежность книги к жанру «веселой науки» прорывается лишь временами.

Другое естественное сравнение, которое напрашивается в связи с языком научно-художественно-философской прозы Флоренского — это уже предлагавшееся С. С. Аверинцевым сопоставление с манерой разделять на части немецкие слова у Хейдеггера [21], ср. у Флоренского в «Столпе и утверждении истины»: неоправ-данность, само-разногласие, «само-отвержение — это единственное, что приближает нас к бого-подобию», «полу-браке и полу-блуде», со-пребывать [11, с. 25, 27, 163, 299, 444]. Отчасти на новообразования Флоренского влияла «предхейдеггеровская» немецкая философская терминология: «Любовь и есть „да", говоримое Я самому себе; ненависть же — это „нет" себе. Непереводимо, но выразительно эту идею Р. Гамерлинг отчеканивает в формуле: любовь есть «das lebhafte Sich-selbst-bejahen des Seins—живое себе-самому- „да" бытия» [11, с. 92]; можно вспомнить усилия Сартра передать в «L'être et le néant» терминологию Хейдеггера. Но в очень большом числе случаев языковые новообразования или особенные обороты речи у Флоренского связаны с передачей греческого термина в соответствии с давней старославянской и церковнославянской традицией переложения текстов с греческого. Из весьма многочисленных примеров упомянем такие слова, как *инаковость* (греч. ἑτερότης), «едино-сущным (ὁμοούσιος), а не только подобно-сущным (ὁμοιούσιος)», «чино-последование на **брато-творение**, ἀκολουθία εἰς ἀδελφοποίησιν или εἰς ἀδελφοποιΐα» [11, с. 46, 91, 457, 608]. И иноязычные — немецкие и античные прообразы, и значимость церковной традиции могут отчасти объяснить кажущиеся совпадения и с позднейшим языковым экспериментом Цветаевой. Но в новшествах этой последней оправданно видят реакцию на язык символистов, Флоренский же еще в «Столпе и утверждении истины» с этим языком связан: как символисты-архаики, подобные Вячеславу И. Иванову, он продолжает древнюю традицию витийственного церковного красноречия (что не противоречит сказанному выше о перекличке использования этимологизации у Флоренского с авангардом: ему в определенных границах сочувствовал и тот же Вячеслав Иванов). На славянской почве эта традиция наслоилась на более раннюю, связанную с языческим обрядом и фольклором.

Этимологические разыскания в области индоевропейского словаря — сфера исследований, столь занимавшая Флоренского,— могут (вполне в его духе) быть использованы для того, чтобы показать связь его собственной философии языка с этой древней общеиндоевропейской традицией. Одним из ключевых понятий во всей его философской системе было *имеславие*, которому посвящался особый раздел в лингвистической части «У водоразделов мысли». Уже в 1907 г. молодой Флоренский работает над освещением проблемы в труде «Священное переименование» (ср. [11, с. 617], а в 1909 г. издает работу на близкую тему об именах). Русский и церковнославянский языки сохранили в сложном слове *имеславие* аналог древнего сочетания, отраженного и в греческом ὄνομα κλυτόν («Илиада», X, 51), и в ведийском *nāma śrutyam*, и в тохарском А *ñom-klyu*, В *ñem-kälywe* «слава» [22]. Не исключено, что конкретная форма славянского слова сложилась под греческим влиянием, но исходный материал, из которого создано это сложение, т. е. сочетание корня **k̑lew-* «слава, славный»

с предшествующим именем существительным *nomn «имя», было одним из тех многочисленных оборотов с названием «славы», которые достоверно восстанавливаются для общеиндоевропейского поэтического языка. Лингвистические символы, которыми пользовался для описания языка Флоренский, сложились некогда после преображения раннеславянских мифопоэтических обозначений индоевропейского происхождения, испытавших греческое влияние.

Греческий язык, и главным образом язык Нового Завета, и особенности ранних славянских переводов с греческого были предметом многолетних занятий Флоренского. В качестве образца укажем на изданное отдельною книгою исследование глагола ἁρπάζειν «восхищать» [23]. Флоренский начинает с истолкования слова, «проведенного чрез ближайший контекст», и далее изучает его значение у 12 авторов, использовавших его в мистическом смысле,—от Филона (I в н.э.) до Николая Кавасилы (XIV в.). Заметим, что в то время исследование греческого языка византийского времени только начиналось и Флоренский руководствовался не общими пособиями, а собственными познаниями в текстах. Далее на обширном материале он определяет более древнее значение, характеризовавшееся тем, что «в древнегреческом мифе переход человека в миры иные представляется как восхищение или как похищение его трансцендентными существами» [23, с. 26]. После обстоятельного изучения соответствующих текстов, которым он предлагает оригинальные толкования (ср. об Орфее: «привлекши к себе женственное начало своего духа, свою Евридику, не свободною любовью, а магическою привязанностью, чрез тайнодейственную музыку свою, Орфей Евридики, на самом деле, никогда не имел в себе, но — лишь возле себя: он, аспект Аполлона и сам явление аполлинийного начала, есть чистая мужественность... Орфей погиб за одностороннее утверждение начала мужеского перед женским... В дерзновении чрезмерной мужественности он врывается в таинственный мир, вопреки стражам его, чтобы восхитить женственное начало своего духа, от него ушедшее» [23, с. 46—47]), Флоренский решает главную свою задачу: определяет значение слов апостола Павла, предостерегавшего от искушения «счесть и Иисуса Христа за одного из восхитителей богоравенства, наподобие тавматургов, правдами или неправдами достигавших экстаза» [23, с. 48]. Флоренский приходит к выводу, что, употребляемое мистически, слово «ἁρπαγμός, как и наше „восхищение", непременно должно содержать в себе недифференцированность предмета познания и субъекта познания, предмета восхищения и лица восхищающегося» [23, с. 53]. Вывод представляет интерес гораздо более общий, в том числе и для сопоставления с идеями Бора и других физиков о соотношении воспринимающего прибора и воспринимаемого. Заметим, что проблема, которую в этой книге решал Флоренский, относится и к большому слою славянской лексики, которая должна была при передаче христианских греческих текстов осмысляться по-новому, сохраняя только след былых мифологических значений.

Из других лексико-семантических разысканий Флоренского в области греческого словаря надлежит указать на произведенное им исследование для греческого языка и отдельно для языка Нового Завета и греческого перевода Ветхого Завета семантического поля глаголов любви — по словам Флоренского, «четверица слов любви — это одна из великих драгоценностей сокровищницы эллинского языка, и едва ли можно одним взглядом охватить весь круг преимуществ, доставляемых жизне-понима-

нию этим совершенным орудием. Другие языки не могут похвалиться даже подобным чем-нибудь в области идеи любви; отсюда — бесконечные и бесполезные прения и трения, отсюда же — потребность выдумать хотя бы суррогат эллинской четверицы, т. е. при помощи нескольких слов создать термин равно-сильный греческому одному слову» [11, с. 406] (см. также [24]; там же сопоставление с положениями философа Хайдеггера). Произведенный в экскурсе в первой большой книге Флоренского подробный, детальный анализ соотношения четырех глаголов и произведенных от них существительных основан на синхронном употреблении (в том числе у Аристотеля, из текста «Риторики» которого Флоренский извлекает противопоставление φιλεῖσθαι «быть любимым» и ἀγαπᾶσθαι «быть ценимым») и в малой степени касается их этимологии. Поэтому кажется любопытным, что среди четырех намеченных Флоренским обозначений — «стремительный, порывистый ἔρως, или любовь ощущения, страсть; нежную, органическую στοργή, или любовь родовую, привязанность; суховатую, рассудочную ἀγάπη, или любовь оценки, уважение; задушевную, искреннюю φιλία, или любовь внутреннего признания, личного прозрения, приязнь» [11, с. 400] — сравнительное индоевропейское и новейшее ностратическое языкознание в качестве особенно древнего выделяют στοργή, родственное древнеирландскому *seurc* «любовь», *dearc*, *deserc* «милосердие» и другим индоевропейским глаголам со значениями «болеть, сторожить» (русск. *стеречь*, хет. *ištark-* «болеть») при соответствиях и в других ностратических языках. По Флоренскому, στέργειν означает не страстную любовь или склонность к лицу или вещи, не позыв к объекту, определяющему наше стремление, а спокойное и непрерывное чувство в глуби любящего, так что, в силу этого чувства, любящий признает объект любви близко принадлежащим ему, тесно с ним связанным и в этом признании обретает душевный мир; στέργειν относится к органической, родовой связи, нерасторгаемой, в силу этой прирожденности, даже злом. Такова нежная, спокойная и уверенная любовь родителей к детям, мужа к жене, гражданина к отечеству» [11, с. 397].

Из вопросов греческой грамматики, специально разобранных Флоренским [11, с. 169], стоило бы отметить анализ причины постановки артикля при сказуемом-существительном, обозначающем название, которого только и достоин субъект (у св. Иоанна Богослова ἡ ἀνομία «беззаконие, по преимуществу заслуживающее это название» [11, с. 169]). Существенно также предложенное им толкование настоящего времени в евангельском контексте [11, с. 247].

Глубина предпринятых Флоренским изысканий делает весьма ценным осуществленные им опыты переводов с греческого отдельных мест Нового Завета (ср., например [11, с. 13, 23, 71, 85, 136—137, 177, 189, 190—191, 183—184, 215, 223—230, 238, 239, 330, 333, 351, 418—424, 426] и др.), текстов отцов церкви (ср. [11, с. 139, 263, 292, 293, 310, 313, 314, 343—348, 352, 353, 441—444, 469] и др.).

В некоторых случаях столь же основательный филологический анализ текста Ветхого Завета на древнееврейском языке, как и греческого новозаветного, Флоренский демонстрирует в своих богословских трудах [11, с. 272, 273]. Из отдельных лексических замечаний, касающихся древнееврейского языка (кроме уже упоминавшихся, ср. также о древнееврейских словах со значениями, возводимыми к «культу» [11, с. 193—194]), можно отметить упомянутое в главе о цветовой символике толкование

תְּכֵלֶת техелет «небесно-синий, coeruleus, гиацинтовый» по Филону [11, с. 552].

Во многих из упомянутых переводов и толкований внимание Флоренского сосредоточивалось на богословской терминологии [11, с. 52, 53, 99, 666—668, 669]. Но уже в ранних трудах заметен его интерес к самым разным терминам — геологическим (ср. [11, с. 675]), занимавшим его с детства, математическим (ср. [11, с. 506]), с которыми было связано его университетское образование, медицинским, об обозначениях безумия в разных языках с заключением: «Если наш язык представляет этот психолог. и метафиз. момент под образом пространственного раздробления, то языки романские пользуются для той же цели образом из более привычной для них области,— из области права», ср. русск. «исступление, сумасшествие» — французск. aliénation mentale [11, с. 697]. В подходе Флоренского к значениям терминов, как и любых слов вообще, был особенно значим акцент на их исторической изменчивости. Предваряя более полно сформулированное позднее в лингвистических главах «У водоразделов мысли» различие «психо-физического костяка слова — *фонемы*» [16, с. 351], морфемы — формы слова, по Флоренскому, включающей и коренное значение, выявляемое этимологией, и грамматическую форму, и семемы — постоянно меняющегося (даже в пределах одной речи) значения, Флоренский писал в «Столпе и утверждении истины»: «Как значение известного слова, его „семема", так и слово для выражения известного понятия,— т. е. „морфема" и „фонема" понятия, его термин,— непрестанно меняются. Недостаточно поэтому проследить ни историю одного только термина, ни историю одного только понятия: необходимо и то, и другое» [11, с. 582]. В этой книге по текстам изучена история термина «антиномия», весьма важного и для философской концепции Флоренского, и для лингвистических его воззрений (в этом отношении, как и в других, испытавших воздействие идей Гумбольдта). Флоренский доказывает, что до Канта, чьими антиномиями он занимался специально, этот термин с самого начала (в ранних употреблениях греческого ἀντινομία «внутренняя самопротиворечивость закона», в употреблении латинского antinomia как contentio legum contrarium у блаженного Августина — юриста по образованию и далее) был и оставался юридическим. Отсюда и его использование у Канта — чуть ли не наивысшее философское его достижение, по Флоренскому. «В истории плоского и скучного мышления „новой философии" Кант имел дерзновение выговорить великое слово „антиномия", нарушившее приличие мнимого единства. За это одно заслуживал бы он вечной славы» [11, с. 158, 159]. «Как известно, Кант преподавал все науки, кроме права. Но склад его мышления и всей натуры был насквозь правовой и даже законнический. В частности, „Критика чистого разума", по замыслу своему, есть перенесение в философию идеи тяжбы и даже частностей ея ведения. Нетрудно догадаться, что к Канту и термин „антиномия" попал непосредственно из римского права, так что это соображение еще раз обеспечивает за Кантом право первенства на интересующий нас термин» [11, с. 584]. Для характеристики интереса Флоренского к языковому воплощению философских идей кроме его собственных философских терминов и их определений следует учитывать и многочисленные переводы существенных мест из Платона (ср. [11, с. 29,

171, 439]), Аристотеля [11, с. 81, 275, 471 и др.], Гераклита [11, с. 155, 689—690], Спинозы [11, с. 466, 469], Лейбница [11, с. 76, 77], Суареса [11, с. 517, 518] (интерес к взглядам Суареса, в частности, на язык, оживился совсем недавно), Когена [11, с. 82].

В предисловии к своему Словарю графических символов (Symbolarium) в 1923 г. Флоренский писал: «Выражение мысли фонетическим способом, т. е. при помощи звуков слов, фиксированных в графических формах букв, является достижением развитых культур и обусловливается, без сомнения, наличностью сформированного языка словесного» [25]. В первом выпуске словаря кроме данных о графическом символе точки можно найти интересные сведения и о соответствующем термине и его понимании у пифагорейцев, Лейбница и последующих ученых. В 1929 г. в письме Вернадскому Флоренский писал: «За долгое время моих занятий в области истории мысли, в связи с филологией, историей философии и т. д. у меня накопился значительный материал по истории научной терминологии и отдельных научных понятий и концепций, причем мое внимание особенно привлекали наиболее далеко прослеживаемые исторические корни терминов и понятий... Лишь при известном, редко встречающемся сочетании интересов, подобные вопросы могут быть освещаемы, а мне приходилось пользоваться для освещения не только обычными ресурсами, вроде математики, математического естествознания, философии и т. п., но и прибегать к данным лингвистическим, филологическим и археологическим» (Письмо, датированное 29.IX.1929; см. [26]). Напряженное внимание к терминологии видно в многочисленных статьях, помещенных в «Технической энциклопедии». Так, вопросов номенклатуры он касается в статье об изоляционных электротехнических материалах, отмечая, что из-за засекречивания их фирмами сохранилась «случайность и сложность изоляционной номенклатуры, причем И. э. м. (=изоляционные электротехнические материалы), весьма близкие между собою, иногда даже тождественные, выпускаются на рынок под совершенно различными названиями. Названия И. э. м. в подавляющем большинстве случаев не связаны с физико-химич. природою материалов и производятся от фамилий, имен, начальных букв и т. д., так что могут быть усвоены лишь памятью» [27, с. 920]. В статье о «землях» (корпусных красках мало насыщенных цветов и землистого тона) он отмечает условность названия «земель», присутствующего лишь в каталогах отдельных фирм [27, с. 417]. Особый интерес представляет введенная им самим терминология в связи с классификацией изоляторов, которые, как и технику в целом, он понимал в духе выработанного им противопоставления энтропии и эктропии: «Основная задача техники — направлять энергетич. процессы, суживая неопределенные возможности процессов естественных и тем концентрируя процесс в направлении и области, мало вероятные для процесса естественного. Энергия имеет естественное стремление к деконцентрации, качественной и количественной, т. е. к уменьшению содержания данного вида ее в данной области за счет распространения в другие области. Таким обр., упорядоченность энергии сама собою расстраивается и переходит в беспорядочность; тем самым энергия утрачивает свою техническую ценность в качестве источника упорядоченной работы. Задача техники — бороться с этим процессом, упорядочивая энергию и по возможности удерживая ее в упорядоченном состоянии вплоть до использования. Это достигается уединением, или и з о л я ц и е й, тех или иных процессов от возможности энергетич. обмена с остальной средой» [27, с. 820]. Под влиянием идеи биосферы у Вернадского Флоренский вырабатывает поня-

тие и термин «биоизоляционных» материалов, понимая под ними материалы, «ставящие преграду распространению жизни. В связи с современным воззрением на жизнь как главный фактор энергетических превращений на поверхности земли, как планеты — в биосфере,— биоизоляционные материалы, надо полагать, будут признаны в будущем наиболее важными И.м. промышленности» [27, с. 900]. По мере развития биотехнологии к концу XX в. это предвидение начинает реализовываться.

В статье «Измерение», дающей очень глубокую характеристику неопределенности, выявляемой в любом измерении (хотя статья имеет в виду обычные наблюдения в макромире, тем не менее согласие с боровскими мыслями очевидно), Флоренский касается вопроса о необходимости введения названий для единиц измерения: «Результат всякого И.(=измерения) есть число именованное. Отсутствие в нек-рых случаях названия соответственной единицы о д н и м словом ведет иногда к утверждению об отвлеченности соответственного числа, но — ошибочно, т. к. именованное единицею служит в этих случаях как раз та самая величина, к которой берется отношение» [27, с. 781, 782]. Эта мысль связана с гораздо более общей идеей Флоренского о роли естественного языка для того символического языка, за каковой он признавал физику.

Флоренский принадлежал к числу тех мыслителей XX века, в чьих трудах языку отводилось центральное место (назовем рядом с ним Витгенштейна и Бора). В плане итогового философского труда Флоренского «У водоразделов мысли (Черты конкретной метафизики)» первый выпуск заканчивается главами «Мысль и язык (Наука, как символическое описание. Диалектика. Антиномии языка. Термин. Строение слова. Магичность слова. Имеславие как философская предпосылка)» [8, с. 68]. Из этих глав, посвященных лингвистическим и примыкающим к ним семиотическим проблемам философской концепции Флоренского, при жизни автора была напечатана первая — «Символическое описание» [28, с. 80—94]. Посмертно из этих лингвистических глав первого выпуска «У водоразделов мысли» была напечатана (с комментариями С. С. Аверинцева) статья «Строение слова» [16], где суммарно изложены взгляды Флоренского на внутреннюю и внешнюю форму слова. Но, насколько можно судить по плану всего сочинения, и другие его главы, такие, как «Имя рода» (7-я гл.), «Метафизика имени в историческом освещении» (10-я гл.), «Имя и личность» (11-я гл.), должны были затрагивать вопросы философии имени.

В настоящую публикацию входят некоторые из тех исследований П. А. Флоренского о лингвистике и философии языка, которые им мыслились как части большого труда «У водоразделов мысли».

Основной идеей работы Флоренского о символическом описании было представление физики как языка. Эту точку зрения сам Флоренский понимал как развитие и продолжение того взгляда на физическую теорию, которое было предложено Махом еще в 1872 г. и далее поддержано многими крупнейшими учеными конца XIX и начала XX в. Физическая теория, понимаемая как символическое описание, или язык, противополагается объяснению, как оно мечталось, например, энциклопедистам XVIII в. и их последователям. Разбирая противоположность близких ему идей Максвелла классической механике, Флоренский задолго до Карнапа и других логиков Венской школы формулирует мысль о языковой символической структуре. В то же время еще до того, как Бор подошел к своему принципу дополнительности (комплементарности), Флоренский настаивает на возможности многих моделей, исключающих одно единственное объяснение:

ведь в символическом описании перед нами «модели, символы, фиктивные образы мира, представляемые вместо явлений его, но отнюдь не объяснение их. Ведь объяснение притязает непременно на е д и н с т в е н н о с т ь, между тем как эти модели действительно допускают беспредельный выбор» [28, с. 88]. Сходство с боровским принципом дополнительности в особенности очевидно в содержащемся в этой же работе Флоренского рассуждении о как бы противоречащих друг другу моделях: по мысли Флоренского, можно пользоваться и взаимоисключающими «образами подобно тому как нет препятствий пользоваться различною аналитическою символикой» [28, с. 89]. Здесь продолжаются и углубляются мысли, высказанные им еще в первой большой его философской книге в связи с парадоксом Льюиса Кэррола. На этот последний Флоренский откликнулся очень рано и тем самым подошел одним из первых к обсуждению философских следствий непринятия принципа tertium non datur. Напомним, как Флоренский иллюстрирует свою мысль. Излагая посредством записи на формальном логическом языке казалось бы противоречивую фразу «Небо голубое; на закате небо — красное», он пытается разрешить парадокс, понимая во второй половине фразы другой денотат (если воспользоваться более новой логической терминологией) для слова «небо»: «„при закате" наблюдатель не имеет дело с „небом", не наблюдает „неба",— а с чем-то иным,— не с небом; например, если пытаться дать положительный ответ, наблюдатель тогда видит с о л н ц е, хотя и чрез атмосферный слой, чрез „небо"» [11, с. 504]. Эти языковые иллюстрации к логической работе Кэррола интересны еще и тем, что Флоренский как бы дает намек на то, как связать парадоксы Кэррола-логика с опытами сочинения заумных текстов на естественном языке у писателя Кэррола. В то время Флоренский еще подобными текстами не интересовался, но позднее в работе об антиномиях языка Флоренский обратится к примерам заумных сочинений русских писателей — его современников. Заметим, что языковая практика Кэррола до настоящего времени остается в центре внимания лингвистов, изучающих соотношение языка и логики.

Еще интереснее иллюстрация парадокса Кэррола на богословском примере, различные варианты которого и позднее рассматривались в той же связи. Флоренский противопоставляет две точки зрения: «Р а ц и о н а л и с т говорит, что противоречия Священного Писания и догматов доказывают их не-божественное происхождение; м и с т и к же утверждает, что в состоянии духовного просветления эти противоречия именно и доказывают божественность Священного Писания и догматов» [11, с. 504]. Если в этом случае примирение противоречий достигается «на высшей ступени духовного познания» [11, с. 505], то в примере с толкованием слов естественного языка (как «небо») с помощью физических данных Флоренский видит, «что тут логистика вводит нас in medias res научной работы физика» [11, с. 504].

Если занятия Флоренским логическими парадоксами подготовили его к принятию возможных взаимно исключающих друг друга моделей одного и того же явления, то его опыт экспериментатора вел его к выяснению принципиальных ограничений измерения, которые были отчетливо изложены в соответствующей статье в «Технической энциклопедии», где некоторые используемые понятия («неопределенность») достаточно близки к понятийному аппарату квантовой механики. Вместе с тем он тщательно изучает и роль наблюдателя, подчеркивая «условность и произвол, с какими устанавливается граница всякого измеряемого объекта. Находясь в непрерывном взаимодействии с окружающею средою, ни один

объект не разграничен настолько четко с этой средою, чтобы относительно любой точки пространства можно было сказать как о прилежащей либо к объекту, либо к среде; поэтому никогда не может быть указана общеобязательная граница объекта, и даже один и тот же наблюдатель будет намечать эту границу всякий раз по-разному» [27, с. 777].

Для символического описания, по Флоренскому, центральным понятием было описание на естественном языке: «область слова — не менее области сознания, если не более. Все, растворимое сознанием, претворяется в слово» [28, с. 92, 93]. Принимавшийся Флоренским тезис о полной переводимости всех знаков и текстов на естественный язык позднее стал чрезвычайно важным для всего того направления семиотики, которое исследовало вторичные (надъязыковые и подъязыковые) знаковые системы с точки зрения возможностей их перевода на первичную и основную семиотическую систему — естественный язык. Структура естественного языка для Флоренского (как в древнегреческой философии для такого мыслителя, как Аристотель) подсказывает и понимание всей картины физического символического описания мира. Занимавшее в этой связи Флоренского противоположение взглядов на язык как на систему слов и их сочетаний (как позднее в порождающей грамматике) и другой точки зрения, при которой язык (как, например, и в современной риторике) предстает в виде системы речей, позднее интересовало и других лингвистов и философов (через несколько лет идеи, весьма сходные с мыслями Флоренского по этому поводу, разовьет Бахтин, во многом предвосхитивший формулировки Бенвениста). Но для Флоренского несомненно исключительно важным при этом было соотнесение идеи непрерывного, столь важной для математики XIX в., и прерывности, вслед за его университетским учителем Н. В. Бугаевым (отцом писателя Андрея Белого), выдвигавшейся им как основной принцип науки XX в. В своем университетском сочинении Флоренский прямо отмечал, что к пересмотру соотношения двух этих противоположных ориентиров давно звал «Н. В. Бугаев, на лекциях своих и статьях, указывающий значение прерывности как элемента мировоззрения. Само собой понятно, что на работы Кантора, как и на работы Бугаева, почти не обращали внимания. Но смерть прервала исполненный веры призыв Бугаева как раз в то время, когда его идеи, или идеи, подобные его идеям, начали пробиваться из-под камней в разных закоулках науки. Пока они бледны, скромны и не развернулись, так что их можно еще при желании игнорировать. Но стоит только вспомнить „теорию мутаций“ Фриза в биологии, „гетерогенезис“ Коржинского и факты, их подтверждающие, работы Таммана по термодинамике и молекулярной физике, быстро накопляющийся материал по психофизике, изучение сублиминального сознания и творчества в психологии (Du-Prel, Myers и др.), вопросы о психической жизни в целом и т. д. и т. д., чтобы согласиться с этим. Да и само общество, по-видимому, склонно к тем же идеям, или, точнее, к тем же настроениям. Может быть, господствующий индивидуализм, начинающееся общее преклонение перед личностью (ср. „культ героев“ у Карлейля) и т. п. являются не чем иным, как зарею нового, прерывного миросозерцания, хотя часто и в карикатурно-искаженной форме» [3, с. 164]. Намеченный в этой широкой, хотя еще и несколько импрессионистической форме еще в студенческие годы (цитируемый текст датирован 1903 г.), тезис о прерывности как основном принципе науки XX в. развивается и в последующих философских сочинениях Флоренского. Оттого, опережая на несколько десятилетий тенденции научного развития, Флоренский рано начинает настаивать на необходи-

мости развития дискретной математики. Несомненно гениальной догадкой Флоренского, делающей его одним из идейных предшественников последующей кибернетики, была связанная с развитием мысли о роли дискретной математики идея использования алгоритмов в теории «механизмов, передающих и преобразующих не большие количества энергии, а некоторые смысловые соотношения, знаки, сигналы» [29]. Идея моделирования математических задач на кибернетических устройствах, в то время относительно простых по техническому (электрическому) воплощению, была в одном случае им не только намечена, но и решена экспериментально еще в 1921 г. [30] и далее детально продумывалась вплоть до последней напечатанной при жизни статьи, прямо стоящей на пороге кибернетики: она была посвящена созданию физических устройств, обслуживающих математику [31]. При этом планировавшиеся Флоренским машины для преобразования знаков мыслились им как особого рода символические системы, т. е. он вполне отдавал себе отчет в их семиотической роли. Исследование значимости физических моделей для математики в этой более поздней работе было прямым развитием тезиса о роли механических моделей в статье о символическом описании. Принимая разделение более жесткой аксиоматизированной немецкой и французской науки и более свободно организованной английской, он определенно высказывался в пользу последней, поясняя свой вкус сравнением: английские сады ему ближе французских парков.

В работе о символическом описании вывод о том, что физика есть язык, Флоренский далее распространяет и на другие науки, отмечая, что объяснительное начало в них есть в той мере, в какой в них присутствует и физика (которую, в свою очередь, он ранее свел к описанию). В остальных науках Флоренский (как в наше время Рене Том, возродивший терминологию научных работ Гете), за вычетом объяснительного участия в них физики, не видит ничего, кроме «ч и с т о г о описания, явного о п и с а н и я морфологии в самом широком смысле слова, если науку о строении чего бы то ни было, будь то звездные миры или мельчайшие организмы, назвать в широком смысле морфологией» [28, с. 94]. Напомним, что через несколько лет после публикации этой статьи Флоренского Пропп напишет свою «Морфологию сказки», в которой вдохновится все теми же принципами морфологии Гете.

Согласно выводам цитируемой статьи Флоренского, при возможности дальнейших классификационных уточнений «останется общее основоначало всех наук — именно то, неотделимое от существа их, что все суть о п и с а н и я д е й с т в и т е л ь н о с т и. А это значит: все они суть я з ы к и т о л ь к о я з ы к. Так мы подошли к острому афоризму аббата К о н д и л ь я к а : „Une science n'est qu'une Langue bien faite — всякая наука есть лишь хорошо обработанный язык“, что в смягченном виде повторил и Дж. Ст. М и л л ь, заявив: „Язык есть каталог catalogue raisonné понятий всего человечества“» [28, с. 94].

По сути программа такого подхода к науке была намечена Флоренским гораздо раньше именно по отношению к науке о языке. Флоренский настаивал на символическом статусе лингвистической теории. Этим, в частности, Флоренский, как отмечалось выше, мотивировал особое отношение к этимологии, которое можно было бы назвать игровым.

Согласно общему плану книги «У водоразделов мысли», в ней за главой «Наука как символическое описание» в части «Мысль и язык» должен был следовать раздел «Диалектика. Антиномии языка». Если в цитируемой ранней книге [11] Флоренский сосредоточен еще на общем раскрытии по-

нятия противоречия [11, с. 143—165] и упоминает идею антиномизма в лингвистике лишь как частный пример [11, с. 686], то в публикуемой главе из «У водоразделов мысли» он подробно разбирает противоположение языка как «вещности» — ἔργον и как деятельности — ἐνέργεια. Последний аспект Флоренский разбирает весьма детально, в связи с этим останавливаясь на сочинениях русских футуристов (упоминается и цитируется также и один из манифестов Маринетти). Хотя в этой работе примеры из футуристических сочинений рассматриваются лишь попутно, тем не менее на основании их анализа Флоренским можно составить представление о том, как он понимал крайние левые опыты авангарда в словесном искусстве, что интересно и для сопоставления с его отношением к авангарду в изобразительном искусстве.

Для сопоставления с семиотическими исследованиями последнего времени в работе Флоренского о языковых антиномиях заслуживает внимания также и заключительный раздел, посвященный опыту философского языка Я. Линцбаха. В относительно недавнее время этот последний послужил предметом тщательного лингвистического и семиотического анализа, предпринятого И. И. Ревзиным [32]. Когда Ревзин говорил, что работа Линцбаха осталась незамеченной, он не знал об исследовании П. А. Флоренского.

По плану книги «У водоразделов мысли» за главой об антиномиях языка должна была следовать глава «Термин». К ней примыкает отрывок лекции по спецкурсу «Из истории философской терминологии». По нему видно, насколько непосредственно связана друг с другом эта глава и прокомментированная выше глава о науке как символическом описании. В последней речь шла о науке как языке. Здесь же Флоренский уточняет собственно языковую сторону дела: «Всякая наука — система терминов... Не ищите в науке ничего кроме терминов, данных в их соотношениях» [9, с. 231—291]. В главе о термине Флоренский стремится показать, как в одном слове могут соединяться антиномичные полюсы языка (поэтому, очевидно, эта глава и должна была следовать за главой о языковых антиномиях, а не сразу за главой о символическом описании, которую она непосредственно продолжает). В качестве отдельного экскурса в главу входит и детальное этимологическое и историческое рассмотрение латинского слова *terminus* «термин». Основные его выводы вполне остаются в силе и по сей день, уточняясь благодаря открытию родственного хеттского глагола *tarḫ-* «побеждать» и его производных.

Последней по плану в этой серии статей должна была быть работа о строении слова. Высказываемое в ней разграничение лингвистических уровней и соответствующих им единиц было намечено уже в книге «Столп и утверждение истины». В статье о строении слова особенно хорошо видно — и в подборе примеров из русской поэзии, в игровом подходе к этимологии — как собственные языковые игры Флоренского, носящие художественный характер, смыкаются с его раздумьями о слове и философии языка. От наукообразной формы первых своих статей Флоренский все дальше уходил в сторону такого синтетического и синкретического творчества, где религия, философия, наука и искусство выступают вместе, а язык служит одновременно и темой высказывания, и поэтическим орудием мысли. В этом именно отношении Флоренский поднимается над ограничениями своей среды и времени и показывает путь к новым и небывалым духовным вершинам.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Флоренский П. А.* Природа // Литературная Грузия. 1985. №№ 9, 10.
2. *Демидов С. С.* Из ранней истории Московской школы теории функций // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 124—130.
3. *Флоренский П. А.* Введение к диссертации «Идея прерывности как элемент миросозерцания» / Публикация и примеч. Демидова С. С. и Паршина А. Н. // Историко-математические исследования. Вып. 30. М., 1986. С. 159—177.
4. *Игумен Андроник (Трубачев).* Священник Павел Флоренский — профессор Московской Духовной академии // Московская Духовная академия. 300 лет (1685—1985). Богословские труды. Юбилейный сборник. М., 1986. С. 226—246.
5. *Флоренский П. А.* Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях // Декоративное искусство СССР. 1982. № 1. С. 25—29 / Предисл. акад. Лихачева Д. С.
6. *Флоренский П. А.* Собр. соч. I. Статьи по искусству / Под общ. ред. Струве Н. А. P., 1985.
7. *Florenskij Pavel.* La prospettiva rovesciata e altri scritti / A cura di N. Misler. Roma, 1983.
8. *Флоренский П. А.* Мнимости в геометрии. М., 1985 =Фототипическое переиздание: *Florenskij P. A.* Mnimosti v geometrii // Nachdruck nebst einer einführenden Studie von M. Hagemeister, München, 1985).
9. *Флоренский П. А.* Из неоконченного труда «У водоразделов мысли» // Эстетические ценности в системе культуры. М., 1986. С. 113—132.
10. Стихи Павла Флоренского // День поэзии. '87. М., 1987. С. 212—213.
11. *Флоренский П. А.* Столп и утверждение истины. М., 1914.
12. *Watkins C.* Latin *sōns* // Studies in historical linguistics in honor of G. S. Lane. Chapel Hill, 1967. P. 186—194.
13. *Иванов Вяч. Вс.* Славянский, балтийский и раннебалканский глагол. М., 1981.
14. *Jakobson R.* Selected writings. V. 2. The Hague — Paris, 1971.
15. *Puhvel J.* Comparative mythology. Baltimore — London, 1987.
16. *Флоренский П. А.* Строение слова // Контекст. 1972. М., 1973. С. 348—375.
17. *Herdner A.* Corpus des tablettes en cunéiformes alphabétique. 4.4.41; 3.5.28; 3.5.10. P., 1985.
18. *Albright W. F.* From the stone age to Christianity. Chicago, 1940. P. 282—284.
19. *Аверинцев С. С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 153.
20. *Strindberg A.* Språkvetenskaplige studier // *Strindberg A.* Samlade skkrifter. V 52. Stockholm, 1920.
21. *Аверинцев С. С.* Комментарии к: *Флоренский П. А.* Строение слова // Контекст. 1972. М., 1973. С. 370.
22. *Durante M.* Sulla preistoria della tradizione poetica greca. Parte seconde: Risultanze della Comparazione indoeuropee // Incunabula graeca. V. LXV. Roma, 1976. P. 95, 103.
23. *Флоренский П. А.* «Не восхищение нищева» (Филип. 26—8) (К суждению о мистике) // Богословский вестник. 1915. №№ 7—8.
24. *Slesinski R.* Pavel Florensky's metaphisics of love. N.Y., 1984. P. 21—50.
25. *Флоренский П. А.* Symbolarium (Словарь символов) // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1982. М., 1984. С. 100.
26. *Флоренский А. П.* О работах П. А. Флоренского // Труды по знаковым системам. V. Уч. зап. Тартуск. гос. ун-та. 1971. Вып. 284. С. 502.
27. *Флоренский П. А.* Земли; Измерение; Измерительные материалы; Изоляторы; Изоляционные электро-технические материалы // Техническая энциклопедия. Т. 8. М., 1929.
28. *Флоренский П. А.* Символическое описание // Феникс. М., 1922.
29. *Флоренский П. А.* Пифагоровы числа // Труды по знаковым системам. Т. V. Тарту, 1971. С. 512.
30. *Флоренский П. А.* Вычисление электрического градиента на витках обмотки трансформатора (Применение интегральных уравнений к некоторым вопросам электростатики и прием решений некоторых интегральных уравнений // Бюллетени Технического отдела Главэлектро. Серия IV. М., 1921 (отпечатано шапирографом).
31. *Флоренский П. А.* Физика на службе математики // СОРЕНА. 1932. № 4.
32. *Ревзин И. И.* Современная структурная лингвистика. Проблемы и методы. М., 1977. С. 41—43.

ФЛОРЕНСКИЙ П. А.

АНТИНОМИЯ ЯЗЫКА*

I. И наука, и философия — описание действительности, т. е. язык, тут и там имеющий свой особый закал. Словесная природа, как науки, так и философии — это их общее, родовая стихия их жизни. Но они противоположны и противоречивы в своих устремлениях. Несокрушимым кристаллом хотела бы отвердеть наука; огненным вихрем, ветром вьющимся, коловращением, упругим как гиростаты,— явит свою определенность философия. Неизменности и окончательности противостоит пульсирование и рост. Охранительная и старческая, в существе своем, наука соперничает с юной и безоглядочно зиждущей силой философии. Наука приспособляет к себе, философия — приспособляется. Та субъективна, эта объективна. Ту, вопреки заверениям ее адвокатов, занимают лишь ею построенные схемы и фикции; эта, как росток, тянется к свету и воздуху Божиего мира. Та — искусственна и в искусности своих имитаций жизни, в своих фарфоровых цветах, железных венках, цементных скалах, анилиновых красках и государственных конституциях, в условной, но выгодной, посадке всей мысли видит обетованную землю своих странствований; эта, напротив, об одном старается: о чистом оке, мир созерцающем.

II. Такова противоположность того и другого уклона словесной деятельности. Но это — именно уклоны, направления деятельностей, но еще не самые деятельности. И философ, вопреки подвигу мысли, имеет в себе затверделости, заученные схемы и фикции, повредившие его мысль, и в уме заросшие, инородные тела. И в философе мысль не всегда и не всецело течет расплавленной струей, но часто, даже у возвышеннейших, увлекает за собою куски шлаков и части остывшей коры. И его ум связывается порою пристрастиями к бэконовским *idola*. Исторически являемая, философия имеет немало частей и элементов науки или, еще хуже, наукообразных включений, имеет их неустранимо, не по несчастной только случайности, как поток не может не увлекать своими волнами береговых обвалов и не нести кусков каменистого своего ложа, но — и по необходимости внутренней: держаться за твердые ограды и не выпускать из рук опоры, покуда не приобретена еще способность блюсти подвижное равновесие ритмом разносторонних склонений. Вот почему философы не всегда умеют и не всегда хотят освободиться от понятий и приемов современной им науки.

И оказывается: когда воздушная перспектива истории достаточно сгладит пестроту и резкость философских трудов, даже величайших, то глазу исследователя не останется незамеченной, среди волнующихся линий вечно живущей их диалектики, гриммировка научности, бывшая некогда под цвет современной ей науки и потому не резавшая взгляда, но ныне, с новым видом самой науки, кричащая о себе, о своей,— теперь уже мнимой! — научности: так одежда, когда-то скроенная по последней моде,— среди подобных ей, мало заметна, но, извлеченная из сундука через пятнадцать-двадцать лет, вопиет о своей притязательности. Так иной философ, не юный душею, а лишь молодящийся, вынужден прибег-

* Статья П. А. Флоренского «Антиномия языка» печатается по тексту «Studia Slavica Hung.» Т. 32, № 1—4. 1986. Текст подготовлен Н. К. Бонецкой, В. Н. Никитиным, А. С. Трубачевым, М. С. Трубачевой и К. П. Флоренским (†9 апреля 1982 г.); комментарий Н. К. Бонецкой. Журнал «Вопросы языкознания» печатает полный текст статьи П. А. Флоренского, с некоторыми сокращениям в комментариях.

нуть к вставным зубам и парику. Но всезоркое время,— увы! — обличит его подделку.

III. И философ имеет нечто условное и мертвенное! Напротив, в груди ученого все-таки бьется живое сердце. Никто, к чести человечества, не думает по науке для себя, в тиши благодарного созерцания Божиего мира; никто не бывает научен в кругу любимой семьи и дорогих друзей. Истинночеловечное есть и в науке.

Незаметно для творцов ее, переливается оно и в научные схемы их трудов. К счастью и чести человечества, научные произведения далеко не столь научны и потому не столь нечеловечны и безличны, как о них свойственно думать широкой публике их современности. За свежей штукатуркой и лоснящейся краской самоновейших научных схем, все-таки стоит воплощение человеческих замыслов. Трагический злодей театральных подмостков в душе все же добрый малый. Налетает едкое время, и штукатурка отваливается, и чистые линии человечности выступают взору. Те, кто вглядывался в устаревшие научные трактаты, знают радость этого откровения лица — за безличными схемами, которыми сочинитель думал скрыть себя от общества. Так в *mixtum compositum* горделивой, условной манеры и родника творческих вдохновений, именуемом научным трудом, торжествует робкая Золушка, ее же надменной сестре воздается должное.

IV. Повторяю: противоположность науки и философии была намечена их устремлениями, уклонами, по которым движутся обе они. Но наличная действительность как той, так и другой, может быть и далекою от поставленных ими себе задач. Наука, жесткая и непреклонная по замыслу своему, на деле, в историческом своем раскрытии, имеет текучесть и мягкость. Философия же, подвижно-стремительная и гибкая,— такою хочет быть,— не чужда жесткой и догматической хватки. Есть и нечто диалектическое в науке, хотя она не диалектична по своему уклону, как есть нечто систематическое в философии, вопреки ее вражде духу системы. Философия и наука глубоко различны по направлению своей воли, но в своих осуществлениях они разнятся лишь мерою явленности каждого из обоих направлений. Как же вникнуть в самые уклоны той и другой? Чтобы понять уклоны их, надлежит рассмотреть не исторические наличности их, а пределы того и другого устремлений.

Как наука так и философия, будучи модусами языка, будучи своеобразными полярно-устремляющимися случаями употребления языка, несмотря на свою противоположность друг другу, все же суть, в существе своем,— одно, язык. А если так, то, значит, несовместимое противоречие их уклонов лежит не над поверхностью языка, но продолжается и коренится в самом языке. Их расхождение есть противоречивость тенденции самого языка; наблюдая язык, как таковой, даже в его простейших случаях, мы можем усмотреть ту же антиномию,—или, точнее, то же гнездо антиномий, содержащихся в основном противоречивом сопряжении в языке,— антиномию вещности его и деятельности, ἔργον и ἐνέργεια. Вдумываться в эту пару — значит идти к углублению сказанного нами о противоречивости науки и философии.

V. Антиномия языка или, скорее, созвездие этих антиномий, путеводит языкознание не со вчерашнего дня: уже платоновским «Кратилом» один из побегов ее, именно противоречивое сопряжение понятий природы и культуры в вопросе о начале языка, установлено было с полною ясностью. Корень же всех отраслей, именно взаимная необходимость, при взаимной же исключаемости, понятий ἔργον и ἐνέργεια

открыт Вильгельмом фон Гумбольдтом, братом более известного всенародно — Александра; вслед за Гумбольдтом тот же вопрос разрабатывался Штейнталем, а в русской науке обсуждался А. А. Потебнéю и всею его школою. В недавнее время Виктор Анри посвятил тому же и смежным предметам особый трактат[1].

Существо антиномии по Гумбольдту: в языке все живет, все течет, все движется; действительно в языке — только мгновенное возникновение, мгновенное действие духа, отдельный акт в его особливости, притом именно в его наличном осуществлении. Поэтому, человек — творец языка, божественно свободен в своем языковом творчестве, всецело определяемом его духовною жизнью, изнутри. Поэтому, язык есть достояние народа, а не отдельного лица. Таков тезис, или соцветие тезисов гумбольдтовой антиномии. Напротив, антитезис, или соцветие антитезисов, гласит о монументальном характере языка. Слова и правила их сочетания отдельному лицу даются историей, как нечто готовое и непреложное. Языком мы можем пользоваться, но отнюдь мы — не творцы его. Пользуясь же языком, — достоянием народа, а не отдельного лица, — мы тем самым подчиняемся необходимости — оказываемся ничтожною песчинкою в составе народном. Таково суммарное изложение антиномии Гумбольдта. Штейнталь и А. А. Потебня расчленяют ее же более систематически на частные антиномии; таковы:

1. антиномия объективности и субъективности слова;
2. антиномия речи и понимания;
3. антиномия свободы и необходимости;
4. антиномия индивидуума и народа[2].

---

[1] В черновых материалах работы имеются следующие выписки П. Флоренского с указанием источников и литературы вопроса:

H. Steinthal. Die Sprachwissenschaft Wilh. v. Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie. Berlin, 1848;

Р. Гайм. Вильгельм фон Гумбольдт. Описание его жизни и характеристика. Перевод с немецкого. Издание К. Т. Солдатенкова. М. 1898. XIII + 529 + VIII + + 166 стр. (Последние 166 страниц заняты приложенным переводом сочинения самого В. Ф. Гумбольдта «О границах деятельности государства»).

П. Житецкий. В. Гумбольдт в истории философского языкознания.— Вопр[осы] ф[илософии] и псих[ологии], 1900 г., кн. 51, стр. 1—30.

Вильгельм фон Гумбольдт. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. Введение во всеобщее языкознание. Перевод П. Билярского. СПб., 1859. (Первоначально в Ж[урнале] М[инистерства] Н[ародного] П[росвещения] за 1858 и 1859 гг.).

А. Ветухов. А. А. Потебня († 29 ноября 1891 г.) Варшава, 1898 (из «Русс[кого] фил[ологического] вестн[ика]»). Тут же, на стр. 47—59 библиография Потебни и о нем.

[*А. Ветухов*]. Философские вопросы при свете языка. Заметка о III-м томе «Из записок по русской грамматике» Потебни (из «Рус[ского] фил[ологического] в[естника]»). Варшава, 1899.

[*А. Ветухов*]. Язык, поэзия и наука. Харьков, 1894.

И. Белоруссов. Синтаксис русского языка в исследованиях Потебни. Орел, 1901. 258 + XIV стр. Конспективное, постраничное изложение «Из записок по русской грамматике» и др. соприкосновенных работ Потебни. Работа, исполненная с огромным вниманием и отчетливостью, для изучающего работы Потебни и в особенности для желающего ознакомиться с их содержанием — незаменима.

Андрей Белый. Мысль и язык. (Философия языка А. А. Потебни). —«Логос», книга 2-я, М. 1910. Книгоиздательство «Мусагет», стр. 240—258.

Victor Henry. Antinomies linguistiques. Paris, 1896. F. Alcan. (Bibliothèque de la Faculté des Lettres de Paris, II).

Об антиномизме языке см. также в работе *П. Флоренского* «Столп и утверждение Истины». М. 1914, с. 147, 686 (библиография).

[2] Извлечение частных антиномий из антиномического по своей сути представления о языке В. Гумбольдта предпринято А. А. Потебней в разделе III трактата «Мысль и язык». В примечании автор говорит, что, излагая антиномии Гумбольдта, он следует Штейнталю.

В новейшей разработке В. А н р и антиномии языка могут быть представлены такою табличкою:

Тезис	Антитезис
I. Природа языка	
«Категория речи, категория языка и наречия, даже категория простого слова, раз только их рассматривают вблизи, суть одни абстракции, не имеющие внешней реальности» [1, с. 3] *.	«Есть наука о речи, которая ставит себе предметом изучения явления жизни речи, т. е. жизни языков и жизни слов» [1, с. 3].
Язык есть ἐνεργεια.	Язык есть ἔργον.
II. Происхождение языка	
«Здравый смысл сам по себе, и при отсутствии какого бы то ни было доказывающего документа, показывает, что язык, как и всякая вещь на свете, должен был иметь начало, а интерес, который связывается с этой высокой оценкой человечества, был всегда могущественным побудителем отыскать его начало» [1, с. 25].	«Начало языка есть проблема не только недоступная языкознанию, но и такая, что все документы, которыми хвалится языкознание или скопит в будущем, не могли бы никогда дать ему провидеть даже наиболее отдаленное ее решение» [1, с. 25].
Язык существует θέσει.	Язык существует φύσει.
III. Мысль и язык	
«Из соображений о развитии человеческой речи вообще и о развитии речи цивилизованного ребенка в частности, следует с очевидностью, что наличная речь уже давно перестала быть инстинктивным переводом душевного состояния и что она никогда не сможет стать сознательным воспроизведением нашей внутренней интеллектуальной жизни: — а это сводится к тому, что речь никогда не адекватна своему предмету» [1, с. 47].	«Речь всюду слывет за некоторое выражение мысли; на деле, для человека она есть единственно возможный способ сообщать свою мысль и, если бы вопросить сознание обыкновенных говорящих субъектов [т. е. не философов, анализирующих язык.— П. Ф.], то не нашлось бы ни одного, который бы не верил, что говорит в точности то, что он думает, или, что он думает, то, что говорит» [1, с. 47]
Слов меньше, чем мыслей.	Слов более, чем мыслей.

VI. Такова новейшая формулировка антиномий языка. Но более развитое изложение их мы предпочитаем дать все же непосредственно по Вильгельму фон Гумбольдту, а не руководясь последующими за ним исследователями тех же вопросов. За исключением, разве, одного только Макса М ю л л е р а, они отступают от философско-познавательной критики языка и вступают на путь психологизма, т. е. стирают отчетливость существа вопросов. Ни один образованный человек не должен отговариваться незнанием воззрений Гумбольдта. Поэтому я изложу вам * занимающий нас вопрос по возможности собственными словами этого острого и проникновенного мыслителя, пользуясь при этом итогом целожизненных его размышлений,— сосредоточенном в книге под заглавием «О различии

* В скобках первая цифра соответствует номеру источника в списке литературы, затем идет номер страницы в источнике.

* Основу труда «У водоразделов мысли» составляли лекции П. А. Флоренского 1916—1917 гг. Подготовляя книгу, он сохранял форму обращения к аудитории.

организмов человеческого языка», изданный уже по смерти его автора Александром фон Гумбольдтом.

«Язык, как он есть в действительности, представляется непрерывнотекущим и преходящим с каждою минутой. Письменность делает его, повидимому, неподвижным, но, передавая его неполно, сберегая в виде мумии, она всегда предполагает воспроизведение его живым голосом. Сам же по себе, язык есть деятельность (ἐνέργεια), а не оконченное дело (ἔργον). Истинное определение его должно выражать акт его происхождения (генезис). Язык есть беспрестанное повторение действия духа на членораздельный звук для претворения его в выражение мысли. В строгом и ближайшем смысле, это определение идет к каждому акту живой речи в повседневном употреблении языка; но в сущности и в истинном смысле, под языком можно также разуметь только как-бы совокупность всего, что говорится. Что же обыкновенно называют языком, то в массе слов и правил, как представляют их словарь и грамматика, содержатся только отдельные стихии, производимые живою речью, и то всегда неполные по количеству и всегда требующие нового труда, чтобы узнать свойства происходящей из них речи и составить верное представление о живом языке. По разрозненным элементам нельзя узнать того, что есть высшего и тончайшего в языке: это делается понятным или ощутительным только в составе речи,— новое доказательство, что существо языка состоит в самом акте его воспроизведения. Живая речь есть первое и истинное состояние языка: этого никак не должно забывать при исследовании языков, если хотим войти в живое существо языка. Раздробление же на слова и правила есть мертвый продукт механической работы ученого анализа, а не естественное состояние языка.

Назвать язык деятельностью духа уместно и справедливо уже потому, что дух человеческий мы знаем только из его деятельности и можем представлять себе только в виде деятельности» [2, с. 40]. «Для языка нигде нет места покоя, не исключая и письменности; его мертвая, по-видимому, часть всегда возрождается к жизни мышлением людей, оживает в речи говорящего или в понятии слушающего: одним словом, так или иначе, всегда переходит в субъективную деятельность» [2, с. 60]. Всякий язык раскрывается во всей полноте своей истинной особенности только в живом употреблении, в речи говорящего лица. Только в устах отдельного лица слова получают окончательную определенность. А здесь, в живой речи, никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле, и мелкие оттенки значений переливаются по всему пространству языка, как круги на воде при падении камня. Поэтому, всякое разумение между разговаривающими в то же время есть и недоразумение, и согласие в мыслях и чувствах в то же время и разногласие» [2, с. 62].

«Язык есть орудие образования мысли. Умственная деятельность, сама по себе совершенно духовная и внутренняя, не оставляющая по себе никакого явного следа, посредством слова переходит во внешность и делается доступною чувствам» [2, с. 28]. Основою речи и материальным орудием дара слова является членораздельный звук: человек вынуждает его «у своих органов силою [своей.— *П. Ф.*] души» [2, с. 63]. Но суть дела не в звуке, а в его артикулированности, т. е. расчлененности: дело не в физическом явлении, а «в акте его образования» [2, с. 64], т. е. в «совершаемом с определенною целию действии души на органы произношения» [2, с. 64].

«Основание артикуляции звуков составляет власть духа над органами произношения: своею силою он заставляет их выраба-

тывать звук, соответственно форме своей собственной деятельности» [2, с. 65]. Но «материал языка нельзя представлять [себе — *П. Ф.*] один раз навсегда готовою массой. Не говоря о постоянном образовании новых слов и форм, весь запас в языке, покуда он живет в устах народа, непрерывно производится и воспроизводится собственною силою говорящих. Он воспроизводится, во-первых, целым народом, которому язык обязан своею формой, потом — в развитии дара слова у детей, и, наконец, в ежедневном употреблении между людьми. Неизменная готовность слов по мере надобности в каждую минуту никак не может быть делом одной памяти. Никакая память не могла бы удовлетворить беспрерывным и разнообразным требованиям мысли для ее выражения, если бы говорящий не имел ключа к образованию слов в своем инстинктивном чувстве. Даже чужим языком нам всегда удается овладеть не иначе, как посредством усвоения тайны его образования, мы овладеваем сю мало-помалу, только посредством упражнения, но все же потому, что в изучаемом языке есть или генетическое сродство с собственным нашим языком, или хотя общечеловеческое сходство в основании. Условия изучения мертвых языков почти те же. Правда, их материал для нас уже оконченное, замкнутое целое, в отдаленной глубине которого только при особенном счастии удается исследованию делать открытия. Но и мертвые языки изучаются не иначе, как посредством усвоения некогда жившего в них начала: их изучение, хотя на минуту, но действительно вызывает их к жизни, потому что язык нельзя изучать, как высушенное растение. Язык и жизнь — неразлучные понятия, и изучение языка всегда есть его возрождение» [2, с. 105]. Итак, язык —«свежее, животрепещущее создание духа» [2, с. 182]. «Так как язык, как уже не раз было замечено выше, всегда имеет только идеальное бытие, в умах и душах людей, и никогда не превращается в мертвое вещество, хотя бы нашел себе могилу в камне или металле; так как и сила мертвого языка, сколько она еще может быть нами ощущаема, по большей части зависит от собственной нашей силы оживлять его своим духом: то в языке точно так же, как в неугасимо-теплющемся светильнике мышления, не может быть минуты истинного застоя. Непрерывное развитие под влиянием умственной силы каждого говорящего составляет его природу» [2, с. 176]. «Ясно само собою, что язык, наиболее соответствующий духу и живее возбуждающий его деятельность своим строением, наиболее должен сохранить силу из себя самого производить все новые образования, которые ведет за собою течение времени и судьба народа [...]. Язык, как в отдельном слове, так и в связной речи, есть акт, истинно творческое действие духа; а в каждом языке этот акт есть действие индивидуальное, совершаемое со всех сторон определенным образом» [2, с. 235]. Итак, язык «может принадлежать только существу, одаренному самосознанием и свободой, и происходит в нем из глубины его индивидуальности, для него самой неисследимой, и из деятельности дарованных ему сил. Оно вполне зависит от энергии и от формы того толчка, которым человек, без участия своего самосознания, дает движение всей своей духовной индивидуальности [...]. От этой связи с индивидуальною действительностью [...] это развитие подчиняется вместе условиям, окружающим человека в мире и даже оказывающим свое влияние на акт его свободы» [2, с. 278]. «Полное значение слово получает только в составе речи» [2, с. 192], и только по оттенкам слов, понятым из состава речи, можно понять народное миросозерцание,

выражающее в языке духовный склад народа и национальный характер. «Только при строгом разборе, но зато определенно и ясно, характер сказывается в различном мировосозерцании народов, как оно выражается оттенками значения слов. Выше [...] я объяснил, что едва ли хотя одно слово разными лицами представляется одинаково; разве только оно употребляется в известную минуту в виде вещественного знака своего понятия. Поэтому можно прямо утверждать, что в каждом слове есть что-то невыразимое самими звуками и что слова разных языков, означающие, в целом, одни и те же понятия, все-таки не настоящие синонимы. Этих оттенков, судя строго и точно, нельзя уловить посредством логического определения, и часто можно только как бы указывать место, занимаемое ими в области, к которой они принадлежат [...]. Настоящее же место для разнообразия оттенков значения собственно в именах умственных понятий. Здесь в одном языке слово редко выражает то же самое, что в другом, без того, чтобы не было между ними ясного различия. В языках грубых и необразованных народов, мы встречаем, по-видимому, противное, потому что не понимаем тонких оттенков значения слов. Но тщательное вникание в другие, высоко-образованные языки предостерегает от этого опрометчивого заключения, и сравнение однородных выражений, синонимика нескольких языков, как есть синонимика одного языка, может повести к значительным результатам. При сильном умственном движении, эти разницы значений, если разыскивать их до тончайших оттенков, как бы текут в языке непрерывным потоком. Каждый век, каждый самостоятельный писатель невольно прибавляет или переиначивает что-нибудь, потому что не может не коснуться языка своею индивидуальностью, а она требует от него иного, своеобразного выражения» [2, с. 211].

Итак, в языке все живет, все течет, все движется. Действительно — только мгновенное возникновение, мгновенное действие духа в его особенности. Таков тезис Вильгельма фон Гумбольдта или иначе выраженный, в новейшей разработке Виктора Анри, он гласит: «Категория речи, категория языка и наречия, даже категория простого слова, раз только их рассматривают вблизи, суть одни абстракции, не имеющие внешней реальности» [1, с. 3].

Но этому тезису противостоит антитезис. Выраженный вышеупомянутым В. Анри, он гласит: «Есть наука о речи, которая ставит себе предметом изучения явления жизни речи, т. е. жизни языков и жизни слов» [1, с. 3].

Иначе говоря, слова и правила их соединения отнюдь не абстракции от деятельности нашего духа, но напротив,— реальности, стоящие перед ним, его обусловливающие. Потому-то и возможна лингвистика, наука о речи. Если в доказательстве тезиса настойчиво утверждалось: «ἐνέργεια, а не ἔργον», то теперь приходит черед противо-утверждению: «нет, именно ἔργον, а не ἐνέργεια». Мы опять приведем ряд мест из труда В. Гумбольдта, но заранее отметим, что на своем антитезисе ему нечего было особенно настаивать, ибо антитезис-то и составлял, в своей односторонности, предмет борьбы и твердый догмат всего XVIII века, как среди богословствующих языковедов, видевших в языке готовый дар Божий, так и среди философов-вольнодумцев, объясняющих язык теорией нарочитого изобретения. Заслугой Гумбольдта было открытие тезиса об языке, как ἐνέργεια, а не утверждение антитезиса об языке как ἔργον.

Язык «всеми своими корнями и тончайшими их фибрами [...] сплетен с национальным духом» [2, с. 4], он —«произведение национального духа» [2, с. 4] и «глубоко входит в умственное развитие человечества» [2, с. 6],

так что «в языке можно узнать всякое состояние умственного развития народа» [2, с. 6]; мало того: «Первоначально язык исходит из такой глубины человеческой природы, что его нельзя назвать произведением или творением самого народа: он видимо обнаруживает в себе самостоятельную силу [...]. С этой точки зрения, язык не есть произведение деятельности, а невольное излияние духа; не дело народа, а дар, назначенный ему в удел его судьбою. Народ употребляет язык, не зная, как он образовался» [2, с. 7]. Круг первобытных форм языка «кажется, теперь уже замкнут, и, судя по нынешнему состоянию развития сил человека, не может вновь открыться [...]. Язык [...] имеет [...] самостоятельную жизнь, как бы вне человека, и господствует над ним своею силою» [2, с. 12].

«В какой мере язык благоприятствует или ставит затруднения ясности и правильной связи понятий? В какой мере удерживает чувственную наглядность в представлениях миросозерцания? Как действует своим благозвучием на ум и чувство, то успокаивая их подобно гармонии, то возбуждая их энергию? Вот в чем состоят истинные преимущества языков друг перед другом, — в степени их способности давать то или другое настроение всему мышлению, всей умственной деятельности человека. А способность эта зависит от свойства первоначального устройства языков, от известного рода их органического построения, от их индивидуальной формы» [2, с. 21]. Язык может совершенствоваться, делаться более ясным, более наглядным, более благозвучным. «Но все эти успехи дальнейшего образования языка достигаются только в тех границах, какие положены его первоначальным устройством. Народ может сделать свой несовершенный язык органом такого рода идей, к каким он не мог бы повести своим природным устройством; но чрез это не уничтожаются внутренние ограничения, положенные умственному развитию в его первоначальном устройстве: они останутся препятствием высшему образованию и самого языка. Даже заимствованное у других с течением времени, язык, усваивая себе, видоизменяет сообразно с своею собственною формой» [2, с. 21], —«так как языки [...] из века в век переходят по преданию [...], то отношение настоящего к прошедшему имеет всю свою силу в их образовании. Отдельное лицо всегда зависит от своего целого: от народа, от племени, к которому принадлежит народ, от целого человечества. Его жизнь, с какой стороны ни возьмем ее, связана с обществом [...]. Умственное развитие отдельного лица, даже при самом глубоком затворничестве его в душе своей, возможно только посредством языка, а язык требует другого лица, которое понимало бы его» [2, с. 29]. «Так как форма языков всегда непременно национальна, то непосредственными деятелями в создании их бывают, очевидно, сами народы» [2, с. 32]. Однако, «из опыта мы ничего не знаем об этом творении языков: в истории нет даже ничего подобного, чтобы судить об этом по аналогии. Если мы говорим о „языках первобытных“, то они первобытны для нас потому только, что мы не знаем их составных частей, более древних» [2, с. 32]. «Языки возникают при одних и тех же условиях с проявлением силы человеческого духа и в то же время делаются для него вдохновительным началом [...]. Язык и национальный дух возникают не порознь, не один из другого, не один после другого, но оба составляют совершенно одну и ту же, нераздельную деятельность умственной силы народа [...]. Мы различаем интеллектуальность и язык, но в действительности этого различия не существует. Мы справедливо представляем себе язык чем-то выше человека и не можем признать его делом человеческим наравне с другими произведениями ума;

но мы увидели бы, вероятно, иное, если бы сила человеческого духа была нам доступна не в одних только явлениях своих, а в самом существе, в первоначальном источнике человеческих индивидуальностей, на которые указывает уже и язык, так как он выше отдельных лиц» [2, с. 36—37]. «Язык представляет бесчисленное множество частностей: эта бездна слов, правил, аналогий, исключений, как ни сортируй их, все кажется каким-то хаосом. Смотря на эту пестроту, недоумеваешь, как приравнять ее к простоте идеи человеческого духа [2, с. 39]. Но отыскав общий источник этих частностей, можно «соединить разрозненные части в один образ, в органическое целое» [2, с. 39]. Чтобы сопоставлять языки между собою, надо всматриваться в их форму и «уяснять себе способ, посредством какого каждый язык решает главные вопросы, составляющие задачу при образовании всякого языка вообще» [2, с. 40]. Иными словами, возникает понятие о форме языка. Что же такое форма языка? —«Постоянное и однообразное в [...] деятельности духа, претворяющей органический звук в выражение мысли, быв понято в полной совокупности и представлено систематически, составит то, что мы называем формою языка [...]. Ее, очевидно, нельзя считать за отвлеченность, искусственно производимую наукой. Вообще, было бы весьма ошибочно — представлять ее каким-то идеальным существом вне действительности. Форма языка есть живое, индивидуальное расположение народа действовать в образовании языка так или иначе своим умом и чувством. Но нам эта деятельность доступна не в непрерывной целости внутреннего стремления, а только в отдельных ее действиях, и нашей любознательности не остается ничего другого, как только замечать одинаковые черты в этих действиях и совокуплять их в мертвое общее понятие. Поэтому наши наблюдения дробны, наше знание отвлеченно: это неизбежно; но сама в себе форма языка есть живая и во всех подробностях одна и та же деятельность силы народного духа.[...] Общее впечатление, как нельзя более ясно и убедительно дает чувствовать известные свойства языка, а между тем чувства этого никак не удается уловить отчетливою мыслию и изложить удовлетворительно. [...] Индивидуальность резко кидается в глаза и ощутительно дает узнать себя чувству. Языки в этом отношении точь-в-точь, что физиономии: сравнивая их между собою, живо чувствуешь особенности и ясно видишь сходства; а между тем чувства этого не подведешь ни под какой масштаб, и никакое описание подробностей, ни поодиночке, ни в совокупности, не даст удовлетворительного понятия об индивидуальной особенности той или другой физиономии. Индивидуальность физиономии состоит в совокупности всех черт; но совокупность эта понимается только чувством и, вследствии того, понятие об ней зависит от индивидуального взгляда: одна и та же физиономия одному представляется так, другому иначе. Язык, как излияние народно-индивидуальной жизни, поражает и ясностью общего впечатления на чувство и неуловимостью этого впечатления для рассудка» [2, с. 42—43]. Эта индивидуальность языка и есть его форма. Но под формою не должно разуметь только так называемую грамматическую форму; понятие о форме языка простирается далее правил словосочинения и словопроизводства, т. е. грамматики и словаря, ибо к области формы прямо принадлежит образование самых коренных слов. «Форма языка, по самому понятию своему, есть одинаковое воззрение на отдельные элементы, составляющие, в противоположность ей, материю» [2, с. 45], под каковою Гумбольдт разумеет «звук вообще» [2, с. 44] и «совокупность чувственных впечатлений и невольных движений духа, предшествующих образованию понятия, которое совершается уже

с помощью слова» [2, с. 44—45]. «Такая одинаковость воззрения есть в каждом языке, и каждый народ усвоет себе язык своих предков посредством этого воззрения» [2, с. 45]. Язык, по самой природе своей, есть средство объективировать субъективный наш мир. «Представление, претворенное в слово, делается собственностью многих. Переходя к другим, оно входит в состав общего умственного достояния человечества, которое каждому отдельному лицу принадлежит в целом объеме...» [2, с. 51]. В акте говорения «язык переносит из природы в душу человека не одни разрозненные элементы, а вместе и то, что представляется в ней нашему взору связывающею их формою» [2, с. 58]. Так устанавливается смысл объективной стороны языка.

«Язык, как масса всего, произведенного живою речью, не одно и то же, что самая речь эта в устах народа [...]. Язык в целом объеме своем содержит в себе все, что претворено им в звуки. Но как материал мышления и возможность его разнообразных сочетаний никогда нельзя истощить совершенно, так беспредельно и содержание языка, как представителя предметов мышления и их взаимной связи. Язык вместе с сформированными элементами, в них же самих представляет разные способы продолжать работу ума по данным образцам и указанному направлению. Сформировавшиеся элементы составляют некоторым образом мертвую массу, но в то же время содержат в себе живой зародыш нескончаемых формаций. На каждом пункте и в каждую эпоху язык, как сама природа, является человеку, в противоположность известному и передуманному им, неистощимым рудником, из которого он может извлекать до сих пор неизведанное его умом и неиспытанное чувством» [2, с. 58—59]. За пределами постигаемого беспрестанно открывается человеку «взгляд на бесконечную перспективу массы, пока еще темной, но способной принимать все более и более определенные очертания. Такую неизведанную глубину язык представляет в себе с двух сторон, потому что и в предыдущем своем течении он исходит из безвестного нам богатства, которое доступно нашему познанию только до известного градуса широты, а потом мало-помалу совершенно исчезает из виду, оставляя в нас только чувство своей неисследимости» [2, с. 59]. В языке «угадываешь, как к современности примыкает самая глубокая даль прошедшего, потому что язык прошел чрез чувство прежних поколений и хранит в себе их дыхание: эти прежние поколения связаны с нами в родовой и семейный союз употреблением тех же самых звуков языка, которыми и мы выражаем свои чувства [...]. В языке накопляется запас слов и правил, которые дают ему самостоятельную силу, действующую в продолжение тысячелетий. Выше мы объяснили, что, мысль, переходя в слово, делается объектом мыслящего ума и как бы извне на него действует. Но в то же время мы заметили, что объект этот образуется преимущественно из самого субъекта и действие исходит из того же, на кого оно обращено. Теперь нам предстоит противоположный взгляд, в котором язык является действительно посторонним для субъекта предметом, и его действие получает свое начало вне того круга, на который обращено [...]. Язык непременно предполагает двоих, а в действительности принадлежит всему человечеству. Уже и в письменности он хранит в себе дремлющую мысль, которую наш ум только воспроизводит при чтении: так и вообще язык имеет самостоятельное бытие, и хотя действительную жизнь получает только в употреблении между людьми, но в то же время, в существе своем, он не зависит от отдельных лиц. Эти два взгляда, в которых язык представляется и чуждым душе человека и принадлежащим ей, зависящим и независящим от нее, действительно в нем совмещаются и составляют особенность существа

его. Нельзя и не должно избегать этого противоречия, представляя себе язык в некоторых частях чуждым душе и независимым от нее, а в других — полною ее собственностью» [2, с.59]. «Соображая, как язык действует на каждое поколение всем, что испытал он в предыдущие века, и как против этой массы вековых приобретений на сцене истории является сила только одного поколения, и то не исключительно она одна, потому что с каждым новым поколением доживают свой век старшие, — соображая все это, не трудно понять, как незначительна должна быть сила отдельного лица в сравнении с собственным могуществом языка. Язык дает живо чувствовать каждому человеку, что он не более, как частица целого человечества» [2, с. 61]. «Язык, как видно из самого существа его, ощущается душею во всем его объеме: каждая частность, взятая отдельно, соответствует в нем другой, хотя бы она еще не была ясно сознана, и всему целому, происходящему или, лучше сказать, имеющему произойти из общей суммы явлений языка и господствующих в них законов» [2, с. 82]. «Гений языка должен обладать прозорливостью, простирающеюся далее отдельных звуков: при образовании их он должен инстинктивно предчувствовать всю систему звуков, какая понадобится языку для его индивидуальной формы [...]. Язык можно сравнить с широкою тканью, в которой каждая нить более или менее заметно переплетена со всеми другими. Пользуясь языком в каком бы то ни было отношении, человек всегда касается только одной части этой великой ткани, но всегда поступает при этом так, как будто бы в ту же минуту он имел перед глазами все, с чем часть эта состоит в неизбежной связи и во внутренней гармонии» [2, с. 69]. Другими словами, язык предстоит духу, как целое, уже готовое, сразу обозреваемое, хотя, в то же время он — только по-мгновенно творится духом и существует лишь постольку и лишь тогда, поскольку и когда творится. Он есть, говоря сравнительно, «кристалл», готовое орудие, которым народному духу предстоит пользоваться и в котором предстоит ему воплощаться.

VII. Таково противоречивое устройство языка, слагающегося из антиномий. Но язык — живое равновесие ἔργον и ἐνέργεια, «вещи» и «жизни». Точнее сказать, именно противоречивостию этою, в ее предельной остроте, и возможен язык — вечный, незыблемый, объективный Разум, пречеловеческий λόγος и он же — бесконечно близкий душе каждого, ласково-гибкий в своем приноровлении к каждому отдельному сердцу, всегда индивидуальный, в каждый миг свой, в каждом своем движении — индивидуальность выражающий — поскольку есть что выразить.

Язык — важный и монументальный — огромное лоно мысли человеческой, среда, в которой движемся, воздух, которым дышем. Но это он же — лепечущая затаенность наша, трепетное сердце младенца, сокровенная песнь нашей внутренности, душа души в нас. Мы дорожим языком, поскольку признаем его объективным, данным нам, как бы наложенным на нас условием нашей жизни; но говорим воистину лишь тогда мы, когда мы же, сами, заново переплавив язык до малейших его изгибов, заново отливаем его по себе, однако продолжая всецело верить в его объективность. И мы правы: ибо личная наша мысль опирается не на уединенный разум, коего, самого по себе вовсе нет, но на Разум Соборный, на вселенский λόγος, и слово индивидуальное выговаривается не другой деятельностью, чем та, которая рождает и растит самый язык. Нет индивидуального языка, который не был бы вселенским в основе своей; нет вселенского языка, который бы не был в своем явлении — индивидуальным.

VIII. Но равновесие обоих начал блюдется в процессе: живущим язы

ковым творчеством. Попытка творить язык, когда он не творится, а сочиняется,— разлагает антиномию языка. Живое противоречие диссоциируется; тогда получает перевес либо сторона ἔργον, либо сторона ἐνέργεια. На первом полюсе тогда строятся искусственные языки. Пафос их — рациональность. В языке не должно быть, по замыслу этого рода извратителей языка, не должно быть ничего непредусмотренного, никакого индивидуального творчества, никаких своеобразных мест и сторон, ничего такого, что не могло бы быть оправданным обще-годною полезностью,— причем, что́ именно полезно — устанавливает некая законодательная воля нового языко-творца.

Русские «должны» принять то-то и то-то в языке, немцы «должны», французы «должны», только сам Заменгоф, по-видимому, никогда ничего не был должен,— было замечено некогда Лескиным по адресу изобретателя «всемирного языка» эсперанто. То же должно быть повторено и обо всех изобретателях искусственных языков: каждый из них мнит себя сверхчеловеческим законодателем, выкраивающим по-своему всемирную историю, во имя своей, очевидно впервые за всю историю, разумной воли. Мановением этой-то воли язык и должен уподобиться: не — заросшему лесу, не — подчищенному парку, а Версальским садам.

Но конечно, на пути рациональности и практичности удовлетвориться одной подчисткою и распланировкою языка,— чему соответствует язык вроде эсперанто, волапюка или идо, — никак нельзя: исторические корни языка, народно-стихийное начало его все еще живо в речи, хотя бы и подстриженной; а впоследствии — конечно разрастется, опять-таки не планомерно, нерационально, одно пойдет сюда, другое туда, по-своему, и язык вернется к виду дико-растущего леса. Под ледяной корою слова, хотя бы и замороженного, все слышится

... струй кипенье,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход [3].

Но струи пробьются наружу, ломая льды, и потечет и заклубится неподвижная его поверхность. Если же быть последовательным, надо бы заткнуть устья живых родников языка. Да, уже если быть последовательным, надо бы забыть о языках существующих и не — перерабатывать их, составляя безобразную помесь,— свой язык строить из все еще полуживых частей, а — обратиться к элементам, чуждым жизни и организации. Изобретателям тогда надо бы в порошок растирать употребляемый ими материал и строить воистину заново, по придуманному наиболее практичному проекту рационального языка, отнюдь не подражая языкам историческим. Тогда возникает то, что называют среди искусственных языков, «философскими языками» —впрочем, имя недоразуменное и узурпаторское, ибо сооружения эти отнюдь не «языки» и тем более не «философские». Нет ничего более далекого, как от философии, так и от языка, нежели эти попытки окаменить весь язык, выжав все живые струи из науки и отлив систему железо-бетонных сооружений,— может быть более-менее удачно, в порядке экономии, выражающих ту или другую временную стоянку науки, но решительно закрепощающих, на означен-

[3] П. А. Флоренский вспоминает последнюю строфу стихотворения Ф. И. Тютчева «Безумие»:

«И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..»

ной стоянке именно, самое творчество мысли. Ведь задача «философского языка» — выкристаллизовать в нем все наличное содержание данной системы мысли и решительно возбранить вход в этот заколдованный дворец всем тем силам, которые могут нарушить строгую его чинность, т. е. иначе говоря, навеки заморозить мысль в данном ее состоянии.

Таков один путь потери языком своего равновесия,— путь, исходящий из языка как «вещи», ἔργον. В основе этого извращения лежит неверие в абсолютно-зиждущую в самом движении своем силу Логоса, претворяющего в Разум косные, темные и слепые стихии. И поэтому этим неверам хочется опереть себя на нечто внешне-недвижное, на машину, установленную раз навсегда техническим рассудком.

IX. Другой путь к последовательной порче языка отправною точкою своею имеет сопряженный выше-указанному полюс — именно энергетическую природу языка, язык как ἐνέργεια. И на этот путь подвигает неверие в Божественное Слово. Но на первом пути неверия — отрицалась Его сила в органическом и исторически-данном явить Разумность, а тут, на втором пути, отрицается возможность в разумном быть Жизни и всяческой Существенности.

Язык стихиен, следовательно неразумен, и потому надо сочинить свой язык, разумный,— гласит неверие в разумность Слова; язык разумен, следовательно — безжизнен и безсуществен, и потому надо извести из недр своих — новый язык, нутренной, существенный, заумный,— требует неверие в Существенность Слова.

«Если язык есть отклик всего нашего существа, то где же обеспечение того, что он не нарушит выгод разума?» — спрашивают одни, и отвечают отрицательно.

Если в языке раскрывается разум, то чем же обеспечивается жизненное его соответствие всему нашему существу?» — слышится от других.

Наше чувство,— темное перво-ощущение мира, — весь океан подсознательного и сверх-сознательного, колышущийся за тонкою корою разума,— он-то разве не должен тоже выразиться в языке? А если мы попытаемся противиться напору стихий своего существа, разве они не раздробят — шутя — своей хрупкой сдержки? Негоден исторический язык, он слишком искусствен, слишком условен, слишком постоянен, слишком много в нем твердости и безличности; он слишком вещен: на смену ему да будет новый,— весь движение, весь самородность, беспримесная энергия творчества. Язык этот нельзя сочинить. Нельзя дать какие бы то ни было правила его созидания — кроме одного: отрешиться ото всех правил и прислушиваться к внутреннему прибою своей души. Не повторять заученные слова и обороты надо, а воистину говорить, даже не говорить — а петь, и не что-либо определенное, но — что поется, что рвется из переполненной груди всякий раз по-новому или, во всяком случае, зáново открываемыми звуками,— всякий раз творя все новое. Тогда будет «заумный вселенский язык», от сердца к сердцу речь-пение, «заумная звукоречь», без условий и договоров, подобная звукам природы, льющаяся из отверстой души и прямо во встречно отверстую душу,— язык искренний, как вопль отчаяния или крик боли, свежий, как радостный возглас, детски-наивный и ноуменально-мудрый сразу. Ктó не воздыхал о нем?

О если б без слова
Сказаться душой было можно [4].

[4] *А. А. Фет*, стихотворение «Как мошки зарею...»

Кто́ не знает радости, переполняющей грудь странными звуками, странными глаголами, бессвязными словами, полу-словами и даже вовсе не словами, слагающимися сами собою в звуковые пятна и узоры, издали подобные звучным стихам? Кто́ не припомнит слов и звуков смущения, скорби, ненависти и гнева, которые силятся воплотиться в своеобразную звуко-речь? Близость с природой вызывает наплыв лирических волнений: набухает в груди, и благовонные струи текут из переполненного сердца (Пушкин). И кажется, что именуются имена вещей более истинные, нежели те, которыми мы их именуем в повседневной жизни,— первобытные и сокровенные имена самих сущностей Природы. Падает в лесной тишине лист, журчит ручей, воет ветер, алмазным фонтаном рассыпается соловей, пыхтит на лесном подъеме паровоз, рыкает из-за угла ринувшись, автомобиль — каждый звук есть голос стихий, шепот их, вопль их, крик их ко всей Природе. Но человек по-разному отзывается на разное. И ответ его — и м я вещи.

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
С в о й отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ... [5].

X. Но есть звуки Природы,— все звучит!— звуки менее определенные, из глубины идущие звуки; их не всякий слышит и отклик на них родится трудно. Ч а й к о в с к и й писал о даре, присущем музыканту, «в отсутствии звуков среди ночной тишины слышать все-таки какой-то звук, точно будто земля, несясь по небесному пространству, тянет какую-то низкую, басовую ноту»[6]. Ка́к назвать этот звук? Ка́к н а з в а т ь пифагорейскую музыку сфер? Как назвать реющие и сплетающиеся, звенящие и порхающие звуки ночи, которыми жили Т ю т ч е в и, в особенности, Ф е т?

Солнце, нисходя в свои брачные покои, звучит неизъяснимо торжественною хвалою. И звездные лучи, сталкиваясь в мировых пространствах, звенят как ломающийся ноябрьский ледок. И молчание храма, древнего неслуженного храма, пропитано осевшими на стенах песнопениями. Все звучит и все просит об ответном звуке. Но ответный звук набухает в груди, вздымается грудь от прилива встречного тока, но не может воплотиться он в слово, и «неизреченные глаголы» бьются крылами о стены тюрьмы своей.

Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний? ...
В усердных поисках все кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый,—
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой [7].

---

[5] *А. С. Пушкин*, стихотворение «Эхо».

[6] *Д. Дарский*, «Радость Земли». Исследование лирики Фета. М., изд. К. Ф. Некрасова. 1916, с. 58. (Далее *Дарский*, Указ. соч. Цитаты из писем П. И. Чайковского, Н. Н. Страхова, Л. Н. Майкова и прозы А. А. Фета П. А. Флоренский приводит по этой книге).

[7] Приводим целиком стихотворение А. А. Фета, цитируемое П. А. Флоренским:

Как беден наш язык! Хочу и не могу —
Не передать того ни другу, ни врагу,
Что буйствует в груди прозрачною волною.
Напрасно вечное томление сердец... [8].

И неудешные глаголы тогда хотят уже не словом сказаться, не речью, а прямо излиться звуками. В ответ на вибрации мира исторгаются из груди звуки же, претворенные в слова лишь приблизительно, или полу-претворенные, или совсем не претворенные. Этим — не найдено искомое; но сейчас, при имеющихся возможностях языка, нет сил воплотить свой отклик. Не словами, а звуковыми пятнами, еще не расчленившимися, ответствую бытию.

Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть... [9].

Иногда поэт или философ прикрывает эти пятна какими-нибудь словами, наскоро подобранными, приблизительно соответствующими их звуку, примерно, как-нибудь, заполняющими и обрастающими интонацией мелодию звука, и своим, иным, смыслом, не слишком мешающими впечатлению пятен — в прекрасном хоре звуков услыхать что-то, похожее на слова. Тогда возникают речи, коих

... значенье,
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно [10].

Поэзия Фета, запоминающаяся, с неправильным синтаксисом, и порою непрозрачная в своем словесном одеянии, давно уже признана как род «заумного языка», как воплощение за-словесной силы звука, наскоро и лишь приблизительно прикрытого словом. «Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи» [3, с. 78];— свидетельствует сам Фет. А Чайковский о нем: «Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными или иностранными поэтами, искать родства между ним и Пушкиным, или Лермонтовым, или Ал. Толстым, или Тютчевым (тоже очень большая поэтическая величина). Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому часто, Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гете,

---

«Как трудно повторять живую красоту
Твоих воздушных очертаний;
Где силы у меня схватить их на лету
Средь непрестанных колебаний?

Когда из-под ресниц пушистых на меня
Блеснут глаза с просветом ласки,
Где кистью трепетной я наберу огня?
Где я возьму небесной краски?

В усердных поисках все кажется: вот-вот
Приемлет тайна лик знакомый,—
Но сердца бедного кончается полет
Одной бессильною истомой».

[8] *А. А. Фет*, стихотворение «Как беден наш язык!...»
[9] *А. А. Фет*, стихотворение «С солнцем склоняясь за темную землю...»
[10] *М. Ю. Лермонтов*, стихотворение «Есть речи — значенье...»

Байрона или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченным пределом слова. Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают, а есть даже и такие господа, которые смеются на ним, утверждая, что стихотворение вроде:

Уноси мое сердце в звенящую даль —

есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица — но ведь недаром же Фет, несмотря на свою, для меня несомненную, гениальность, вовсе не популярен»[11].

«Вы обладаете тайной удивительных звуков, никому другому не доступных»[12],— писал Фету Страхов. И по Майкову, Фет считал поэзию «не только родственною с музыкой, но и нераздельною от нее: в момент творчества душа поэта приходит в музыкальное настроение; он поет, и самый строй его рифм не зависит от его произвола, а является в силу необходимости [...] — Мелодия почти опережает вольное, крылатое слово» [3, с. 65].

XI. Мелодия почти опережает слово, поэт почти поет. Почти... Но в том-то и дело, что ищется с л о в о, слово именно, или — нечто, ему подобное. В том-то и мука, что у поэма музыкальность есть музыкальность членораздельного слова, а не вообще звука, поэзия, а не чистая музыка, почему даже и Фет—все же поэт, а не музыкант. В том-то и трудность, что хочется не воспеть, а именно в ы с к а з а т ь несказанное. В том-то и вопрос, что речь н е м о ж е т не мыслиться в с е сильной, в с е сказующей, в с е выражающей, и Фет, мучившийся невоплощаемостью в слове, все-таки в о п л о щ а л неуловимые волнения, и именно в слове:

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах[13].

Значения этих «речей» может быть «темно иль ничтожно», но несмотря на то,— все же р е ч и . Однако, где же граница «темноты» их или «ничтожества»? И не целесообразнее ли будет просто освободить звуко-речь, льющуюся из груди, из от слово-речи, уже́, в сущности, все равно не несущей в себе адекватной логичности? Если значение речи «темно иль ничтожно», и ценим ее мы отнюдь н е ради ее худосочной и декоративной логичности, но ради того, что ей «без волнения внимать невозможно», то не следует ли ей предпочесть звукоречь, которая вовсе не притязает ни на логическую ясность, ни на логическую значимость, но которой е щ е б о л е е «без волнения внимать невозможно»?

Случится ли тебе в заветный, чудный миг
Открыть в душе давно безмолвной
Еще неведомый и девственный родник,
Простых и сладких звуков полный,—
Не вслушивайся в них, не предавайся им,
Набрось на них покров забвенья:
Стихом размеренным и словом ледяным
Не передашь ты их значенья[14].

---

[11] *Д. Дарский*, Указ. соч. с. 65. (Письмо П. И. Чайковского к вел. кн. Константину Константиновичу от 26 августа 1888 г.).

[12] *Д. Дарский*, Указ. соч. с. 64. (Письмо Н. Н. Страхова к А. А. Фету от 13 мая 1878 г.).

[13] *А. А. Фет*, стихотворение «Как беден наш язык!...»

[14] *М. Ю. Лермонтов*, стихотворение «Не верь себе...»

«Не передашь» — «стихом размеренным», «не передашь», «словом ледяным». Но, может быть, возможен и н о й стих, иное слово? В основе н е т ничего, языком не сказуемого. Хотя с е й ч а с нечто несказуемо, но, может быть, когда-нибудь и скажется в п о с л е д с т в и и. Сделаем язык более гибким, более восприимчивым, сдерем с него застывшую кору и обнажим его огненную, вихревую, присно-кипящую струю. Языка тогда сразу не возникнет, но образуются завязи нового творчества, и эти завязи, может быть еще недостаточно- или совсем почти неоформленные, впоследствии вырастут в слова и новые способы их сочетания. Твердое начало языка тогда перекристаллизуется более соответственно духу нового лирика.

Чтобы язык жил п о л н о ю жизнью и осуществлял свои возможности, надо освободить индивидуальную языковую энергию и — не бояться множества неудачных, уродливых и нежизненных порождений. Тогда, среди многого неудачного, осадится кое-что удачное, и безысходно нужное,— тó возникнет, отсутствием чего болеет сейчас впечатлительная душа. Откликнемся природе по-детски, всем телом и всею душою. Вот как, по мысли таких искателей, творится новое слово:

Он — Вас. Вас. Каменский как поэт; Я — он же как человек.

«Мимо нас в долину пролетела ласточка.

Он крикнул ей:

— Вчить-карм.

Я мог бы спросить Его о значении этих слов, но почувствовал, что не надо.

Я почти понял.

Мне кажется, что рожденье слов является разрывностью соединенной воли двух творчеств.

Линия острого Налёта ласточки близко и встречная стрела глаз Поэта, наблюдающего полет, в творческом пересечении дают звук:

— Вчить.

Линия отлёта и мгновенный вамыв вверх и испуганный резкий поворот кидают отзвук:

— Карм.

Творчество ласточки заключалось в рисунке движения и в свистящем шуме, рассекаемого крыльями воздуха.

— Вчить-карм.

Творчество Поэта возникло на точном определеньи звуковой формы и на ритмическом соединеньи единого впечатленья, сконцентрированного волей верного мастера— песнебойца.

— Вчить-карм.

Так наивно — приблизительно я (скрывая от Поэта) объясню момент словотворчества, понимая ясно, что хризолитовая линия падающей звезды — объясненная словами — (да еще днем) будет походить на кишку, вымотанную медведем из коровы» [4, с. 127—128].

XII. Провозглашением этой свободы индивидуального языкового творчества обязаны мы сперва романтикам, а повторно — декадентам и футуристам. Последняя «декларация слова, как такового»,— разумею всю деятельность футуристов в ее совокупности — едва ли много прибавила в понимании языка, и со стороны теоретической не может расцениваться высоко. Но общественное, а потому жизне-творческое ее воздействие, еще не вполне сказавшееся, было, думается, угловою точкой в истории словесности, и будущий историк отметит ее, как некоторый водораздел. Вот почему я останавливаюсь здесь именно на футуристах, как наиболее остро и впервые выразивших свое начало, и не говорю о более новых течениях,

может быть, большего достигнувших, но не столь определенных в своей сущности, и к тому же еще не отшедших в область истории.

Ка́к выступили футуристы — это было главным. Мысли, давно продуманные языковедами, психологами и словесниками в тиши кабинетов, подобились инфекции в запаенных колбочках. Умы иммунизированные оставались холодными, хотя и обращались с острейшим из ферментов духа. Но речь, пробужденная от спячки,— крепче всякого вина, и слово, само себе предоставленное, опьяняет и исступляет. Когда речь была понята футуристами, как речетворчество, и в слове ощутили они энергию жизни, тогда, опьяненные вновь обретенным даром, они заголосили, забормотали, запели. Посыпались: новые слова, новые обороты, а то и просто звуки — «заумного языка». Кое-что было удачно, многое не жизнеспособно. Но не в том сила. Решительным сказался самый Sturm und Drang, с которым, подпираемые напускною самоуверенностью и неподдельной молодостью, начала речетворчества метнулись на эстраду, в печать, в разговоры. На хмельной напиток слова слетались подростки и юношество, лучшие его распространители, сами еще недалекие от того возраста, когда всякий по естественной необходимости, переживает речетворчество и гениальность. Интерес скандала, разгоревшийся около футуризма, счастливо содействовал его успеху; к футуризму не отнеслись всерьез,— и проглядели его «опасность»: он, как взбалмошное дитя, получил право брякать такое, чего не потерпели бы от других. Свою правду эти «баячи-будетляне», т. е. поэты будущего, не высказывали, а выкрикивали, облекая дурашливыми парадоксами. «У писателей до нас,— пишет один из них,— инструментовка была совсем иная, напр.—

По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел ...

Здесь окраску дает бескровное пе ... пе .... Как картины, писанные киселем и молоком нас не удовлетворяют и стихи построенные на:

па-па-па
пи-пи-пи
ти-ти-ти и т. п.

Здоровый человек такой пищей лишь расстроит желудок. Мы дали образец иного звуко- и словосочетания:

дыр бул щыл
убещур
скум
вы со бу
р л эз

(кстати в этом пятистишии больше русского национального чем во всей поэзии Пушкина)
не безголосая томная сливочная тянучка поэзии (пасьянс ... пастила...)
а грозная б а я ч ь [кстати сказать переведенная,— из Артура Рембо.— *П. Ф.*]:

Каждый молод молод молод
В животе чертовский голод
Так идите же за мной...
За моей спиной.
Я бросаю гордый клич
Этот краткий спич!
Будем кушать камни травы
Сладость горечь и отравы
Будем лопать пустоту

Глубину и высоту
Птиц, зверей, чудовищ, рыб,
Ветер, глины, соль и зыбь! ..
(Д. Бурлюк)» [5, с. 8—9].

И хорошо, что футуристы та́к заговорили — и заставили выслушать себя. Подлив этого кипятка и дерзостей к тающему снегу общественной мысли, они подогрели последнюю на несколько градусов. Дурачась и озорничая, они одерживали победу, и прежде всего — труднейшую: заставили к себе прислушаться. Их бесшабашность нарушала чинный тон литературы и не считалась с накрахмаленной ее жесткостью: теперь — противники их порою сами «будетлянствуют». В 1910 году вышла первая книга футуристов — «Садок Судей», напечатанная на оборотной стороне обой. О ней,— продолжу свидетельством В. В. Каменского,— о ней «стали много говорить. Всех поражала оригинальность, смелость, неожиданность, крайность, молодость. Критика конечно заквакала во все болото, Рыцарей исканий называли в газетах — Обойные Поэты — анархисты — сверхдекаденты — кучка желающих прославиться — футуристы — клоуны-американцы» [4, с. 103]. Но «клоуны» не унывали, вербовали себе новых сотрудников, ураганным огнем метали в читающее общество книги, брошюры. «Московская зима (1913 года.— *П. Ф.*) расцвела бурно. Футуризм разлился океаном. Василий Каменский, Давид Бурлюк, Владимир Маяковский после ряда отчаянных выступлений (с Крученых и Хлебниковым) в Москве и Петрограде, получили приглашение на гастроли по России.

Маяковский ездил в ярко шелковых распашонках, в цилиндре.

Давид Бурлюк — в сюртуке, с неизменным лорнетом, с раскрашенным лицом, в цилиндре.

Василий Каменский — в коричневом костюме, с нашивными яркими лоскутами, с раскрашенным лицом, в цилиндре. [...] Улицы Харькова, Одессы, Киева, Ростова, Баку, Тифлиса, Казани, Самары, Саратова и второстепенных городов оказались не менее взволнованными, чем землетрясением.

Всюду театры были переполнены возбужденными массами.

Газеты встречали и провожали шумным треском столбцов всяческих критиков» [4, с. 130].

Все это — «дела давно минувших дней». Бунтари вошли в берега и занялись иным. Но нам, уясняя свою мысль, удобнее остановиться на той,— уже отошедшей в предание, волне. «Декларация слова, как такового» возвещена в 1913-м году Алексеем (Александром) Крученых в следующих тезисах:

«1) Новая словесная форма создает новое содержание, а не наоборот.

2) Согласные дают быт, национальность, тяжесть, гласные — обратное — вселенский язык. [...]

3) Стих дает (бессознательно) ряды гласных и согласных. Эти ряды неприкосновенны. Лучше заменять слово другим, близким не по мысли, а по звуку (лыки — мыки — кыка).

Одинаковые гласные и согласные, будучи заменены чертами, образуют рисунки, которые неприкосновенны (напр. III —I—I—III). Поэтому переводить с одного языка на др. нельзя, можно лишь написать стихотворение латинскими буквами и дать подстрочник. Бывшие д[о] с[их] п[ор] переводы лишь подстрочники, как художественные произведения, они — грубейший вандализм.

4) Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не

только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. Общий язык связывает, свободный позволяет выразиться полнее. (Пример: го оснег кайд и т. д.).

5) Слова умирают, мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому, и, как Адам, дает всему свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно слово лилия захватанное и „изнасилованное". Поэтому я называю лилию еуы — первоначальная чистота восстановлена.

6) Давая новые слова, я приношу новое содержание, где все стало скользить (условность времени, пространства и проч.) [...].

7) В искусстве могут быть неразрешенные диссонансы — „неприятное для слуха" — ибо в нашей душе есть диссонанс, которым и разрешается первый. Пример: дыр, бул щыл и т. д.

8) Всем этим искусство не суживается, а приобретает новые поля»[15]. Нечто подобное высказывает и Н. Кульбин.

А. Крученых и В. Хлебников поясняют эти тезисы: «Живописцы будетляне любят пользоваться частями тел, разрезами, а будетляне речетворцы разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык). Этим достигается наибольшая выразительность. И этим именно отличается язык стремительной современности уничтожившей прежний застывший язык. [...]. Этот выразительный прием чужд и непонятен выцветшей литературе до нас, а равно и напудренным эго-пшютистам (см. „Мезонин поэзии")» [5, с. 12].

XIII. На словотворчестве сосредоточены по преимуществу русские футуристы. Правила же словосочетания почти не привлекли их освободительного пыла, отчасти по пройденности этого пути уже западными футуристами, еще же более — потому, что русский синтаксис, сам почти футуристически-свободный, предоставляет личности безграничный простор, и требует не расторжения своих граней, а скорее неустанного чекана. Напротив, стесненность романского синтаксиса, особенно замороженность французского, уже давно вызывала на бунты. В «Техническом манифесте футуристической литературы» Ф. Т. Маринетти провозгласил 11 мая 1912 года:

«1. Нужно употреблять глагол в неопределенном наклонении, ибо только таким образом может быть передано чувство непрерывности жизни и эластичности интуиции, воспринимающей ее.

2. Нужно уничтожить прилагательное, чтобы существительное сохраняло свою основную окраску. Прилагательное несовместимо с нашим динамическим мировоззрением, ибо оно предполагает паузу, остановку»[16].

Но неопределенное наклонение — это то же существительное, отглагольное существительное, герундий. Следовательно, реформа синтаксиса заключается в устранении всех частей речи, кроме существительных. Вопреки самосвидетельству футуристов, можно усумниться, чтобы такая онтологизация языка в самом деле соответствовала мирочувствию современности, упоенному бешенным темпом электро-аэропланно-кинематографической жизни и ненавидящему покой. «Мы возвещаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости» [6, с. 36], —

---

[15] См.: «Грамоты и декларации русских футуристов», СПб., 1912.

[16] См.: *Г. Тастевен*, Футуризм. (На пути к новому символизму). С приложением перевода главных футуристических манифестов Ф. Маринетти. М. 1914, с. 27. Говоря о футуристах Запада, П. А. Флоренский ориентируется на это издание.

заявляет манифест. По мнению футуристов, «человеческая чувствительность, под влиянием великих научных открытий, совершенно обновилась. Почти все, кто в настоящее время пользуется телеграфом, телефоном, граммофоном, железной дорогой, велосипедом, мотоциклетом, автомобилем, океанскими пароходами, дирижаблями, аэропланами, кинематографом и большими газетами (дающими синтез мирового дня), не думают, что это оказывает решающее влияние на наше сознание» [6, приложение, с. 12]. «Не заботясь о нелепых определениях профессоров, я объявляю вам, что лиризм есть очень редкая способность опьяняться жизнью и опьянять ее собой [...]. Вообразите, что ваш друг, обладающий даром лиризма, находится в зоне повышенного напряжения жизни (революция, война, кораблекрушение и т. д.) и рассказывает только что пережитые им ощущения. Знаете, что инстинктивно сделает ваш друг, начиная свой рассказ? Он резко разрушит синтаксис во время разговора, не будет тратить времени на длинные периоды, уничтожит пунктуацию и порядок прилагательных и бросит вам поспешно в нервы все свои зрительные, слуховые и вкусовые ощущения, по прихоти их безумного галопа. Напряжение пара эмоции взорвет трубу периода, клапаны пунктуации и прилагательные, которые обыкновенно расстанавливают наподобие болтов. У вас будут целые пригорошни существенных слов без всякого условного порядка, так как единственной заботой вашего друга будет передача всех вибраций его я. Если этот рассказчик, одаренный лиризмом, будет сверх того обладать умом, богатым общими идеями, то он невольно будет постоянно связывать свои последние ощущения со всем, что ему экспериментально или интуитивно известно. Он накинет на мир огромные сети аналогии, переданая таким образом жизнь телеграфным способом, т. е. с той быстротой, которую телеграф по необходимости развивает у репортеров, у военных корреспондентов в их поверхностных рассказах.

Эта потребность в лаконизме не только соответствует законам скорости, управляющим нами, но также многовековым отношением между поэтом и публикой. Эти отношения очень походят на товарищеское отношение старых друзей, которые могут объясниться одним словом, одним взглядом. Вот почему воображение поэта должно связывать отдаленные вещи без всяких проводов, только существенными словами.[...]

Под беспроволочным воображением я подразумеваю абсолютную свободу образов или аналогий, выражаемых освобожденными словами, без проводов синтаксиса и без всяких знаков препинания» [6, прилож. с. 16—17]. Отсюда, далее, выводятся вышеупомянутые начала — устранение прилагательного, пользование неопределенным наклонением глагола, — «оживление лиризма сырыми элементами реальности» [6, прилож. с. 20] чрез «звукоподражательные аккорды»; сюда же относятся регулирование быстроты стиля с указанием темпов (*diminuendo* и т. д.), типографские новшества, как-то применение 3—4-х красок на странице, пользование разными шрифтами до 20-ти включительно и «свободное выразительное правописание» [6, прилож. с. 22]: «Мы хотим теперь, чтобы лирическое объяснение не располагало более слова по порядку синтаксиса прежде, чем выразить их через различные дыхания, изобретенные нами. Мы приходим, таким образом, к словам на свободе. Кроме того, наш лирический хмель должен свободно деформировать, преобразовывать слова, укорачивая или удлиняя их, увеличивая их центр или окончания, увеличивая или уменьшая количество гласных или согласных. Мы получим таким образом новое правописание, которое я называю свободно выразительным. Эта инстинктивная деформация

слов соответствует нашей естественной склонности к междометию. Что за беда, если деформированное станет двусмысленным. Оно будет лучше сливаться с аккордами междометий или синтезами шумов и позволит нам скоро прийти к звукоподражательному психическому аккорду, звуковому и в то же время абстрактному выражению эмоции или чистой мысли» [6, прилож. с. 23]. Все эти провозглашения — не новости; Г. Тастевен отметил, что Стефан Малларме († 1898 г.), в своих «Divagations» «не только создал футуристическую поэтику, но предсказал опыты русских кубо-футуристов: Крученых, Василиска Гнедова. Так, он «определенно сказал, что внесение принципа музыки в поэзию приведет к разложению стиха на первоначальные элементы языка» [6, с. 24—25]. Он указывает на несоответствие звука слова и его идеи (например, *nuit* вызывает светлые тоны, *jour* — темные) и поэтому искал совершенного языка, названий, соответствующих вещам. Малларме же потребовал удлинения или укорочения слов, сообразно требованиям ритма. Он же «называет стих идеальным мистическим словом, которое отдельные слова переплавляет, претворяет в новое, совершенное коллективное слово, не существующее в языке» [6, с. 26]. Осуществленный на деле, этот принцип аттракции слов ведет к сростанию, деформации и взаимопроникновению слов, подобно тому, как взаимно проникают формы в картинах кубистов или минералы в кристаллических двойниках. Так у Константина Олимпова:

Оазис — гамаюн, кудесно успокоясь,
Младенчит пальмное окно.
Издальне дробит звон — пустынный богомолец,—
Опеньяв молчное зерно.

Дальнейшее же применение тех же начал ведет к исчезновению слов и образованию из слов отдельных ритмических комплектов. Наконец, Малларме же оставил синтаксическую конструкцию; поэт для него — законодатель слов, сочетающий слова, по ему лишь ведомым законам. Он же советует избегать слов, материализирующих отношение предметов, пользоваться глаголом в неопределенном наклонении и заменять прилагательные отвлеченными существительными, а также отменить пунктуацию, особенно в поэзии. «Словотворчество, разрушение синтаксиса и освобождение слова, подчинение слов ритму, являются реализацией идей Малларме» [6, с. 29].

Но и Малларме, пытавшийся воплотить эти начала в речетворчество, не был их открывателем: первоисточник их — тот же Вильгельм Гумбольдт. Имею в виду главным образом его понимание речи, как непрерывного целого, отдельные элементы коего рождаются на этом лоне и, следовательно, подчиняются ритмической закономерности целого, но не — образуют, напротив, целое своею суммой. «Речь течет непрерывною рекою и говорящий всегда имеет в виду только совокупность выражаемых им мыслей, пока не приходит время, когда самый язык делается предметом мыслящего наблюдения. Нельзя и представить, чтобы образование языка начиналось названием предметов отдельными словами и только в продолжении своем достигало соединения слов (синтаксиса). Не речь составилась из слов, а, наоборот, слова произошли из органической совокупности речи. Тем не менее существование отдельных слов ощутительно непосредственному чувству говорящего [...], потому что образование слов составляет существенную потребность речи. Объем слова составляет границу, до которой простирается самодеятельность образовательной си-

лы языка. Слово есть полный, распустившийся цвет языка; в слове язык дает свое окончательное произведение. [...] И в речи слова являются иногда изолированными; но правильно отделять их из непрерывного течения речи удается только меткому взгляду гения языков совершеннейшего устройства; это такой пункт, на котором языки всего яснее обнаруживают свои преимущества и недостатки» [2, с. 72].

XIV. Но, исторически, новшества футуристов — отнюдь не futurum, а plusquamperfectum; правильно указывая на иные возможности языка, футуристы кажется забывают, что путь к осуществлению — презираемый ими пассеизм; однако отсюда не следует, чтобы те или другие отдельные понятные движения были нецелесообразны. Тем не менее развитие языка в истории идет именно от «футуризма» к современности. «Радостное изумление самому языку, ощущаемое при его воспроизведении в живой речи по требованию каждого мгновения, мало-помалу уменьшается. Деятельность народа», от речетворчества, «переходит больше на употребление языка [...]. Удивление и радость переходят теперь к отдельным изречениям. Песни, молитвенные воззвания, изречения, сказки, возбуждают желание выделить их из потока мимолетного разговора: они сберегаются, разнообразятся, делаются предметом подражания — и вот первые зачатки литературы. Это образование духа и языка мало-помалу переходит от совокупности народа в преимущественное обладание отдельных лиц: язык передается в руки певцов и учителей народа [...]. Впоследствии являются грамматики [...]. Им не принадлежит собственно творчество; они не могут навязать народу ни флексии, ни обычая сливать со словами приставки в конце или в начале. Но они выбрасывают одно, обобщают другое, сглаживают неровности, пополняют пробелы [...]. В этой сфере они являются истинными законодателями, воссоздавая впрочем эти законы из беспредельного запаса предлежащего им языка [...]. В течение времени язык не раз может подвергаться такой обработке; чтобы он делался языком образованным, оставаясь в то же время народным, надобно, чтобы он правильно и непрерывно переходил от народа в руки писателей и грамматиков, а от них обратно в уста народа [...]. Может наставать и такое время, когда язык своим собственным развитием как бы пересиливает народный дух, который, оставляя в своем усыплении самобытное творчество, пускается в пустую игру оборотами и формами, проистекшими первоначально из глубокомысленного употребления. Это — вторая дряхлость языка, если первою почесть потерю силы создавать внешнее строение языка [2, с. 185—186].

Гумбольдт отмечает и личный оттенок языка в устах каждого говорящего. «Каждый человек употребляет слово для выражения своей особенной личности: оно всегда истекает от отдельного лица и каждое лицо пользуется им прежде всего лишь для самого себя [...]. И нельзя сказать, чтобы проистекающие отсюда неровности сглаживались в этом общем для всех органе. В языке, конечно, есть переходы от одной особенности к другой и эти переходы делают возможным взаимное разумение между людьми; но самые разности от этого скорее усиливаются, чем ослабляются: потому что разъяснением и утончением понятий в языке тем яснее доводится до сознания, как глубоко лежат корни этих разностей в особенном умственном настроении отдельных лиц [...]. Каждый язык способен как бы делиться на бесконечное множество языков для отдельных личностей в одном и том же народе, и все это множество языков, в сравнении с языками других народов, является одним целым, которое резко отличается своим характером» [2, с. 187].

XV. Но, оставив споры о приоритете, посмотрим, что́ же именно творят «будетляне».

Мне думается, их творчество может быть распределено по четырем разрядам в возрастающей степени новизны. Первый разряд новообразований — это образование слов, заменяющих собою более громоздкие выражения, но построенных аналогично уже существующим формам других слов; таковы: «осупружиться», «окалошиться», «офрачиться», «онездешниться», «поверхноскользие», «дерзобезумие» и т. д.

Детскому языку свойственно постоянное кипение подобного словообразования, как не чуждо оно и языку народному. В основе, против таких образований возражать никто не может, кроме разве предостережения, не пойти по легкому пути поверхностных аналогий, и тем затемнить какие-нибудь глубокие различия, которые не позволили в языке возникнуть предлагаемому данному новшеству. Слова вроде «голубель» — обозначение небесной голубизны, «журчей» — обозначение ручья, звукоподражательных вроде, «чурлюжурчит»[17] звучат убедительно, но, конечно, надо еще хорошенько подумать, не обойдется ли доверие к этой убедительности слишком дорого, если мы примем их в состав языка.

К речетворчеству второго разряда следует отнести орнаментальное, — так сказать, арабесочное пользование словом. Звук не теряет еще своей грамматической формы, но форма служит здесь не логической функции смысла, а лишь, или почти лишь, системою угловых зеркал, многократно и разнообразно отражающих один, или небольшое число, корней.

Эта формальная разработка корня или нескольких корней имеет и некоторый, весьма скромный, логический смысл. Но производится она не ради него; она являет красоту звука, дает понять ценность самого материала речи — стихийную основу, из которой возникает и логическая речь, и тем острее заражает непосредственно-стихийным содержанием слова.

Вот стихия улыбки, переходящей в смех:

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,

О, засмейтесь, усмеяльно!

О рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О иссмейся рассмеяльно смех надсмейных смеячей!

Смейево, Смейево,

Усмей, осмей, смешики, смешики —

Смеюнчики, смеюнчики,
О, рассмейтесь смехачи!
О, засмейтесь, смехачи![18]

Так, в приливе нежности, или другого чувства, развиваются и многократно преломляются темы слов — всяким, но с меньшею талантливостью. Или, вот:

Я смеярышня смехочеств
Смехистелинно беру
Нараскаянных хохочеств
Кинь злооку — губирю.

---

[17] Здесь П. А. Флоренский ссылается на издание: «Студия импрессионистов» книга 1-я, ред. Н. И. Кульбин, изд. Н. П. Бутковской, Спб. 1910, с. 4.

[18] *В. Хлебников*, стихотворение «Заклятие смехом».

Пусть гопочичь, пусть хохотчичь
Гопо гоп гопопей
Словом дивных застрекочет
Нас сердцами закипей [19].

К этому же постижению стихии речи, через еще бо́льшее освобождение ее от общей формы отнесем еще примеры — тонко выраженные переходы от восторга, прорывающегося через смущение и какую-то скрываемую от себя самого мысль: так, приблизительно, разрушает обычный строй речи человек, переполненный чувством, в особенности при ослаблении от усталости или иных причин памяти. Логическая прозрачность речи при этом затуманивается, но сила непосредственного напора возрастает. «Глубирь» — существо, живущее в глубине; «закипей нас» — «заставь нас кипеть» — словообразования при волнении приятного.

Это-ли. Нет-ли.
Хвои шуят, шуят.
Анна, Мария, Лиза-нет
Это-ли-Озеро-ли.
Лулла, лолла, лалла-гу,
Лиза, лолла, лулла-ли,
Хвои шуят, шуят,
Ги-и,— Ги-и-у-у
Лес-ли,— озеро-ли.
Это-ли.
Эх, Анна, Мария, Лиза
Хех-тара.
Тере-дере-дере... Ху.
Холе-кулэ-нээ
Озеро-ли. Лес-ли
Тио-и
ви-и... у [20].

Это убедительно. Ну, конечно, хвои «ш у я т», а не делают при ветре что-либо другое; звук их непрерывен, а ш у м е т ь может только прерывистый, прерывающийся колебаниями звук листьев: *м* в слове «шум» — есть задержка и разрыв звука. В словах, даже поверхностно разбираемых, часто находится сторона звукоподражательная; тут же она усиливается или дифференцируется. Звукоподражания, конечно, не новинка, и даже далеко отстают от некоторых более замысловатых поделок такого же рода, где не голыми звуками, воспроизводятся звуки только, но более того, словами и даже осмысленными предложениями одного языка звуки, а то и слова и осмысленные предложения иного языка. Примером звукоподражания словами может быть хотя бы всем известная сыздетства украинская шутка

Мария лён тре,
Сам пан теля пасэ,

передающая звуки языка французского. Примером более трудной ковки — похвальное слово своему учителю писателя XVII-го века Л ь в а М о д е н с к о г о, [21] — звучащее сразу на тех двух языках, на которых

[19] *В. Хлебников*, стихотворение «Черный любирь».
[20] *Е. Гуро, В. Хлебников, А. Крученых*, Трое. Спб. 1913, с. 73.
[21] Леон, Иуда Арье из Модены — ученый, раввин и поэт, сын Исаака из Модены и Дианы Рахили, род. в 1571 г. в Венеции, умер там же в 1648 г.— Еврейская энциклопедия. Под общей редакцией А. Гаркави и Л. Каценельсона. Т. 10. СПб. 1914, стлб. 165—168.

покойный вел с ним свое преподавание. Ниже приводимое стихотворение может быть прочтено безразлично по-еврейски, или по-итальянски. Вот оно:

Kina chemor oime che pass ozerbo.
Chi nas ce muor oime pas acerbo.

Col tob eilom cosi or din elzilo.
Colto vien l'huom, cosi ordine il cielo.

Mose Mori Mose iakar deber bo.
Mose Mori gia car de verbo.

Sam thousia jam kipour honze lo.
Santo sia ojn huom con puro zelo.

Cala meitab iamai sen zouri asser bo.
Challa meta giami senza reserbo.

Iarib an maveth ra aim can iarpelo.
Arriv' huom mavodran en cangiar pelo.

Sephina beim nal el ober iameno.
Se fin habbian chal nel celo vero ameno.

Halem ionba sebi iassai' semeno.
Va l'huom vaseviva assai se meno.

Стихотворение, ниже приведенное, подражает говору восточного города и передает общую звуковую картину, доносящуюся с рынка в открытое окно.

Хан хан да даш
Шу щур и дес
Виларь ягда
Суксан кардекш
Мак са Мак са
Яким ден зар
Вакс бар дан як

Заза

Сю сеч базд п
Гар ё зда бе
Мен хатт зайде
Вин да чок ме [22].

XVI. До сих пор мы находимся в области сказанного удачно или слабо, но допускающей оценку. Можно доказывать свое суждение о «смеюнчиках» или «хан хан да даш», ибо известно, что́ требовалось осуществить и потому можно взвесить, наско́лько поставленная цель достигнута. В приведенных выше примерах есть λόγος, хотя по иному, чем в обычной речи.

Совсем особо стоят два последующие разряда речетворчества футуристов. Нельзя сказать, чтобы в них λόγος отсутствовал; но его там не видно и, поскольку не видно, постольку и самые творения выходят за́ пределы оценок. Отсюда не следует, что они не удачны; но, стремясь стать до конца субъективными, они и становятся такими, а потому объективно решать, удачны они, или нет, тоже нет возможности. В этих opus'ах, как их величают авторы, нет ничего вселенского, нет ничего

[22] *Антон Лотов.* Мелодия Восточного Города. В кн.: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», книга 22, СПб. 1914, с. 141. П. А. Флоренский использует две статьи К. Чуковского из данного сборника: «Эго-футуристы и кубофутуристы» и «Образцы футуристических произведений. Опыт хрестоматии».

словесного. Может быть, они превосходны, может быть, никуда не годны,— судить не читателю. Тогда автору? — Нет, и не автору, если он искрен в своей заумности, ибо, если он воистину и насквозь за-умен и потому бесс-словесен в своем творчестве, то и сам он не знает, что́ долженственно воплотиться у него в звуке, а потому не может и судить — воплотилось ли.

Мало того, за-умный язык преследует высшую степень натуральности, полную непосредственность своего выявления: слово насилует непосредственно-ощущаемое, и только развязанное до чистого звука оно достаточно гибко, чтобы быть звуко-речью глубин. Но тогда-то именно, со устранением логической формы, устраняется и самое суждение подлинности. При полной бессловесности, стон души, насквозь искренний, никак не отличим от шутки или подделки, не выражающих никакого внутреннего движения. Мы не знаем, что́ воплотить хотел поэт, и opus его не дает никакого «что́». Подлинно ли, и — если подлинно,— удачно ли его «как»? Первое неведомо никому, кроме автора, и остается на его совести, а второе — неведомо даже и автору, если даже чиста его совесть насчет подлинности за-уми. Явно, что это уже не поэзия, если сначала надо исповедывать поэта.

Крученых, уверяет, что в его, ныне прославленном,

дыр, бул щыл и т. д.

«больше национального, русского, чем во всей поэзии Пушкина». Может быть, но именно, только «может быть», но может быть — и наоборот. Мне лично это «дыр бул щыл» нравится: что-то лесное, коричневое, корявое, всклокоченное, выскочило и скрипучим голосом «р л э з» выводит, как немазанная дверь. Что-то вроде фигур Коненкова. Но скажите вы: «А нам не нравится»,— и я отказываюсь от защиты. По-моему, это подлинное. Вы говорите «Выходка»,— и я опять молчу, вынужден молчать. И «перевертни», вроде

Кукси кум мук и скук [23],

за исключением свойства читаться взад и вперед одинаково бессмысленно, не дает бо́лее того почвы для общечеловеческих суждений; что же касается до вышеупомянутого свойства, читаться прямо и наоборот, то оно было давно известно, но не исключало, притом, в так называемых в теории словесности «Палиндромонах»,— и осмысленности, например, в известном со школьной скамьи «перевертне» Державина —

«Я иду с мечем Судия».

И: «Мал си кунб дравд бер па те ге не рю ри ле лю бе хо мо ло ре рюк крюд итрп би пу...» [7, с. 117], далее того идущее по пути разложения слова, тем менее подлежат разбору критики, а вдобавок вовсе не занятно, хоть и напечатано на цветной бумаге.

Еще дальше, и разложенное слово оставляет на бумаге кляксы, даже не выговариваемые. Так, из какой-то мифической книги «Рекорд»,

ъъъъъъъъъ
63 333 3330
Ха дур тан
Еси Еси [7, с. 140],—

вероятно ребус, разгадывать который мне нет времени (3-я строчка, читаемая навыворот, дает «на трудах»), в котором только и есть хорошего,

[23] *В. Хлебников*. Перевертень. «Садок Судей II», с. 20.

что Ъ, да еще в таком количестве, в наше время радующий взор. Таковы неудобочитаемые стихи из одних согласных:

Счтрп трг ждвр
Смк чпр вчнц [7, с. 140],

или из одних гласных:

О е а
и е е и
а е е е

Сюда же относятся вензеля из слов, букв и знаков препинания, вроде:

и к
к и
о л
лика ве по
л и о л
е о е
в в в
о е
л [7, с. 140]

или

→ кси
. . . . . .?
, , , , , , , , , ,?
?
[7, с. 140].

И т. п. Нет никаких оснований отрицать, что у авторов подобных произведений в минуту творчества могла быть полнота экстаза; но бесспорно и то, что переживаемое ими не облеклось в всечеловеческую умную словесность, а потому, может быть и заумное, не воплотилось, и только на Страшном Суде выяснится, не есть ли вся эта поэзия — шаловливая проделка,— ребусы, которых из приличия лучше не разгадывать. Но будем методологически доверчивы и примем все эти opus'ы без хитростей и «без обиняков», за чистую монету.

Эти точки и черточки, гласные и согласные, пачкающие бумагу,— наименьшая степень воплощенности, почти не отличаются от чистого словесного ничто. Поэтому был естествен в истории футуризма и переход к «Поэме» Василиска Гнедова, где на чистом листе написано одно только слово: «шиш», и, далее, тоже, с позволения сказать, к «поэме» — Чистому листу, где нет ни букв, ни даже знаков. И опять: никто не смеет (— методологически отстраняю все подозрения —), никто не смеет, не залезая в совесть автора, сказать о субъективной его неискренности или об его мистификаторских наклонностях. Нет, в момент такого творчества Василиск Гнедов или А. Крученых *мог* быть (опять держусь методологического доверия), мог быть очень углубленно живущим и очень подлинно творящим.

Да, творил, но не сотворил. Ему лист бумаги казался, спьяну, дивной поэмой, читатель же держит в руках — лист и только лист. Такой лист может быть самым глубоким из заумных неизреченных глаголов; но их «не леть человеку глаголати»: и заумный язык нуждается в Логосе. Это подобно тому, как бесовское золото, полученное в исступлении магического заклятия, оказывается при свете дня только калом. Когда начисто сглаживается антиномичность языка, то тем самым начисто уничтожается и самый язык.

XVII. Футуристы понадобились нам, по ходу мысли, как наиболее яркие и последовательные представители непосредственно-творческой, текучей стихии языка; наше дело теперь — всмотреться в условно-надуманную, пребывающую его стихию, заботу о чистоте коей берет на себя «философская грамматика». Среди многочисленных опытов сочинить такой язык достопримечательнейшим мне представляется «Опыт точного языкознания» Я. Линцбаха. Книга «Принципы философского языка», этот опыт содержащая, глубоко поучительна, не только как отрицательная инстанция в развитии нашей мысли, но и сама по себе, множеством насыщающих ее отдельных наблюдений и своеобразных соображений. Скажу более: в ней все занимательно и полновесно,— все, кроме основного ее замысла. Замысел же, проводимый Линцбахом, неуклонно-настойчиво и последовательно, если угодно — пленительно развертывающийся в этой своей последовательности перед изумленным читателем, неприемлем и претит; еще никогда и никем не делалось столь безжалостной, столь нечеловеческой, столь противоестественной попытки покуситься на самый средоточный из даров человеческого существа, на самое сокровенное из достояний наших — на язык. Если бы линцбахизм был на самом деле проведен в жизни, то пред такой реформой человеческого духа пустячками показались бы самые крайние из выводов утопизма. Язык — самое глубокое из проявления Я, и Я, без языка,— уже окончательно не выраженное во вне,— перестает быть объектным даже для себя; оно тогда всячески не действительно. Посягнуть на язык, на орган нашей мысли, и, шире,— нашей личности, и пытаться вместо него поставить условность, хотя бы и гениально придуманную, но не связанную с нами непосредственно,— это значит пытаться вырезать рождающие недра нашего духа и заменить их механизмом. Пусть он в своей деятельности подражает рождению, подобно тому, как восковой автомат «подражает» славному герою, или как утка Вокасона «глотала и даже переваривала пищу». Но по самой сути своей, по замыслу своему, именно такой механизм отрицает рождение, а вместе с ним — и всякую идею органичности. Конечно, сам Линцбах, конструируя свой остроумный механизм, тоже живет, (так жил своим изобретением и Жозеф Гильотен); он даже может радоваться и гордиться своим творчеством. Но негодующим взмывом возмутятся души, понявшие, что́ им предназначено изобретателем: логотомия.

XVIII. Как и футуристы, Линцбах исходит из неудовлетворенности языком, существующим, не тем или иным языком, но вообще исторически-существующим языком во всех его видах. Однако, смежность «философского языка» с «языком за-умным» исчерпывается этим их отрицанием, имеющим, к тому же, смысл различный до противоположности.

Пафос футуризма — возврат к *до*-логическому стихийному хаосу, из которого возник язык; у футуристов показательно их чувство корней языка, — если брать это слово в его общем, не терминологическом смысле; футуристы — консерваторы и ретрограды, и если они бунтуют, то потому, что первичный хаос и есть неукротимый извечный бунт. Футуристам язык — нечто свое, глубоко родное, и, чувствуя себя в языке, как дома, они и располагаются тут «как дома». Напротив, Линцбаху язык, не русский язык только, а всякий язык, как таковой, сто́ль же глубоко чужд, и, будучи в языке, как на оффициальном визите, Линцбах спешит отделаться от него и вообще отменить его. Пафос Линцбаха — устройство чего-то своего взамен языка. Линцбаху, кажется, даже

на мысль не западало, что материя, воплощающая смысл речей, есть *не* условная, безразличная масса, а самая с у т ь языка, наше существо, м ы с а м и. Может быть, мое сердце не такой удачный насос, какой мог бы придумать «взамен» механик, но мне нужно именное мое, пусть плохое, сердце, а не превосходной конструкции насос из мастерской; а в языке это — тем более так. И если озорники-футуристы пришпоривают сердце вином, то против этого можно возражать, но в этом нет ничего бесповоротного; степенному же и честному Линцбаху, забывающему, что сердце дорого мне не только разумным своим устройством, но и неразумным фактом принадлежности его именно м н е,— помимо всяких возражений приходится дать грубый отпор. Попытки футуристов и Линцбаха текут по противоположным скатам.

Футуристы, любя в языке свою кровную связь с ним, ищут еще более тесной близости; язык естествен, но, по ним, уже недостаточно естествен, и требуется совлечь с него в с е наслоения искусственности, условности и произвола; тогда будет непрестанное зачатие словесное,— надеются они, — забывая, что мертвая шелуха языка — не от языка зависит, а от мертвенности духа, в речи себя являющего. Напротив, Линцбах языка просто не любит, своей связи с ним не ощущает, живет в нем, не как в своем теле, а как в наемном номере гостиницы, и потому, естественно, озабочен наиболее рациональной обмеблировкой этого номера. Самая мысль об органическом в языке чужда ему: он все признает сделанным, а не — рожденным, и язык отсюда не исключается. Линцбаху не дорог язык, а дороги услуги языка; но языку, исторически существующему, не свойственна точность и однообразность действий механизма; следовательно,— рассуждает конструктор «философского языка»,— следовательно, этот скверный кустарный механизм подлежит уничтожению и замене и н ы м, по зрело выверенному проекту. Таким проектом и предназначено быть обсуждаемой книге.

XIX. Действительно, эта книга есть зрелый плод долговременной работы ее автора,— «результат всей сознательной половины его жизни — около четверти столетия» [8, с. XII]. Исследуемые здесь предметы неоднократно пересмотрены, так что изложение содержательно в каждой своей строке и образует сплав плотный и твердый,— полную противоположность наскоро по самому существу дела, сымпровизированному футуризму. И насколько футуризм — имею в виду кубо-футуристов — ярко показателен для русской мысли, настолько же исследование Линцбаха — словно из другого мира: это,— конечно,— характерный образчик французской мысли, и притом не современной, а мысли XVIII века. Как и «идеологам» XVIII века, Линцбаху чужда мысль об органическом развитии: есть лишь идея прогресса, движимого рациональными проектами. Самая идея организма подменена у него, как и у мыслителей XVIII века, представлением о механизме. Все условно, существует н е по природной необходимости вещей, но по какому-то общественному соглашению. Но соглашение это, хотя и произвольное, неудачно, ибо мало рационально: как и французы XVIII века, Линцбах всем недоволен, ему все хотелось бы переделать, переставить, подстричь, со всем расправиться по-свойски. Себе не веришь, читая эту книгу: ка́к могло случиться, что после эволюционизма и историзма, после экономического материализма, после философии воли и бессознательного, могла возникнуть такая несвоевременная выдумка, как «философский язык» Линцбаха. Но нам-то — он находка. Постараемся же, возможно кратко, обозреть эту книгу.

XX. Автор ее исходит из предпосылки, считаемой им за самоочевидную, хотя языковедам она представляется доселе нерешенной и, быть может, по существу нерешимой,— а именно, что предки наши «изобрели существующие языки» [8, с. V], что язык искусствен — и даже более всех других искусств. С этой предпосылки он начинает; она же подразумевается на каждой странице его труда. Правда, далее в последнем из параграфов своей книги, он несколько смягчает эту предпосылку; из животного происхождения человека,— в каковое г. Линцбах верит без какой-либо критики,— следует, что и зачатки языка и разума всегда были у живых организмов и что, следовательно, самый вопрос, ка́к человек мог «приобрести язык и разум, упраздняется вовсе. Вопрос этот сводится здесь к вопросу не о приобретении языка и разума, а лишь об усовершенствовании их» [8, с. 213]. Это ограничение, сделанное после того, как написана целая книга, по меньшей мере бесполезно. Но оно, кроме того, противоречит духу и букве книги, ибо тут непрестанно твердится о языке, как об условной системе знаков, одной из многих, ждущих своих изобретателей. Можно не говорить о предвечном бытии того, что принимается по условию, по соглашению? А если подобная речь все же велась бы, то не утверждалась ли бы ею тогда не условная, не произвольная основа языка? Однако, в самом исследовании своем Линцбах гораздо последовательнее, чем может показаться из приведенного места, и если говорит о нерациональной основе языков исторических, то с неизменной брезгливостью, как о соре, подлежащем уборке.

Существующие языки нерациональны: нерациональны, как возникавшие полу-сознательно, а не сочиненные по продуманному плану; нерациональны и по самой связи их с нашим организмом, тоже нерациональным. И, прежде всего, таким источником несовершенств языка объявляется рот, бедный рот, неугодивший линцбаховскому вкусу ко всеобщему равнению. «При исследовании алфавита какого-нибудь языка нетрудно заметить, что различные категории звуков представлены здесь неодинаково. Система членораздельных звуков любого языка напоминает собою некоторую несовершенную систему мер, в которой основание счисления непостоянно и меняется без какого-либо разумного основания [не скромнее ли было бы добавить: «Мне известного».— *П. Ф.*]. Так, напр., из двух противополагаемых друг другу категорий звуков,— гласных и согласных, число первых обыкновенно значительно меньше, чем число вторых, зубных гласных больше, чем губных, и т. д. [Но почему,— спросим себя,— почему Линцбаху разумным распределением кажется лишь распределение по́-ровну? Неужели его сведения о закономерностях не идут дальше прямой пропорциональности? — *П. Ф.*]. Сравнивая алфавиты различных языков, видим, что они неодинаковы. Звуки, употребляющиеся в одном языке, отсутствуют в другом, причем в одном языке преобладают одни звуки, а в другом — другие, и т. д. [Следовательно, заключил бы языковед, дух народа, выражающийся в их языках, различен: для выражения различного, потребовались народам и различные звуки. Рассуждение простое; но Линцбах думает об этом как-то иначе.— *П. Ф.*].

Такое неравномерное распределение звуков, неравномерное участвование в процессе речи различных частей рта, неравномерное применение различных способов произношения и т. д., свидетельствует прежде всего о недостатках конструкции рта, как органа речи. [«Прежде всего», свидетельствует о стремлении г. Линцбаха ввести казенное равнение даже в рот, за неподчинение чему этот последний и объявляется неудачно скон-

струированным.— *П. Ф.*]. Первоначально рот был создан не для речи, а для еды. [Откуда это известно? — *П. Ф.*]. К речи он приспособлен впоследствии, и здесь конструкция его не могла не вносить дисгармонии в строение речи. Очевидно, что от этого обстоятельства мы должны отвлечься, если хотим прийти к идеальной конструкции речи. Последнюю мы должны мыслить и представить себе не как функцию человеческого рта, а как функцию некоторого специального прибора, свободного от тех недостатков, какими обладает рот.

К решению этой задачи мы должны подойти подобно ученому, который стремится понять явление в самом простом виде, и технику, который хочет приспособить его к своим целям, извлечь из него наибольшую пользу. Здесь нас должно интересовать только предельное решение вопроса, такое решение, которое было бы окончательным и дальше которого уже нельзя было бы идти. Одним словом, мы должны стремиться к наиболее простому и правильному решению проблем языка.

Имея дело с алфавитом, мы можем поступать по примеру садовника, который оперативным путем удаляет все ненужные ветки. Нам нужны простота, правильность и симметрия, а алфавит наш явно грешит против этих требований разума. Попробуем, поэтому, устранить из него эти недостатки, без жалости уничтожая все то, что нам мешает» [8, с. 31—32]. Но и после этого устранения остаются некоторые недостатки; они «зависят от недостатков членораздельной речи вообще, которая [...] не может быть вполне рациональной, ибо нерациональность произношения обусловлена нерациональностью конструкции рта, как органа речи. Но выражения наши будут отличаться большею стройностью, если мы воспользуемся каким-нибудь другим, технически более рациональным способом» [8, с. 162]. Тогда «в качестве оратора может выступить [...] такое простое механическое приспособление, как колокольня, оборудованная двумя колоколами различного тона или тембра» [8, с. 164]. Таковы замыслы Линцбаха. Вот он, просвещенный деспотизм, залезающий в чужой рот и предлагающий немедленно, под угрозой штрафа или казни заменить «язык таким простым приспособлением», как колокольня — только потому, что г-ну Линцбаху или иному его приятелю заблагорассудится свое непонимание выдать за окончательный принцип бытия. Если уж резать языки, то не всему человечеству, а реформаторам естества.

XXI. Поясним характер этого «оперативного устранения» звуков. «После удаления всех неправильно развитых отделов», у Линцбаха получился следующий сокращенный алфавит:

п	ф	т	с
о	а	ü	и
б	в	д	з
о	ä	ö	е

соответствующий рациональной классификации:

Согласные								Гласные							
Губные				Язычные				Неязычные				Язычные			
Безголосные		Голосовые		Безголосные		Голосовые		Твердые		Мягкие		Твердые		Мягкие	
Моментальные	Длительные	Моментальные	Длительные	Моментальные	Длительные	Моментальные	Длительные	Губные	Зубные	Губные	Зубные	Губные	Зубные	Губные	Зубные
П	Ф	Б	В	Т	С	Д	З	О	А	О	Ä	Ü	И	Ö	Е

[8, с. 32—33].

Вы удивитесь, а где же другие, столь употребляемые звуки, и прежде — заднеязычные

к	х
у	ы
г	ь
о	э

Они удалены оперативным путем. Почему?— По мотиву более чем слабому: «если принять эти две группы [язычных.— *П. Ф.*], то пришлось бы, д л я с о х р а н е н и я с и м м е т р и и *, либо вовсе отказаться от употребления звуков, которые в нашей таблице отмечены, как неязычные, [...] либо принять еще одну новую группу, так называемых среднеязычных звуков:

ч	ш
(üу)	(ыи)
(дж)	ж
(Öö)	(эе)

Однако эта последняя группа имеет тот недостаток, что ей соответствуют такие гласные звуки [...], которые, хотя и могут быть произнесены, но которые до сих пор не приняты, по крайней мере в известных нам культурных языках. Поэтому нам остается здесь либо отказаться вовсе от этих добавочных звуков, либо научиться произносить еще некоторые совершенно новые звуки, непривычные для слуха» [8, с. 34—36]. Итак, только потому, что г. Линцбах не сумел внести симметрию в классификацию звуков, он запрещает самые звуки. До такого чудовищного насилия над жизнью во имя схем не доходил сам Марат. Но Линцбаху этого мало. Еще не попадают в его классификацию звуки:

«губные . . . . . м л,

переднеязычные . . . . . н р [и — *П. Ф.*]

заднеязычные . . . . . н р (картавые)» [8, с. 36].

* Выделено П. Флоренским.— *Ред.*

Они тоже изгоняются,— за то, что у них нет соответствующих гласных форм и, будучи сами на границе гласности, лишены безголосной формы согласных, т. е. другими словами их не удается рассадить по клумбочкам Линцбаха. Следовательно, они подлежат уничтожению. Но что́ же?— оказывается недостаточно послушной и та небольшая часть — всего шестнадцать — звуков, которые пощажены свирепым языковедом. «При попытках создать группу членораздельных звуков, которая удовлетворяла бы всем возможным требованиям идеальной классификации, мы неизбежно наталкиваемся на противоречия. И это потому, что членораздельные звуки, в таком виде, в каком они произносятся органом речи, не удовлетворяют требованиям рациональной техники. Конструкция их не такова, чтобы они могли составить систему, во всех отношениях стройную.

Гармония в данном случае нарушена присутствием наравне с согласными гласных звуков, ибо, отдельно взятые, эти 8 гласных и 8 согласных делятся вполне рационально [...]. Если мы хотим сохранить возможность устной речи, то должны мириться со сказанным недостатком. Но это не мешает нам, в принципе, все-таки, считать это только недостатком, которого не было бы, если бы орган речи имел другую, более совершенную конструкцию» [8, с. 34].

Но не проще было бы сознать просто н е г о д н о с т ь своих схем и классификаций, чем мечтать об удалении из речи гласных или согласных? Не рациональнее ли?

XXII. Таков дух деспотизма и насилия, определяющий книгу Линцбаха. Но теперь, дав пояснение о складе книги, постараемся по возможности очертить с положительной стороны связь ее мыслей.

Задача Линцбаха устанавливается его враждою к историческому. Если язык, в самом деле, рационально придумывается, то по ложному пути идет современное языкознание, собирающее и изучающее языки существующие, но не сочиняющее своих. Этой алхимии языка Линцбах думает противопоставить химию языка,—«точное языкознание» или, как он еще называет его «математическое языкознание». Последнее призвано не изучать готовые языки, но строить новый язык без словаря и грамматики: «ибо словарь и грамматику заменяют здесь правила математики. Этимологией является здесь геометрия, а синтаксисом — алгебра; причем буквы заменяются цифрами, имеющими особую математически обоснованную конструкцию» [8, с. VIII]. Этот новый язык обещает чрезвычайные преимущества. Выражения его «отличаются в общем такою же понятностью, какою отличаются рисунки [...]. Новый язык доступен каждому ребенку с первых дней [даже дней! — *П. Ф.*] его жизни и совершенно не нуждается в работе памяти, ибо он основан на свободном творчестве [по мнению автора; а на деле — на ряде совершенно произвольных соглашений, почему для него прежде всего требуется зубрежка.— *П. Ф.*]. Благодаря этому он понятен всем народам без какого-либо предварительного изучения его [для чего же написана тогда целая книга?— *П. Ф.*]» [8, с. VIII]. Основанные на непосредственном «улавливании образов» и обладая поэтому «значительно большею силою», «выражения нового языка будут значительно короче выражений обыкновенного языка. Там, где на обыкновенном языке оратору приходится говорить часами, достаточно на новом языке работы нескольких минут. То, что в случае обыкновенного языка составляет толстую книгу, на прочтение которой нужно потратить дни, может быть изложено здесь в виде тоненькой брошюрки, содержание которой можно узнать в течение какого-нибудь часа» [8, с. IX]. Фантазия точного мыслителя разыгрывается. «Мысль, выражаемая здесь прежде всего в виде геометри-

ческого чертежа (представление) или алгебраической формулы (понятие), может быть представлена не только устно или письменно посредством условного алфавита, но и всеми другими способами, которые выработаны искусством. Она может быть представлена графически, в виде рисунка, пластически, в виде модели, сценически, в виде представления, протекающего во времени. Она может быть представлена также в виде музыкальной мелодии и в виде игры телодвижений,— некоторой пляски или ритмической гимнастики. Может быть представлена в виде игры красок, встречающейся на коврах, тканях и т. п. предметах украшения. Здесь возможны все вообще способы выражения, притом не только те, которые существуют в настоящее время, но и те, которые когда-либо существовали или будут еще изобретены [...]. Вообще, различным математическим образам будут соответствовать различные художественные образы, [...] причем одна математическая или художественная форма будет покрывать другую, так что формуле будет соответствовать чертеж, чертежу — рисунок, рисунку — поэма, поэме — мелодия, мелодии — пляска» [8, с. IX—X]. Вот мысль, верная в своем общем направлении, как конкретно пересказанный тезис о всеобщем соответствии, но насквозь фантастичная, коль скоро им утверждается нечто бóлее определенное. Ведь всеобщее соответствие есть з а д а ч а, задача высокого синтеза всех деятельностей духа, ныне лишь частично определяющаяся, да и то при особой чуткости, но — отнюдь не что-либо готовое, на что можно сослаться. Есть переклики и взаимные отзвуки явлений и вещей; но постигнуть тут даже частности — дело углубленной мудрости и особых даров созерцания. Впрочем, Линцбах не только не старается очертить эти взаимо-отражения природы, но даже не подозревает, что их надо именно о т к р ы т ь, а не произвольно с о ч и н и т ь. Он с а м устанавливает соответствия, случайно и произвольно, не имея ни созерцательной чуткости, ни философского метода,— устанавливает, можно сказать, административно, и вдобавок подчеркивает свой произвол, предлагая соответствие такое, а то и другое, и третье. Ясное дело: так не получится не только символических перекликов жизни, но, хуже того, образуется огромная система оккультной лжи, и если бы она, несмотря ни на что, все же была бы проведена в общественную жизнь, то стала бы источником величайшего оккультного бедствия и вводила бы общество в противоестественные, уродливые и губительные тиски.

Но автор, не исследовав вопросов ни оккультизма, ни наследственности, и вообще биологии, ни других сторон антропологии, берет на себя смелость заверить нас в противном. «...Быть ученым будет означать здесь [т. е. при пользовании его языком.— *П. Ф.*] в то же время быть и художником, и быть художником будет означать быть им зараз во всех областях искусства. Но мало того. Быть человеком значит вообще быть существом говорящим. Поэтому, быть говорящим на философском языке значит не просто быть человеком, а быть философом,— существом, стоящим в силу самого обладания новым, более совершенным языком на некоторой высшей ступени развития. А это, в свою очередь, равносильно переходу в новое сверхчеловеческое состояние, ибо новые существа, вооруженные с первых дней своей жизни всеми знаниями и искусствами, будут стоять здесь настолько же выше обыкновенных людей, насколько эти последние, обладая обыкновенным языком, стоят выше животных [...]. Философский язык, как язык идеальный, представляет собою нечто небывалое, нечто в буквальном смысле слова чудесное ...» [8, с. X]. И то же, в более подробном развитии, составляет предмет последней главы, «Об идеальной культуре».

XXIII. Таковы радужные мечты г. Линцбаха; ему, впрочем, они не

кажутся мечтами, ибо свой язык он считает уже́ существующим. В семи последовательных главах — об идеальном письме, об идеальном языке, об идеальных представлениях, об идеальных понятиях, об идеальных знаках, об идеальных выражениях и об идеальной культуре — он делает попытку показать, ка́к от языка русского можно перейти к языку философскому; переход этот посредствуется семью же, соответствующими главам, принципами, извлекаемыми из деятельности разума в языке и науке, точнее — физико-математической науке. Принцип сокращения, принцип упрощения, принцип непрерывности, принцип прерывности, принцип упорядочивания, принцип приспособления, принцип достижения — таковы семь ступеней, возводящих к философскому языку. Так — по декларации автора.

На самом же деле это — семь наслоений мысли г. Линцбаха, во многом весьма значительные и ценные порознь, но явно разновременные, и разнохарактерные; о единстве их, а потому — и единстве философского языка, можно говорить лишь очень условно и приблизительно. Правильнее же всего было бы рассматривать их как различные, и в весьма различной степени приемлемые, попытки подойти к усовершенствованию той или другой самозамкнутой области, входящей в общую сферу языка.

Итак, что́ же разумеется в книге под я з ы к о м? Понятие о языке далеко не покрывается понятием о членораздельной речи, ибо сюда входит еще речь письменная, язык мимики, язык жестов, язык рисунка, язык красок и музыкальных тонов, язык природы, язык фактов и т. п. Но наиболее зафиксированной формой языка является язык письменный и язык рисунка. От них-то исходит Линцбах. Читая книгу, рассуждает он, мы как бы присутствуем при кинематографическом представлении: чтобы прочитать страницу, нужно известное в р е м я, в котором развертывается образ последовательно. Рисунок же, относясь к единому мгновению, может быть узнан одним актом [?— *П. Ф.*]. Поэтому рисунок относится к тексту так, как некоторая единица относится к некоторому множеству. В процессе быстрого чтения текст распадается на единицы смысла, охватывающие собою некоторое число букв, узнаваемых сразу. Так устанавливается понятие о моменте времени — минимальном времени, требующемся для узнания некоторой объединенной, сложной ли, или простой, безразлично, группе черточек, будь то точки, штрихи или целый рисунок.

Чем же объясняется существование такой единицы времени, равной приблизительно 1/7 секунды?— Физическими условиями, в которых работает глаз: впечатления более частые, нежели 7 в секунду, не могут быть различаемы, ибо сливаются. Прежде чем глаз освободится от некоторого образа, должна пройти 1/7 секунды, а до тех пор он занят, следовательно, в одну секунду нельзя внимательно прочитать более 7-ми слов; когда же мы читаем быстрее, мы пропускаем часть слов (2/5), с о к р а щ а я текст, но норма чтения, т. е. 7 слов в секунду, остается ненарушенной. Это число — 7 на 1 секунду — оказывается общим различным сторонам человеческой деятельности; в секунду: рот не может выговорить более 7 слов, рука не может сделать более 7 движений, а потому написать более 7 черточек, определяемых единичным нажимом, независимо от их размера, и вида и т. д., что́ определяется опять-таки физическими условиями деятельности органов. Иными словами, разные способы выражения находятся в гармонии, ибо в с е деятельности и восприятия могут протекать с одинаковою предельною скоростию, по 7-ми элементов в 1 секунду.

На этот факт опирается теория философского языка, пытающаяся придумать и способы выражения равно-скорые. В существующих же культур-

ных формах жизни именно упомянутый выше факт ведет к дисгармонии. В самом деле: слово содержит в среднем $2^1/_2$ слога, кроме того на слово приходится, в среднем $1^1/_2$ паузы (одна — разделяющая слово от слова, в конце слова, и 1/2, в среднем, на знак препинания). Следовательно, мы произносим, в среднем $7 \times 1^1/_2 : 2^1/_2 = 4^1/_5$ слога в секунду. Медленно говорящий оратор выговаривает 60 слов в минуту, умеренно говорящий — более 150 слов, спешащий — до 250 слов, скороговоркой говорящий, еще более. Но: на 1 слог приходится около $2^1/_2$ буквы, на букву около $2^1/_2$ нажимов, и следовательно, если средней руки оратор произносит 100 слов в минуту, то средней руки писец может записать за ним только 15 слов, т. е. письменная речь в 6—7 раз медленнее устной. Соответствия между ними нет.

Тогда применяется принцип сокращения: индивидуальный почерк, пропуск гласных, опускание концов слов, условные обозначения слов и оборотов, недословная запись речи. Каждый из этих приемов позволяет сократить работу не более чем на 40%, в среднем на 2/5, и целое после этих 5-ти приемов стенографии остается узнаваемым. Таким способом письменная речь может казаться догоняющей устную; но стенография не дает подлинного решения нашего вопроса, ибо нет здесь соответствия элементов одной элементам другой и, кроме того, наверстываемое в скорости пишущим перекладывается на читающего стенограмму. Очевидно, к вопросу о письме надо подойти иначе.

XXIV. Линцбах указывает, что преимущество речи устной перед речью письменной — в сотрудничестве многих органов рта и гортани и в обременности работою, при письме, одного только органа — в сущности одного пальца. Посему, и письменная речь могла бы не отставать от устной, если бы было придумано многопалое письмо, причем каждый палец делал бы в единицу времени один лишь нажим. Устанавливая соответствие 10-ти пальцев 10-ти же характерным признакам букв (нос, губы, зубы, щеки, язык, гласные, твердые, моментальные, передние, задние), Линцбах придумывает алфавит, который, если бы построить особую машину, в роде пишущих, типа ремингтона и т. п., можно было бы в точности поспевать за любым оратором [24].

Те и другие — творцы языка заумного и сочинители языка философского — что-то очень уж торопятся куда-то; все-то им некогда, все-то им надо ускорить речь, сэкономить драгоценное время, ехать на экспрессе. Эх, товарищи, мы живем на Руси и знаем все конституцию: «Дело не медведь, в лес не убежит». Куда это торопитесь вы, словно предстоит вам наговорить на тысячу томов, а если бы и впрямь предстояли эти тысячи томов, то, смотрите, в доброе старое время, без всяких тороплений и изобретенных языков успел же старый греховодник Вольтер наблудить языком 70 * томов. И вы поспеете. Только правда ли, что у вас такой неиссякаемый запас мысли, что его не выговоришь русским языком? Одни из вас решают задачу языка-экспресса так, другие — иначе. Но вот замечательно: торопиться-то вы торопитесь, а сказать вам (будем по-демократически, по-товарищески) ... кажется, нечего. Вы торопитесь сказать о своей торопливости — и сидите на месте,— куда спокойнее, чем со словарем Даля и грамматикою Кирпичникова ... точь-в-точь русское торопливое прощание с двухча-

---

[24] См. 1-ю главу книги *Я. Линцбаха*: «Об идеальном письме. Принцип сокращения».

* В тексте пропуск. Количество томов в полных собраниях сочинений Вольтера выяснено по Краткой литературной энциклопедии.— *Ред.*

совым разговором в передней. Ну, туда-сюда товарищи будетляне. Цедя свои баячи, они могут отвести упреки ссылкою на непонятность свою, они ведь сохранили все права на вечную непонятность свою. Но, товарищу папа-ту-фу, вы-то ведь распинаетесь за практичность своего языка, вы-то ведь рациональны насквозь. Что же сказали вы? Пока что от вас мы слышали только рассказ — для годовалого дитяти — о том, как жили-были два охотника, как поехали они на охоту, как напали на них страшные волки, и приехали охотники в город, напились там чаю и залегли спать. Надо же было вам, на грех, столько твердить о своей занятости, чтобы потом, на протяжении целой книги, на все лады повторять эту историйку об охотниках и для нее специально сочинить особый язык... Для нее, говорю, ибо сочиненный вами язык, только для нее и придуман, и хотелось бы мне видеть, как примените вы его, рассказывая другую подобную историю о бабушке и ее сером козлике или о непослушном мальчике, попавшем в темный угол. На более сложные повести я не притязаю, жалеючи вас. Каждому простейшему рассказцу придется посвятить по книге. Спешите, спешите вы,— а сразу видно, что делать вам нечего, вот вы и тешитесь переливанием из пустого в порожнее рассказчика об охотниках посредством «фафефу». И сообщить вам тоже нечего: сообщили бы, на самом обычном языке, что-нибудь более занятное, коли было бы что.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Victor Henry.* Antinomies linguistiques. Paris, 1896.
2. *В. фон Гумбольдт.* О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб., 1859.
3. *Д. Дарский.* «Радость земли». Исследование лирики Фета. М., изд. К. Ф. Некрасова, 1916.
4. *Василий Каменский.* Его-Моя биография Великого футуриста. Книгоиздательство «Китоврас», М. 1918.
5. *А. Крученых, В. Хлебников.* Слово как таковое. М., 1913.
6. *Г. Тастевен.* Футуризм. (На пути к новому символизму). С приложением перевода главных футуристических манифестов Ф. Маринетти. М. 1914.
7. Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник», книга 22, СПб. 1914.
8. *Я. Линцбах.* Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. Петроград 1916.
9. *А. Г. Горнфельд.* Муки слова. (Сборник журнала «Русское Богатство», под ред. Н. К. Михайловского и В. Г. Короленко. Спб. 1899. с. 73—110).
10. *Д. Овсянико-Куликовский.* К психологии понимания. (Сборник «Помощь пострадавшим от неурожая Самарской губернии», издание О. Р. Васильевой. М. 1900).
11. *Ф. Батюшков.* В борьбе со словом. (Журнал Министерства народного просвещения, СПб. 1900, февраль, с. 209—228).
12. *К. Бальмонт.* Поэзия как волшебство. М. 1915.
13. *В. Ветгэм.* Современное развитие физики. Изд. 2-е, «Mathesis», «Одесса 1912.
14. *Иван Грузинов.* Бубны боли. Стихи. М. 1915.
15. *Святогор.* Стихеты о вертикали. М. 1914.
16. Стрелец. Сборник первый. Под ред. *А. Беленсона.* Петербург 1915.
17. *Д. Крючков.* Цветы ледяные. Вторая книга стихов. Изд-во «Очарованный странник», СПб. 1913.
18. «Пета». Первый сборник. М. 1916.
19. «Очарованный странник». Альманах осенний. СПб. 1914.
20. Сборники по теории поэтического языка. Выпуск первый. Петроград 1916.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

МАЛАХОВСКИЙ Л. В.

НОВОЕ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Хорошо известно, что несмотря на серьезные достижения в области теоретической лексикографии, мы все еще сильно отстаем от многих развитых стран мира в отношении лексикографии практической, особенно в отношении издания толковых и иных филологических словарей. По количеству выпускаемых толковых словарей мы занимаем далеко не первое место — как по разнообразию типов словарей, так и по тиражу. Достаточно сказать, что за 35 послевоенных лет (1946—1980) у нас вышло всего четыре толковых словаря общим тиражом менее трех миллионов экземпляров [1], тогда как в США ежегодный тираж словарей (среди которых толковые составляют большинство) превышает 10 миллионов экземпляров [5]. Это означает, что за один год в США выпускается больше толковых словарей, чем было издано у нас за все послевоенные годы.

О нашем отставании в области практической лексикографии говорит и тот факт, что если в Великобритании, по данным анкетирования, 96% студентов гуманитарных и технических специальностей имеют собственные толковые словари и регулярно ими пользуются [6], то у нас, как показал опрос, проводившийся автором этих строк среди студентов-филологов старших курсов, имеют свой толковый словарь русского языка и регулярно пользуются им только 3% опрошенных, а 20% вообще не знают о существовании словаря этого типа. А ведь толковый словарь — это не просто справочник, это мощное идеологическое оружие, это сильнейшее средство интеллектуального развития народа!

Несмотря на такое отставание, важность изучения зарубежного лексикографического опыта все еще у нас недооценивается. Дело осложняется еще и тем, что лексикографы-русисты, как и специалисты по другим национальным языкам нашей страны, в большинстве случаев не владеют иностранными языками в такой степени, чтобы иметь возможность регулярно знакомиться с принципами построения зарубежных словарей. Специалистов по зарубежной лексикографии у нас можно пересчитать по пальцам, но даже и они к работе словарных коллективов не привлекаются. В результате зарубежный опыт у нас практически не изучается, и то полезное, что в нем есть, не принимается.

---

[1] Тираж отдельных томов 17-томного академического словаря русского языка [1] — от 3000 до 26 000 экземпляров, тираж 4-томного словаря [2] — 150 000 экземпляров, суммарный тираж 12-ти изданий Словаря С. И. Ожегова [3] — 2 345 000 экземпляров, а двух изданий Краткого словаря для иностранцев под ред В. В. Розановой [4] — 230 000 экземпляров.

Не зная зарубежного опыта, наши лексикографы нередко тратят годы на разрешение какой-либо давно решенной проблемы или на то, чтобы в конечном счете создать словарь, заведомо не соответствующий современному уровню развития лексикографии. Достаточно сослаться на вышедший в 1981 г. «Школьный толковый словарь русского языка» М. С. Лапатухина и др. [7], который по всем параметрам настолько уступает современным зарубежным словарям, что его можно, в лучшем случае, поставить на уровень американских школьных словарей, появившихся в конце прошлого века, в эпоху донаучной школьной лексикографии [2].

В то же время зарубежные авторы не пренебрегают возможностью заимствовать то ценное, что имеется у нас. Так, целый ряд инноваций, введенных в неологическую лексикографию Группой новых слов Словарного отдела Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР под руководством Н. З. Котеловой [9—11], использован в словарях и бюллетенях новых слов известного американского лексикографа К. Л. Барнхарта [12—14], который специально знакомился с работой этой Группы и регулярно получает ее издания [3].

Перед нашей страной стоит задача выйти на уровень высших мировых достижений по всем видам продукции. Но мы почему-то забываем, что это относится не только к области материального производства, но и к сфере духовной жизни, к продукции научной, в том числе и лексикографической. Именно поэтому задача изучения зарубежного лексикографического опыта приобретает сейчас особую остроту.

Основной процесс, происходящий в последние годы в зарубежной, и, в частности, англо-американской лексикографии,— это широкое внедрение автоматизации. Крупнейшие издательства — такие, как Меррием-Уэбстер, Саймон энд Шустер, Хаутон Миффлин, издательство Оксфордского университета и др.,— осваивают компьютерную технику и переводят свои словари и многомиллионные картотеки в машинную форму [15, v.7, № 2, p.6]. Использование компьютеров позволило быстро завершить работу по формированию ряда крупных картотек, которая на протяжении многих лет велась вручную. Полностью закончено составление картотеки исторического тезауруса английского языка (университет Глазго), продолжавшееся 17 лет, и картотеки словаря современного английского устного и письменного словоупотребления (Лондонский университет) объемом в 1 млн. слов, начатое в 1957 г. [15, v. 7 № 1, p. 7]. Использование компьютерной техники в сочетании с традиционными методами позволило ускорить составление «Словаря древнеанглийского языка», а также Большого академического словаря нидерландского языка, работа над которым была начата в Лейдене еще в 1851 г., и Исторического словаря исландского языка, который составляется в Рейкьявике с 1943 г. [5, v. 9, № 2, p. 10—11].

Внедрение автоматизации в лексикографию сделало возможным осуществление стоящей перед английской лексикографией грандиозной задачи — слияния двух разрозненных частей Большого Оксфордского словаря: 12 основных томов (объемом в 7000 авторских листов), завершенных в 1928 г. и переизданных в 1973 г. [16], и 4 дополнительных (объемом в 2000 авторских листов), законченных в 1986 г. [17]. Эта задача решается сейчас издательством Оксфордского университета в сотрудничестве с компьютер-

[2] Опубликованный несколько ранее (в том же году) словарь русского языка для учащихся национальных школ [8] более точно учитывает возрастные особенности юных читателей, однако и он во многом еще отстает от лучших зарубежных словарей этого типа.

[3] См. опубликованную К. Л. Барнхартом [14, v. 3] рецензию Р. А. Гудвина на словари новых слов и значений под ред. Н. З. Котеловой.

ным центром канадского университета Уотерлу. Издательство взяло на себя всю лексикографическую часть работы, а центр — составление программ и инженерное обеспечение проекта. На эту работу ассигновано 10 миллионов долларов. Для ввода в машинную память материалов словаря, содержащего около полумиллиона статей и 2,5 миллиона цитат, использовалось одновременно 650 операторов. В 1987 г. ввод материалов был закончен и началась работа по слиянию основных и дополнительных томов, устранению замеченных в словаре ошибок и введению новой лексикографической информации (новые слова, примеры, уточненные даты и т. п.). По завершении этой работы словарь будет храниться в машинной форме и постоянно обновляться [15, 8, № 1, p.1; 9, № 1, p.4; 11, № 1, p.4].

В настоящее время многие словари [18—21] уже существуют в машинной форме и на определенных условиях предоставляются пользователям [15, v.7, № 2, p.8; v.11, № 1, p.4]. Два машинных варианта известного словаря А. С. Хорнби [18] — один, описывающий словарный состав на лексемном уровне (38 000 статей), другой — на уровне словоформ (60 000 статей) — высылаются изготовителями по запросу [15, v.11, № 1, p.4].

Все большее развитие приобретает составление специальных программ автоматической переработки текста и создание разного рода лексических баз данных для использования в коммерческих целях. Так, еще в 1983 г. в Канаде рекламировались две программы — Alfa и Global, стоимостью 100 долларов каждая, позволяющие получать с помощью микрокомпьютера алфавитные и частотные списки словоформ текстов, находить цитаты к заданным словам и словосочетаниям и т. д. [15, v.7, № 2, p.6—7]. В том же году Норвежский вычислительный центр гуманитарных наук Бергенского университета предлагал за плату желающим для использования в качестве баз данных Международный компьютерный архив современного английского языка [15, v. 8, № 1, p.4]. К сентябрю 1986 г. в США «коммерчески доступными» были такие базы данных, как Nexis, Lexis Vu/ /text, Magazine ASAP, Trade and Industry ASAP и др., которые могут использоваться для сбора цитат, определения частоты слов и словосочетаний и разного рода лексикологических исследований [15, v.10, № 3, p.5]. Как сообщает К. Л. Барнхарт, использование приобретенных им баз данных Nexis и Magazine ASAP объемом 14 миллиардов словоупотреблений позволило ему автоматизировать поиск неологизмов в периодике и увеличить количество лексем, включаемых в его бюллетень новых слов, с 350 в 1982 г. до 1200 в 1985 г. [14, v.4, p.121].

Компьютерная техника находит все более широкое применение в различных лингвистических исследованиях, в том числе и в работах лексикографического характера. Так, использование миникомпьютера при обработке материалов полевых исследований индейских языков семейства юман позволило за 40 минут получить готовый сравнительный словарь этих языков, на что при обработке вручную ушли бы годы [15, v.11, № 1, p.4]. По-новому используется компьютерная техника составителями многотомного словаря американского регионального варианта английского языка [22], где распределение употребления слова (в определенном значении) по районам США наглядно показано с помощью включаемой в состав словарной статьи небольшой географической карты, составленной на компьютере [4]. При подготовке этого словаря огромная масса данных диалек-

[4] См. обстоятельную рецензию Д. К. Барнхарта на этот словарь [14, v. 4, p. 154—156].

тологической анкеты — 2 500 000 ответов — была обработана также с помощью компьютера [15, v.9, № 2, p.1].

Вопросы компьютеризации все чаще обсуждаются на лексикографических конференциях и совещаниях — как общих, так и посвященных этой тематике. Так, на конгрессе общества Евралекс, проходившем в сентябре 1986 г. в Цюрихе, этим вопросам было посвящено 15 докладов. Из специальных конференций можно назвать Международную конференцию по базам данных для гуманитарных и общественных наук (университет штата Нью-Джерси, 1983 г.), где обсуждались такие темы, как «База данных для немецкого языка», «Терминологические словари как динамические окна в лексическую базу данных» и др., VI Международную конференцию по компьютерам и гуманитарным наукам (университет штата Северная Каролина, 1983), на которой был представлен ряд докладов по темам, связанным с применением компьютеров в лексикологии и лексикографии, XI Международную конференцию по применению компьютеров в литературоведении и лингвистических исследованиях (бельгийский Институт философии, 1984 г.) и ряд других. Из более поздних совещаний заслуживают упоминания конференция Общества вычислительной лингвистики (COLING), состоявшаяся в Бонне в августе 1986 г. (доклады «К созданию системы управления специальной базы данных для словарей», «Расчет архитектуры электронного словаря» и др.), II ежегодная конференция канадского Центра Нового оксфордского словаря, состоявшаяся в университете Уотерлу в ноябре 1986 г. (доклады «Построение лексической базы данных путем грамматического анализа Малого словаря Уэбстера», «Проект системы двуязычной лексической базы данных» и др.) и III конференция того же Центра на тему «Использование баз данных, основанных на больших текстах» (ноябрь 1987 г.). [15, v.11, № 1, p.1—3].

Современный этап развития англо-американской лексикографии характеризуется, наряду с компьютеризацией, появлением новых типов словарей, использованием новых методов представления материала, возникновением новых идей в организации лексикографической деятельности. Ярким примером нового подхода к представлению лексикографического материала может служить описанный выше наглядный показ диалектологических данных в американском региональном словаре. Инновации другого рода встречаем в 9-м издании Малого (содержащего 160 000 статей) словаря Уэбстера [23], где впервые в практику неисторического словаря введена датировка наиболее ранней фиксации слова в письменных памятниках, и в 7-м издании Краткого (однотомного) Оксфордского словаря [24], в котором даются две новые пометы, ранее не применявшиеся в толковых словарях: D (disputed) — для случаев широко распространенного, но оспариваемого многими авторитетами употребления слова, и R (racially offensive) — для слов, которые рассматриваются представителями определенных этнических или религиозных групп как оскорбительные. Интересное новшество применено составителями второго словаря неологизмов Барнхарта [13] — включение в словарь статей (таких, как «Abbreviation», «Blends», «Coinages» и т. п.), представляющих собой небольшие трактаты о процессах словообразования в современном английском языке со ссылками на соответствующие словарные статьи этого же словаря. Наконец, следует упомянуть о появлении двуязычного (англо-русского/русско-английского) словаря, основанного на принципе «зеркального отражения», при котором каждое русское слово, приводимое в качестве эквивалента английского слова в первой части словаря, обязательно дается как заголовочное слово во второй части, и наоборот [25].

Появление новых типов филологических словарей связано главным образом с включением в сферу лексикографического описания новых лингвистических объектов, ранее в словарях специально не рассматривавшихся. Таковы словари девизов [26], префиксов и префиксоидов [27], суффиксоидов [28], лозунгов [29], ярких выражений [30], аллюзий (намеков) [31], двухбуквенных слов (для играющих в «скрэбл») [32], заимствованных слов (например, англицизмов во французском языке) [33] и др. Появляются терминологические словари, описывающие лексику новых отраслей: глоссарий лексикографических терминов [34], словари терминов телекса [35], словари компьютерных терминов [36—39], терминов прикладной лингвистики [40], а также терминов науки [41]. Серьезное внимание стало уделяться словарям-указателям, или сводным словникам. Вышел указатель заимствований [42], перечисляющий в алфавитном порядке 14 000 слов и выражений, заимствованных английским языком из 80 языков мира, с указанием, в каком из 19 словарей и иных источников они рассматриваются. Опубликован трехтомный фразеологический указатель [43], содержащий свыше 140 000 идиоматических выражений и устойчивых словосочетаний со ссылками на словари (свыше 30), в которых они описаны. Среди словарей новых типов нельзя не назвать выпускаемый с 1982 г. «Спутник словаря» К. Л. Барнхарта [14], ежеквартальник, большую часть содержания которого составляют словарные статьи, фиксирующие новые слова, еще не отмеченные ни одним словарем, а меньшую — рецензии на новые словари и книги по лексикографии, редакционные статьи по актуальным проблемам лексикографии, в частности, по вопросам организации словарного дела и т. п.

Несколько лет тому назад К. Л. Барнхарт выступил с открытым письмом [15, v.9, № 2, p.6], в котором сообщил, что уже в течение длительного времени он занимается приведением в порядок и систематизацией словарных материалов своей фирмы с тем, чтобы сделать их доступными и полезными для своих преемников и для других лексикографов и историков лексикографии. Известно, что материалы, используемые составителями в работе над словарями, недоступны для других авторов. Издательства обычно их засекречивают, а сами составители, как указывает К. Л. Барнхарт, редко выступают в печати с изложением своих лексикографических принципов и методов работы. Рабочие записи, картотеки и прочие материалы по окончании работы над словарем часто не сохраняются или разрозниваются; тем самым накопленный опыт утрачивается. Именно в связи с этим К. Л. Барнхарт и предпринял работу по упорядочению своих словарных материалов и составлению их картотеки. Некоторые материалы предполагается опубликовать.

Интересно, что еще раньше, в 1973 г., тот же автор выступил с идеей создания международного архива цитат, куда он предлагал безвозмездно передать свою обширную картотеку, и призывал других лексикографов последовать его примеру [44]. Сейчас, со вступлением лексикографии в эру компьютеризации, осуществление этой идеи стало возможным. Кое-какие шаги в этом направлении делаются. В частности, в Норвегии создан уже упоминавшийся выше Международный компьютерный архив современного английского языка, который, по данным на 1984 г., объединил три крупных картотеки объемом свыше трех миллионов цитат [15, v.8, № 1, p.4].

Как можно видеть из сказанного, для современного состояния англо-американской лексикографии характерно заметное оживление словарной работы по всем направлениям. Этому немало способствовало создание лек-

сикографических обществ — североамериканского (Dictionary Society of North America — DSNA) в 1977 г. и европейского (European Association for lexicography — EURALEX) в 1983 г. [15, v.7, № 2, p.1]. Бюллетени, выпускаемые этими организациями, сообщают о деятельности лексикографических коллективов и отдельных лексикографов, о проектах новых словарей и о состоянии работы над многотомными словарями, о лексикографических конференциях, симпозиумах, лекциях, семинарах, о статьях по лексикографии, опубликованных в нелексикографических журналах, и т. п. Все это, несомненно, ведет к взаимному обогащению членов общества информацией и к повышению эффективности всей лексикографической работы в целом.

К этому следует добавить, что североамериканское и европейское общества, а также и некоторые другие лингвистические ассоциации регулярно проводят лексикографические конференции, в которых участвуют представители многих стран мира, включая и страны, находящиеся за пределами Европы и Северной Америки. Так, например, на конгрессе Евралекса в 1986 г. присутствовало свыше 200 участников из 29 стран, в том числе из нескольких социалистических [15, v.10, № 3, p.4]. Тематика этих конференций и совещаний — самая разнообразная. Вот лишь некоторые из них: коллоквиум «Проблемы древнеанглийской лексикографии» (университет в Айхштатте, ФРГ, сентябрь 1984 г.), Международная конференция «Значение в лексикографии», где было несколько докладов и по английской лексикографии (Лодзь, июнь 1985 г.), англо-советский семинар по исследованию английского языка (с докладами об учебных словарях и словарях сочетаемости), организованный Британским советом (Манчестер, сентябрь 1985 г.), семинар по исторической лексикографии (университет Эксетер, Англия, март 1986 г.), Международный симпозиум по лексикографии (Копенгаген, май 1986 г.), где обсуждались такие темы, как «Учебный словарь: мечты и реальность», «Словари в обучении языку: что они могут и чего не могут», «Омонимия, полисемия и гетеронимия», «Лексикография и установление норм перевода», коллоквиум Евралекса «Перевод и лексикография» (Инсбрук, Австрия, июль 1987 г.). Многообразна тематика пятинедельного летнего лексикографического института (Англия, 1988 г.): исследование словарей различных типов, макро- и микроструктура словарей, риторика языка составителя, лингвистическая социальная значимость словарей и др. [15, v.11, № 1, p.2].

Говоря о новых идеях в организации лексикографической работы, нельзя не упомянуть о предпринятом в последние годы совместном англо-советском издании ряда словарей— таких, как «Учебный словарь современного английского языка» А. С. Хорнби [45], «Первый учебный словарь» Эми Л. Браун, Дж. Даунингса и Дж. Ситса [46]. Осуществление таких изданий не только обогащает репертуар словарей, доступных нашим читателям, но и способствует обмену лексикографическим опытом и развитию культурных связей между нашими странами.

Наконец, следует сказать о деятельности некоторых английских и американских издательств, направленной на установление контактов с потребителями словарей и повышение их лексикографической культуры. Фирма Меррием-Уэбстер и издательство Оксфордского университета организовали в 1983 г. «службы языка» (The language research service of Merriem-Webster Inc. и The Oxford word and language service), куда могут обращаться (письменно) все желающие с вопросами о происхождении, произношении, написании, значении слова и т. д. В Оксфорде ответами на вопросы занимаются около 30 лексикографов, имеющих в своем распо-

ряжении справочники, многомиллионную картотеку цитат и терминалы ЭВМ; предусмотрено также обращение с вопросами по телефону (Dial-a-dictionary service) [15, v.8, № 1, p.2—3]. К. Л. Барнхарт выпустил специальную форму (бланк) для таких вопросов, в которой предлагается указать источник, где встретилось данное слово, или выписать его контекст [15, v.8, № 1, p.9]. Расходы на содержание такой службы вполне окупаются, так как она способствует росту популярности лексикографической работы, а следовательно, и самих словарей, и увеличению числа добровольных выборщиков цитат, не говоря уже о том, что в случае письменных вопросов издатели, как правило, получают вместе со словом готовые цитаты для пополнения своей картотеки.

Значительно раньше, чем за рубежом, подобная работа была организована у нас. В частности, при Словарном секторе Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР длительное время работала «скорая лингвистическая помощь», к которой желающие могли обращаться по телефону за необходимыми справками о написании, произношении или значении слова, его происхождении и т. п. Эта работа имела очень большое значение не только потому, что предоставляла обращавшимся информацию, столь необходимую им в условиях сильнейшего словарного голода, но и потому, что способствовала осознанию широким кругом людей важности словарного дела и повышению престижности как самой лексикографии, так и лингвистики в целом. К сожалению, из-за разного рода организационных неувязок, упиравшихся в конечном счете в недооценку такой работы, она была прекращена. Представляется необходимым ее возобновить и распространить также и на другие лексикографические и лингвистические центры страны. Такая работа, помимо своего прямого назначения, была бы весьма полезной и для лексикографов, обеспечивая их сведениями о характере информации, интересующей потенциальных потребителей словарей, о недостатках существующих справочников, о появляющихся в языке новых словах и значениях слов и т. п., и тем самым способствовала бы увеличению эффективности словарной работы.

Для преодоления нашего отставания в области практической лексикографии необходимо, прежде всего, коренным образом пересмотреть наше отношение к толковым словарям. Толковый словарь, занимающий в теоретической лексикографии центральное место, должен занять подобающее место и в лексикографической практике, а следовательно, и в тиражной политике издательств. Следует резко повысить тиражи толковых словарей с тем, чтобы достичь в этом отношении уровня наиболее развитых зарубежных стран. В стране всеобщего среднего образования толковый словарь должна иметь каждая семья. Необходимо создание толкового словаря нового типа — небольшого по объему (на 25—30 тыс. слов), компактного и недорогого, рассчитанного на массового читателя. Увеличение тиражности массовых толковых словарей русского и других национальных языков нашей страны не только сделает издание словарей прибыльным предприятием, но и будет способствовать повышению лексикографической культуры читателей, а значит, и общего культурного уровня народа. Этой же цели способствовало бы создание единой системы учебных толковых словарей для учащихся младших, средних и старших классов, построенных с учетом возрастной психологии и с использованием лучшего зарубежного опыта,— словарей, которые постепенно подводили бы юного читателя к овладению «взрослым» толковым словарем.

Вся эта программа требует серьезной интенсификации лексикографического труда. С этой целью необходимо ускорить работу по широкому вне-

дрению компьютерной техники в лексикографию и, прежде всего, по созданию единого Машинного фонда русского языка. При этом следует обратить особое внимание на слияние разрозненных картотек отдельных лексикографических коллективов и использование лексикографических материалов, рассеянных по многочисленным монографиям, диссертациям и статьям. Серьезным резервом повышения эффективности лексикографической работы явилось бы включение в состав словарных коллективов специалистов по зарубежной лексикографии с целью изучения передового зарубежного опыта и внедрения его в нашу лексикографическую практику.

Как уже отмечалось выше, активизации словарной работы на Западе сильно способствовало создание североамериканского и европейского лексикографических обществ. Совершенно очевидно, что назрел вопрос об организации словарного общества и у нас. Создание советского лексикографического общества (с возможным участием представителей других социалистических стран), которое взяло бы на себя организацию регулярных всесоюзных конференций лексикографов и выпуск малолистажного информационного бюллетеня, освещающего работу различных словарных коллективов и отдельных авторов, позволило бы объединить силы лексикографов нашей страны для успешного решения стоящих перед ними серьезных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Словарь современного русского литературного языка / Под ред. Бабкина А. М.: В 17-ти т. М.—Л., 1948—1964.
2. Словарь русского языка / Под ред. Евгеньевой А. П.: В 4-х т. М., 1957—1966.
3. *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. 1-е—12-е изд. М., 1949—1980.
4. Краткий толковый словарь русского языка (для иностранцев) / Под ред. Розановой В. В. М., 1978 (2-е изд. М., 1980).
5. *Ступин Л. П.* Лексикография английского языка. М., 1985. С. 98.
6. *Quirk R.* The social impact of dictionaries in the UK // Annals of the New York Academy of sciences. 1973. V. 211.
7. *Лапатухин М. С., Скорлуповская Е. В., Снетова Г. Л.* Школьный толковый словарь русского языка. М., 1981.
8. *Бирюков В. Г., Ветвицкий В. Г., Гайдарова Л. М. и др.* Толковый словарь русского языка: Пособие для учащихся национальных школ. Л., 1981.
9. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов / Под ред. Котеловой Н. З. и Сорокина Ю. С. М., 1971.
10. Новое в русской лексике. Словарные материалы- 77, 78, 79, 80, 81, 82 / Под ред. Котеловой Н. З. М., 1980—1986.
11. Новые слова и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литературы 70-х годов / Под ред. Котеловой Н. З. М., 1984.
12. *Barnhart C. L., Steinmetz S., Barnhart R. K.* The Barnhart dictionary of new English since 1963. Bronxville (N. Y.), 1973.
13. *Barnhart C. L., Steinmetz S., Barnhart R. K.* The second Barnhart dictionary of new English. Bronxville (N.Y.), 1980.
14. The Barnhart dictionary companion. A quarterly to update general dictionaries. V. 1—5. Cold Spring (N. Y.), 1982—1986.
15. DSNA (Dictionary Society of North America) Newsletter. V. 1—11. Terra Haute (Indiana), 1977—1987.
16. The Oxford English dictionary on historical principles / Ed. by Murray J. A. H. et al. V. 1—12. Oxford, 1933.
17. A supplement to the Oxford English dictionary / Ed. by Burchfield R. W. V. I—IV. Oxford, 1972—1986.
18. *Hornby A. S., Cowie A. P., Lewis J. W.* Oxford advanced learner's dictionary of current English. 3-rd ed. Oxford, 1977.
19. *Cowie A. P., Mackin R.* Oxford dictionary of current idiomatic English. V. 1 Verbs with prepositions and particles. L., 1975.
20. *Cowie A. P., Mackin R., McCaig I. R.* Oxford dictionary of current idiomatic English. V. 2. Phrase, clause and sentence idioms. Oxford, 1984.

21. Everyman's English pronouncing dictionary. 14-th ed. / Compiled by Jones D. / Rev. and ed by Gimson A. C. L., 1981.
22. *Cassidy F. G.* Dictionary of American regional English. V. 1. A—C. Cambridge (Mass.), 1985.
23. Webster's Ninth new collegiate dictionary. Springfield (Mass.), 1983.
24. The Concise Oxford Dictionary of current English. 7-th ed. / Ed. by Sykes J. B. Oxford, 1982
25. *Katzner K.* An English-Russian / Russian-English Dictionary. N. Y., 1983.
26. Mottoes (9000 entries) / Urdang L., Robbin C. D., Abate F. R. Detroit, 1984.
27. Prefixes and other word-initial elements of English. 3000 entries // Urdang L., Humez A. Detroit, 1983.
28. *-Ologies* and *-isms*: A thematic dictionary (17 000 entries). 4-th ed. / Urdang L., Ryle A. L., Lee T. H. Detroit, 1986.
29. Slogans (7 000 entries) / Urdang L., Robbin C. D Detroit, 1983.
30. Picturesque expressions (4000 entries) / Hunsinger W. M. 2-nd ed. Detroit, 1983.
31. Allusions (2000 entries). 2-nd ed // Urdang L. Detroit, 1984.
32. Dictionary of two-letter words. Richmond (Virginia), 1984.
33. Dictionnaire des anglicismes / Hoefler M. P , 1982.
34. *Robinson J.* A glossary of contemporary English lexicographical terminology // Dictionary: Journal of DSNA. 1983. № 5.
35. The telex dictionary / Tyler G , Fiern V. Burnt Mill, Harlow (Essex), 1984.
36. Webster's New world dictionary of computer terms (Over 2500 entries) / Darcy L. Boston L. N. Y., 1983.
37. The Oxford dictionary of computing. Oxford, 1983.
38. Dictionary of computers, data processing and telecommunications / Rosenberg J. M. N. Y., 1986
39. Computer and telecommunications acronyms (25 000 entries). Detroit, 1986.
40. The Longman dictionary of applied linguistics (1500 terms) / Richards J., Platt J., Weber H. Burnt Mill, Harlow (Essex), 1986.
41. Hammond-Barnhart dictionary of science (16 000 entries) / Barnhart R. K., Steinmetz S. Bronxville (N. Y.), 1986.
42. Loanwords index / Urdang L. Detroit, 1983.
43. Idioms and phrases index. V. 1—3. (140 000 entries) / Urdang L., Abate F. R. Detroit, 1983.
44. *Barnhart C L.* Plan for a central archive for lexicography in English // Annals of the New York Academy of Sciences. 1973 V. 211. P. 302—306.
45. *Hornby A S., Ruse Ch.* Oxford student's dictionary of current English. Special edition for the USSR. Moscow — Oxford, 1983.
46. Chambers first learner's dictionary. Special edition for the USSR/Brown A. L. Downing J., Sceats J. Moscow — Edinburgh, 1983.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

РЕЦЕНЗИИ

Wurdboek fan de Fryske taal. Diel 1: a — behekst. Ljouwert — Leeuwarden: Fryske Akademy en de Tille, 1984. LXVIII + 332 p.

Создание многотомного словаря родного языка — всегда крупное событие в жизни народа, свидетельство зрелости его культуры и науки. Особенно это справедливо для такого немногочисленного германского народа, как фризы, составляющие основное население провинции Фрисландии в Нидерландах и двух небольших анклавов на территории ФРГ. До сих пор самым большим словарем фризского языка был вышедший еще в начале столетия и переизданный в 1971 г. фотоспособом двухтомный «Фризский словарь» Валинга Дикстры [1]. На его подготовку ушло несколько десятилетий, но почти сразу же после появления он подвергся суровой критике за недостаточную полноту словника, слабость отражения полисемии и сочетаемости слов, бедность фразеологии и т. д.

Для подготовки нового, отвечающего современным научным критериям и требованиям практики словаря современного фризского языка длительное время не было необходимых условий. Только после создания Фризской Академии (1938 г.) стало возможным составление лексической картотеки и планомерное расписывание на карточки текстов фризских книг и периодических изданий; производилась выборка лексики из фольклорных и диалектологических записей, проводились специальные полевые исследования. К сожалению, Академия была стеснена в средствах и могла выделить для этой работы только одного сотрудника. Им был известный фризский ученый, писатель, фольклорист И. Портинга. Значительную часть работы по ведению картотеки и обработке ее данных для будущего словаря выполняло большое количество энтузиастов-любителей — учеников школ, студентов, учителей, представителей других профессий. Нельзя не отметить, что эта большая заинтересованность и непосредственное активное участие в словарной работе до сих пор является характерным для фризской общественности. В результате совместного самоотверженного труда уже в 40-х годах удалось издать «Малый фризский словарь [2] П. Спимы и И. Портинги.

К началу 50-х гг. объем картотеки сильно возрос, увеличился и опыт фризских лексикографов. Возникла, таким образом, реальная возможность подготовить более обширный словарь. Для Фрисландии, население которой полностью двуязычно, всегда требовались прежде всего двуязычные словари. Естественно, что и на этот раз был создан словарь такого же типа — «Фризский словарь» Х. Бувальды, Г. Меербурга и И. Портинги, вышедший в двух частях — нидерландско-фризской (1952) и фризско-нидерландской (1956), позже переизданных в одном томе [3]. Он оказался более удачным, и в течение более 30 лет им успешно пользовались.

В связи с возрастающими требованиями к уровню фризской лексикографии обнаружилось, что в ведении академической картотеки есть ряд существенных недостатков, создающих дополнительные трудности в деле словарной обработки ее материалов. Они касались прежде всего способов извлечения лексических единиц, раскрытия их смысловой структуры, регистрации служебных слов и устойчивых словосочетаний и др. Отсутствовал достаточно принципиальный подход и к выбору источников для расписывания в картотеке. Продолжать дальше эту картотеку на базе уже других, измененных и основанных на других принципах подходов не имело смысла. Решением Фризской Академии (1955 г.) создается вторая словарная картотека. Уже через три года на базе накопленного материала началась непосредственная практическая подготовка к составлению нового большого словаря фризского языка: разработана его предварительная структурная схема, составлена тщательно продуманная инструкция для составителей и редакторов. Из числа будущих основных руководителей проекта Х. Бувальда и И. Портинга прошли специальную стажировку при главной редакции «Словаря нидерландского языка» («Woordenboek der Nederlansche taal»

В процессе работы над словарем опять возникли трудности: в 1976 г. было утверждено новое фризское правописание, которое должно было войти в силу с января 1980 г. Пришлось перестраивать всю картотеку и переформировывать уже подготовленную часть словаря.

В вопросе о его профиле редакции предстояло выбрать один из двух возможных типов — толковый одноязычный словарь или двуязычный. Предпочтение отдали второму типу, но при этом в него были внесены некоторые черты толкового словаря, например, раскрытие значения исходного слова с помощью развернутых дефиниций, иллюстрирование употребления цитатами из литературных источников и др. Такое объединение в одном словаре столь различных функций усложняло задачи составителей, но лучше отвечало условиям конкретной языковой ситуации Фрисландии и расширяло круг будущих потребителей.

К моменту начала работ над словарем в обеих академических картотеках накопилось около двух миллионов карточек, причем их пополнение все время продолжалось. Охват фризской лексики данным словарем ограничили периодом с 1800 г. по 1975 г. Первая дата соответствовала началу периода новофризского языка, вторая — установлена произвольно, чтобы облегчить задачу будущим лексикографам, которым придется продолжать этот академический словарь. Весь он должен состоять из 17-ти или 18-ти томов («частей»), которые будут выходить в свет в течение двадцати лет.

В 1984 г. опубликован первый том («часть») академического «Словаря фризского языка» (далее — СФЯ), охватывающий лексику от *a* до *behekst*. Во вступительной статье не указано точное количество помещенных в этом томе словарных статей, но по приблизительным подсчетам их должно быть около трех с половиной тысяч. Таким образом, весь СФЯ должен вместить не менее 500—600 тыс. слов, что намного превышает объем даже такого прославленного лексикографического труда, как американский толковый словарь английского языка Вебстер-Мерриам. При этом составители СФЯ ставят задачу отразить лексику в основном литературного («стандартного») фризского языка нового времени, оставляя в стороне узкопрофессиональную, просторечную и диалектную лексику. Учитывая все это, нельзя не признать, что предпринимаемым изданием Фризская Академия убедительно опровергает предвзятое мнение о «бедности» и «примитивности» фризского языка, до сих пор представляемого некоторыми авторами как преимущественно lingua rustica.

В списке литературных источников первого тома СФЯ приведено около 1 300 наименований из всех функциональных стилей современного языка, в том числе представлены произведения всех виднейших фризских писателей XIX—XX вв. Наряду с оригинальными, среди источников фигурируют и переводные сочинения, например, переводы на фризский язык произведений Шекспира (Д. Кальма), Оскара Уайльда (И. Сиккема), Андерсена (Д. Таммиинга), библии и др. (Вызывают некоторое недоумение упомянутые в списке источников современного фризского словаря труды Т. Зибса, опубликованные на немецком языке, или словарь готского языка З. Файста.)

Разработка словарных статей СФЯ соответствует самым современным требованиям лексикографии. О заглавном слове статьи — лемме сообщаются следующие виды информации: 1) принадлежность к части речи; 2) сфера употребления; 3) произношение, данное в транскрипции МФА, с приведением фонетических вариантов; 4) год первой письменной фиксации в отражаемом периоде; 5) склонение, спряжение или образование степеней сравнения; 6) лексические варианты; 7) диалектные формы; 8) этимология; 9) литературные источники; 10) значение леммы (на нидерландском языке); 11) устойчивые словосочетания и фразеологизмы, в состав которых входит данное слово; 12) пословицы с данным словом; 13) производные от этого корня; 14) сложные слова, одним из компонентов которых является данная основа. Очень подробная, четкая и экономичная система сокращенных обозначений и условных символов облегчает пользование словарем и, экономя место, обеспечивает достаточную информативность статьи. Например, статья *achtber* «уважаемый» имеет следующий вид:

'**achtber**, adj., 1853.→.Lit.→ W. J. BUMA, Wurk 6 [1969].

Achtbaar; geacht, achtenswaardig. ‖ *Er. W.* [1900]. *Er. W.* [1956]. → In Domeny of oar achtber mon. T. G. v. d. MEULEN, *dagen* 7 [1853]. Men hearde dingen fen him dy't for in achtber man net to pas kamen. *Er. W.* [1900]. Achtbere lânsljue (*als aanspraak*). S. STAR, *foardrachten* 4 [1923].

— **Comp.**: *ealachtber*.

Объединение в одном словаре нормативной и описательной функций проявляется в том, что заглавные слова статей приводятся в форме, соответствующей западнофризскому литературному стандарту, фонетическое и лексическое варьирование слов показаны на фоне основного образца, считающегося нормативным, тогда как в иллюстративной части отражается реальное употребление этого слова с учетом и социальных, и территориаль-

ных отклонений от кодифицированной формы.

Грамматическая характеристика фризских заглавных слов состоит в экономных, но достаточно четких указаниях относительно их принадлежности к части речи, употребления с артиклями, грамматической и словообразовательной парадигм. Особенно разнообразна система стилистических помет, выделяющих следующие рубрики: эвфемизмы, окказионализмы, фамильярное, переносное употребление, юмористическое значение, ироническое, литературное, метафорическое, метонимическое, презрительное, отрицательное и др. Условными символами (исполненными в виде уменьшенного, но четкого изображения предмета или существа, представляющего данную область общения) чаще всего обозначаются слова профессионального общения — термины строительные, рыболовные, орнитологические, энтомологические, зоологические, ботанические, мореходные, технические, музыкальные, медицинские, исторические.

Значение фризского заглавного слова статьи раскрывается с помощью одного или нескольких нидерландских эквивалентов, например, фриз. *bagge* I — нид. *ring*. Во многих случаях за этим чисто переводным установлением семантического соответствия следуют энциклопедические дефиниции отдельных сознаний (лексико-семантических вариантов). Например, фриз. *baggelje*, *baggerje* сначала получает нидерландский эквивалент *baggeren* «производить землечерпательные работы; чистить дно», а затем идут нидерландские развернутые дефиниции сознаний: 1. laagveengronden exploiteren tot het maken van harde turf «эксплуатировать торфяники, вынимая твердый торф»; 2. slijk uit vaarten enz. ophalen om deze te schonen of uit te diepen «вычерпывать ил со дна канала для его углубления и улучшения условий судоходства на нем» и т. д. Каждое такое объяснение сопровождается иллюстрациями из литературных источников или предыдущих словарей. Все это дает вполне четкое представление о смысловой структуре и употребительности данного фризского слова. Однако название некоторых явных фризских реалий приведены без такого описания, только с нидерландским переводом, например, *bêdste(e)* «место для спанья, отгороженное от остального помещения специальной перегородкой» — нид. *bedstee*. Чаще всего с нидерландским переводом даны прямые значения фризской леммы, тогда как переносные обычно описываются развернуто, например, фриз. *bear* — нид. *beer* «медведь», но в третьем сознании дается дефиниция: *lomp gebouwd*, *onbeschoft*, *sterk persoon* «сильный, грубый, неуклюжий человек».

Если сравнить академический СФЯ с предыдущими фризскими словарями, особенно заметно, насколько лучше и полнее раскрыта в нем смысловая структура фризских слов. Например, фриз. *beam* в словаре В. Дикстры дана с одним единственным значением — лат. *arbor*, нид. *boom*, а в СФЯ оно приводится с пятью различными сознаниями. Особенно подробно разработаны статьи: *aai*, *al*, *âld*, *appel*, *baan*, *baar*, *baarch*, *baarne*, *baas*, *balke*, *bân*, *begjinne*. Сложные слова, в которых основа леммы используется в функции определяемого (правого) компонента, приводятся списком в конце данной статьи и затем каждое из них рассматривается еще и особо, в месте, обусловленном алфавитным расположением словника. Те сложные слова, в которых эта же основа выступает в позиции определяющего (левого) компонента, получают свое толкование либо как заглавные слова отдельных статей, либо как члены словообразовательного гнезда в общей для него статье.

Этимологические данные о фризских словах довольно скупы, обычно они только указывают на тот язык, из которого пришло данное слово в фризский, не приводя этимона, например: *adekwaat* ... Etym.: Lat.; *advokaat*... Etym.: Lat. Если рассматриваемое слово является исконно фризским, то его более древние формы не указываются, только приводятся соответствия в других германских языках, например: *beam*... Etym. — N. *boom*, D. *Baum*, E. *beam*; *bealch*... Etym. → N. *balg*, *D. Balg*, *E. belly*. Только при архаизмах и историзмах можно найти помету Ofri. (древнефризский язык), например в статье *asega* «acera (древнефризский блюститель законов)». Но древнефризская форма слова все же не приводится, тогда как самая старая фиксация помечена 1920 г., что может вызывать недоразумения.

В цитатах из литературных источников контекст зачастую не содержит указаний на значение леммы, а нередко слова приводятся из них в изолированном виде [см. статьи *âldwiif* (значения 6, 9), *akût*, *akwadukt* и др.].

Полиграфически первый том («часть») СФЯ выполнен безупречно: четкие и разнообразные шрифты, удобное расположение текста на странице, плотная бумага, красивый переплет.

В заключение следует отметить, что фризскому коллективу лексикографов удалось создать доброкачественный, насыщенный научной информацией, вполне надежный и долговечный труд, необходимый каждому германисту. Остается лишь пожелать авторам столь же успешного его продолжения и скорейшего завершения.

Жлуктенко Ю. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. Friesch Woordenboek (Lexicon frisicum) / Bewerkt door Dijkstra W. I—II. Amsterdam, 1971.
2. *Sipma P.*, *Poortinga Y.* Lyts Frysk wirdboek. Boalsert, 1944.
3. Frysk Wurdboek / Gearsteld troch Buwalda H. S., Meerburg G., en Poortinga Y. Boalsert, 1971.

Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. **Словарь разговорной лексики французского языка (На материале современной художественной литературы и прессы).** М.: Русский язык, 1987. 638 с.

Книга Е. Ф. Гриневой и Т. Н. Громовой — заметное событие в советской французско-русской лексикографии. Это оригинальный тип словаря, в котором представлена лексика «сниженных» регистров: разговорный язык, просторечие, отчасти арго. Он включает в себя такие слова, которые часто употребляются в современной устной речи, изобилуют в художественных произведениях, встречаются в газетах, журналах, звучат по радио и с экранов телевизоров. Этот пласт лексики занял столь значительное место в современном языке, что незнание соответствующих слов затрудняет живое общение, препятствует акту коммуникации, мешает правильному восприятию литературных и публицистических текстов.

Возросшая употребительность «сниженной» лексики — часть тех значительных изменений, которые произошли во французском языке в XX в., особенно в последние 30 лет. Французские лексикографы считают, что за период с 1949 по 1960 гг. основной словарь французского языка обновился на 25%. Но не меньшие, а несомненно более крупные перемены наблюдаются в нем в 60-е—80-е годы, в период серьезных глубинных сдвигов в жизни французского общества, заметно повлиявших на жизненный уклад, быт и нравы французов, что не могло не отложиться в языке. Не случайно во Франции все чаще стали говорить даже о «языковой революции», происшедшей в последние десятилетия.

Изменения коснулись не только словаря, но и синтаксиса и морфологии, а особенно заметно они проявились в сфере речевого узуса, где фактически стали стираться грани между языком повседневным и литературным. По верному замечанию Н. А. Шигаревской, «наблюдается высокая интенсивность влияния на разговорную речь просторечия и, в свою очередь,— разговорной речи на книжную» [1]. В речевую практику ворвались слова, выражения, обороты из фамильярно-бытовой лексики, из различных социодиалектов, вплоть до воровского арго. Стали восприниматься как вполне допустимые для художественных произведений и для речи культурного человека такие речевые единицы, которые прежде были бы немыслимы в литературном языке. Резкое смешение представлений о нормативности, фактическое размывание ее прежних границ связаны с заметной тенденцией нарастания коннотативности французской литературной речи, с усилением ее экспрессивности и эмоциональной окрашенности.

Причины, породившие это явление, относятся скорее к сфере социальной психологии и даже социальной философии, чем к лингвистике, и, по сути дела, по-настоящему еще не изучены. Но как бы то ни было, одна из них бросается в глаза. Речь идет о болезненной, обостренной реакции людей на резко усилившуюся дегуманизацию межличностных и социальных отношений — порождение технократической, функционально-рационалистической цивилизации. Эта реакция выплескивается, например, в художественной литературе потоком книг остро эмоциональных, взволнованных, отстаивающих попранные человеческие ценности. Их создатели апеллируют не к рассудку, а к сердцу и чувствам, что определяет соответствующий выбор формы изложения и языкового материала: устные монологи, живые диалоги, «непричесанная», как бы без обработки, «прямо с улицы» внесенная в текст речь персонажей (а нередко такой является и речь самого автора) с сохранением слов и выражений фамильярно-бытовой и разговорной лексики. Происходит своеобразная «деформализация» чисто литературных книжных приемов. Литература как бы сходит с «подмостков», стирает грим: перед нами сама жизнь в ее чувственно-осязаемой непосредственности.

Есть, конечно, и книги, усложненно написанные, рассчитанные исключительно на высокообразованную элиту, лишенные «сниженной» лексики. Но все же преобладает литература, адресованная широкому кругу читателей. В ней разговорно-бытовая речь становится органической частью художественной системы. Слова и выражения устного повседневного общения на равных присутствуют в произведениях с письменной, книжной речью, обогащая друг друга, что свидетельствует о некоторых новых закономерностях художественно-эстетического функционирования литературного языка.

До некоторой степени аналогичная тенденция наблюдается и в языке прессы, в публицистике и даже в речах политических деятелей, а особенно в теле- и радиопередачах. Журналисты и политики нередко используют самые ходовые, широко распространенные слова и выражения разговорно-бытовой лексики, дабы создать видимость атмосферы доверительного общения с теми, к кому они обращаются. Снижение стилевых регистров в данном случае продиктовано особенностями политической жизни Франции V Республики, где ведется острая борьба партий за голоса избирателей, которых хотят расположить к себе и политические деятели и настроенные в их поддержку органы печати. Поэтому широко применяются образно-экспрессивные слова и выражения из фамильярно-бытовой речи как с полемическими целями (создание негативного образа политического противника), так и ради того, чтобы казаться ближе к широким массам читателей и слушателей и быть понятнее для них. Даже сам президент Франции — Миттеран не чурается порой этой лексики и, чтобы подчеркнуть свою искренность и непринужденность, он может, например, сказать в беседе с журналистами: *J'avais envoyé deux ou trois poulets* (*poulet* — «письмецо, писулька») «Я послал два или три письмеца» (Монд. 1987. 10 апр.). А такой утонченный интеллектуал, как Л. Фабиус, в бытность премьер-министром, любил вставлять в тексты своих выступлений отдельные словечки и фразы из бытовой и фамильярной лексики. Например, *mettre le paquet* (фам.) «поднатужиться, сделать рывок», или *tourner autour du pot* «ходить вокруг да около» (Монд. 1984. 7 сент.). Да и газета «Монд», рассчитанная на самую образованную, высококультурную часть населения, допускает теперь заголовки типа «Le regime ringard» (Монд. 1987. 17 марта) [*ringard* (фам.) «старомодный, устаревший»]. На страницах этой газеты, да и большинства других, все чаще встречаются словечки типа *magouilles* (фам.) «сомнительная деятельность, махинации», *blabla* (рор.) «пустая болтовня, треп», *boîte* (разг.) «работа; заведение, контора», *galère* (фам.) «безрезультатные занятия, мыкание, маета, занудство», *barbouze* (фам.) «агент тайной полиции, шпион» и т. п.

Словом, сниженные лексические единицы включаются все более заметно в речь современного образованного француза, становятся неотъемлемой частью общеупотребительной французской лексики. Если раньше французская лексикографическая традиция почти не отражала эту лексику в общих словарях, резервируя для нее специальные сборники выражений или словари «арго» [2—4], то в настоящее время эта лексика все шире вводится в общие словари. В этом смысле характерна эволюция наиболее авторитетных словарей (например, Большого и Малого Робера), которые по мере переизданий (с 1964 по 1985 гг.) значительно расширялись в основном за счет включения новой терминологии и новой или пропущенной ранее лексики сниженных регистров [5, 6].

Однако во французско-русских словарях, выходящих в нашей стране, данная лексика отражена совершенно недостаточно. Например, из первых же 50 слов рецензируемого словаря в наиболее полном советском словаре К. А. Ганшиной [7] можно найти всего 9 слов, да и то не во всех значениях. Даже французско-русский фразеологический словарь [8], в котором представлены многие обиходные выражения разговорно-бытовой лексики, устарел и не содержит значительного числа употребительных сегодня речевых единиц. Без рецензируемого «Словаря разговорной лексики французского языка» было бы невозможно восполнить этот досадный пробел. Во французско-русской лексикографии он является первым опытом создания словаря стилистически окрашенной французской лексики. Словарь оригинален и по своей структуре. Слова берутся не во всех своих значениях, а только в тех, что входят в соответствующую стилистическую сферу. Выражения следуют в конце словарной статьи. Если слово приводится только в выражении, то его перевод не дается. Каждое выделяемое значение слова и каждое выражение сопровождаются обязательно пометой, относящей их к одному из трех регистров: фамильяризм, просторечие или арго. Остальные пометы окказиональны. В большинстве случаев использование слов в определенных значениях и употребление фразеологических единиц иллюстрируются примерами из художественной литературы, прессы (в том числе и из газеты «Юманите») либо примерами, взятыми из словарей или услышанными самими авторами в устной речи французов. Эти иллюстрации — большая ценность словаря, и в этом отношении он отличается от обычных двуязычных словарей и сближается с двуязычными фразеологическими словарями, приводящими цитаты из литературы. Но в отличие от фразеологических словарей, как уже говорилось, в рецензируемом словаре цитаты и примеры не переводятся. Тем не менее они необходимы для уточнения функционирования соответствующих лексических единиц.

Иллюстрации из литературных произведений взяты из книг писателей, наиболее представительных для современной французской художественной прозы. Речь

идет о таких широко читаемых авторах, как Л. Арагон, Э. Базен, М. Турнье, Р. Мерль, А. Лану, П. Модиано, М. Дюра, Ф. Саган, Ф. Нуриссье, Р. Сабатье, Ф. Марсо и др. Есть фразы даже из книг писателей, которые по своему содержанию и форме адресованы скорее интеллектуальной элите, чем широким читательским кругам (Ж.-П. Сартр, Р. Кено, Ф. Карко, Ж. Кэроль, К. Бурникель и др.). Часть примеров приведена из литературы первой трети XX в.— М. Пруст, Р.-М. дю Гар, Коллет, М. Леблан, и др. И, естественно, немало примеров найдено в книгах, специально написанных по тем или иным соображениям в «сниженном» стилевом регистре: литература о народе, о «низах» общества, многие детективные романы и т. д. (Ж. Сименон, Б. Клавель, Ж.-П. Шаброль, Р. Фалле, А. Бодар, С. Жапризо и др.).

Наличие разговорно-бытовой лексики в текстах авторов самых разных творческих манер, направлений и тенденций свидетельствует о том, что она органично влилась в язык художественной литературы. Рецензируемый словарь помогает дать верный и адекватный перевод слов и выражений этого слоя, что особенно необходимо для работы переводчиков, которые из-за отсутствия такого словаря нередко допускают искажение смысла или стиленые неточности. Можно надеяться, что выход словаря позволит повысить качество художественного перевода.

Словарь является также ценным подспорьем для лиц, изучающих французский язык, ибо приводимые в нем слова и выражения представлены в конкретных ситуациях их употребления, что дает возможность избежать неверное их применение (ср., например, помету vulg. — «вульгарный»).

«Вживание» слов разговорного фонда в основной словарь — процесс подвижный и неровный. Какие-то из них быстро прививаются, некоторые перестают активно употребляться, выходят из моды, но остаются еще долгое время понятными и известными носителям языка, сохраняются в литературе. Авторы рецензируемого словаря отмечают эту разновидность пометой v.-x. — «устаревший». Есть и такие слова, которые утрачивают со временем «сниженность», нейтрализуются и тем самым выходят из того лексического ряда, которому посвящен словарь. Характерно, что в нем уже нет, например, таких слов, как *abominable*, *atroce*, *bambim*, *pontifiant*, *se pomponner* и т. п., которые еще несколько лет тому назад были вполне уместны в «сниженном» слое языка. Очевидно, уже можно было бы и не включать слово *formidable* (фам.) «невероятный, поразительный», которое фактически перестало быть фамильярным.

Помимо сугубо практической ценности, рецензируемый словарь представляет собой также крайне полезный инструмент научного исследования. Он содержит богатейший материал для изучения стилистики, лексикологии и фразеологии разговорной речи, может быть подспорьем для социолингвистики и общего языкознания, ибо помогает увидеть изменения, затрагивающие языковую норму, и свидетельства постоянного воздействия функционально-речевого использования языка на его систему. Научное обоснование принципов отбора лексики и построения словаря дается во вступительной статье, где затронут ряд теоретических проблем, связанных с исследованием особенностей разговорной лексики и их научной систематизацией. В целях более расширительного и углубленного представления о возможностях сегодняшней разговорной речи в конце словаря дается приложение: «Некоторые синонимические ряды стилистически окрашенной лексики». Это живая иллюстрация богатства и разнообразия стилистической окраски разговорной лексики в ее конкретном функционировании, что может быть использовано, в частности, в курсах лексикологии. Было бы желательно увеличить эти синонимические ряды — их слишком мало. Полезно также снабдить словарь кратким грамматическим справочником разговорной речи, что объяснит многие отступления от нормы как в морфологии, так и в синтаксисе. С этой целью можно дать и общие сведения о словообразовании в разговорной лексике. Но главное пожелание состоит в том, чтобы словарь был переиздан, и более значительным тиражом, ибо, будучи выпущенным скудным тиражом (15 000 экз.), он стал библиографической редкостью, едва появившись. В предисловии указано, что в него вошла только часть собранного авторами материала (около 9000 слов). Целесообразно при переиздании его расширить и снабдить указанными выше приложениями [1].

Уваров Ю. П.

---

[1] Пока рецензия готовилась к печати, издательство «Русский язык» выпустило словарь Е. Ф. Гриневой и Т. Н. Громовой повторным стереотипным изданием тиражом 40 тыс. экземпляров. Но теперь, очевидно, нужно готовить расширенное переиздание.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шигаревская И. А.* Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи. Л., 1970. С. 6.

2. *Caradec F.* Dictionnaire du français argotique et populaire. P., 1977.
3. *Cellard J., Rey A.* Dictionnaire du français non-conventionnel. P., 1960.
4. *Gilbert P.* Dictionnaire des mots contemporains. P., 1980.
5. Le petit Robert. Dictionnaire de la langue française. P., 1980.
6. Le Grand Robert de la langue française. V. I—IX. P., 1985.
7. *Ганшина К. А.* Французско-русский словарь. М., 1982.
8. Французско-русский фразеологический словарь / Под ред. Рецкера Я. И. М., 1963.

Trần Ngọc Thêm. **Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt.** Hànội: NXB Khoa học xã hội, 1985. 360 tr.

Чан Нгок Тхем. **Система текстовой связности вьетнамского языка.** Ханой: Гуманитарные науки, 1985. 360 с.

Рецензируемая книга является первой во вьетнамском языкознании монографией по теории связного текста. Ее автор в 1974 г. окончил филологический факультет Ленинградского университета (отделение математической лингвистики). В настоящее время преподает в Ханойском университете. Он автор ряда работ по вьетнамскому и общему языкознанию, среди которых более десяти работ по лингвистике текста.

Книга состоит из трех частей, которые в свою очередь подразделяются на главы.

В первой части излагается авторское понимание понятий связности и единицы связности. Связность как семантико-грамматическая категория текста проявляется в двух планах: содержательная связность и формальная связность (Ф-связность). Эти два плана диалектически соотнесены, и если в одном из них связность нарушается, текст может превратиться в цепочку беспорядочных фраз (ЦБФ). Вводится три вида ЦБФ: 1) ЦБФ, имеющие только Ф-связность и не имеющие содержательной связности; 2) ЦБФ, имеющие только содержательную связность и не имеющие Ф-связности; 3) ЦБФ, не имеющие ни содержательной, ни формальной связности. Выдвигаются критерии для распознавания каждого из этих видов ЦБФ.

В содержательном плане связности выделяются два аспекта: тематическая связность (Т-связность) и логическая связность (Л-связность). Тексты, обладающие как тематической, так и логической связностью, считаются типичными текстами. Таково подавляющее большинство текстов. На периферии находятся нетипичные тексты. Их можно разделить на два вида: а) тексты без Т-связности (они обладают только Л- и Ф-связностью); сюда относятся, например, некоторые тексты детских песенок, составленных с целью пополнения словарного запаса; б) тексты без Л-связности (обладающие лишь Ф- и Т-связностью), например, тексты пьес театра абсурда.

Вводимое автором понятие связности, на котором он основывает свою концепцию, оказывается довольно емким. С его помощью, по-видимому, можно описать известные в литературе понятия связности и цельности текста.

Единицей текстовой связности автор предлагает считать высказывание. Высказывания делятся на типы по структурным и содержательным признакам, и каждому типу высказывания свойственны свои особые способы связности.

По структуре все высказывания делятся на 1) структурно завершенные — предложения и 2) структурно незавершенные — непосредственно-зависящие синтагмы (Н З-синтагмы). Высказывание считается структурно завершенным, если оно содержит обе части темо-рематической структуры.

Различая коммуникативно-смысловое членение на «данное — новое» и логико-грамматическое членение на «тему — рему», автор формулирует понятие структурной завершенности/незавершенности высказывания на основе членения на «тему — рему» как имеющего четкое структурное воплощение.

По мнению автора, во вьетнамском языке темо-рематическая структура реализуется в четырех стержневых разновидностях: 1) характеризующая: $П \rightarrow C_x$; 2) релятивная: $П \rightarrow C_р$ — Д; 3) экзистенциональная: $О \rightarrow C_э$ — Д [1]; соотносительная: у $C \rightarrow zC'$ (условные обозначения: П — подлежащее, С — сказуемое, C_x — сказуемое характеризации, $C_р$ — сказуемое отношения, $C_э$ — сказуемое су-

[1] Утверждается, что в экзистенциональной структуре вьетнамского языка после сказуемого стоит дополнение, а не подлежащее, как во флективных языках-

ществования, Д — дополнение, О — обстоятельство, y . . . z — соотносительные союзы, → — знак границы темы и ремы). Подробно описываются эти четыре стержневые структуры, показано функционирование предложений, в которых реализуются эти структуры (а также предложений, усложненных на их основе) в тексте.

По содержательному признаку все структурно завершенные высказывания (предложения) делятся на две группы: автосемантические предложения (содержательно завершенные, А-предложения) и синсемантические предложения (содержательно незавершенные, С-предложения). НЗ-синтагмы всегда синсемантичны, так как структурная незавершенность влечет за собой содержательную незавершенность. С-предложения и НЗ-синтагмы вместе взятые образуют синсемантические высказывания (С-высказывания). Высказывание считается содержательно завершенным, если оно удовлетворяет четырем структурно-семантическим признакам, сформулированным автором. Если расположить эти три типа высказываний в порядке уменьшения степени самостоятельности (А-предложения→С-предложения → НЗ-синтагмы), то степень связности у них будет соответственно возрастать. Это служит основанием для разделения всех способов связности на три группы: общие способы связности, синсемантические способы связности и НЗ-способы связности.

Интересно, что такое деление высказываний на типы позволяет выстроить в один логически обоснованный ряд столь различающиеся структуры и получить средство для изучения текстовой связности в единстве со структурой предложения. В этой части концепции автора ощущается большая степень обобщенности наблюдений над синтаксисом. Хотя книга посвящена типам связности вьетнамского языка, можно предположить, что предлагаемый автором аппарат для исследования связности текста может быть применим для изучения языков другого типа, например, флективных.

Вторая часть книги является самой большой по объему исследованного материала (с. 104—266) и состоит из трех глав. Она посвящена описанию всех способов связности. Для каждого способа приведены обоснование, определение, классификация, описание средств связи, особенности функционирования и использования, статистические данные.

В первой главе излагаются способы связности, общие для всех трех типов высказываний. Эта группа включает пять способов: повтор (включая лексический, грамматический и фонетический), противопоставление (средства связи — антонимы и антонимические выражения), синонимическое замещение (средства —синонимы и синонимические выражения), ассоциация (средства — слова и выражения, неантонимичные и несинонимичные, но входящие в одну семантическую группу) и линеаризация (средство — порядок высказываний). Вследствие высокой самостоятельности А-предложений для них не существует никаких других способов связности, кроме общих.

Во второй главе рассматриваются синсемантические способы связности. Эта группа включает три способа: местоименное замещение, слабый эллипсис [пропуск нестержневых (см. выше) членов высказывания, таких как дополнение] и слабая копулизация (соединение с помощью вводных слов, артиклей, наречий и т. п.). Эти способы связности характерны именно для С-высказываний, так как не затрагивается стержневая структура высказывания, оно становится лишь содержательно незавершенным. Если одно высказывание (в частности, предложение) связано с каким-нибудь другим посредством одного из трех названных способов, то оно является С-высказыванием (в частности, С-предложением). Таким образом, в распоряжении С-предложений имеется всего восемь способов связности (три специфичных и пять общих). В конце главы описываются правила образования и функционирования С-высказываний.

В третьей главе излагаются НЗ-способы связности. Это сильный эллипсис (пропуск стержневых членов высказывания) и тесная копулизация (соединение с помощью союзов, предлогов). Эти способы специфичны именно для НЗ-синтагм, так как здесь высказывание становится структурно незавершенным. Если одно высказывание связано с каким-нибудь другим посредством одного из этих двух способов, то оно является НЗ-синтагмой. Таким образом, НЗ-синтагмы имеют в распоряжении всего десять способов связности. Более подробно охарактеризованы конкретные типы так называемых «номинативных предложений». Это — номинативные НЗ-синтагмы, где способ связности — это сильный эллипсис. В конце главы автором сформулированы правила образования и функционирования НЗ-синтагм.

Третья часть книги представляет собой попытку построения обобщенной теории связности. В первой главе понятие связности распространяется на другие уровни. Автор убедительно показывает, что способы текстовой связности и синтаксические связи внутри высказывания не изолированы друг от друга, а наоборот, предполагают друг друга, согласуются друг с другом. Понятия сочинения

и подчинения, с одной стороны, и понятия повтора, замены и т. п., с другой, оказываются неожиданно близкими. Здесь нужно отметить, что проблема сходства межфразовых и внутрифразовых способов связи волнует умы лингвистов уже давно[2], поэтому попытка автора построить теорию связности текста в тесном взаимодействии с грамматикой предложения представляет особый интерес. Автор далее показывает также, что в терминах изложенной системы способов связности можно описать связи между элементами других уровней — от уровня морфем до уровня абзацев. Здесь же приводится сопоставление лингвистического понятия связности с аналогичным понятием из теории графов. Тем самым связность оказывается не специфической категорией текста, а свойством множества систем разной природы.

Т-связность достигается в основном сквозной организацией тем всех отдельных высказываний текста. Описываются семь способов Т-связности; пять из них предназначены для сохранения темы (лексический повтор, синонимическое замещение, местоименное замещение, слабый эллипсис, сильный эллипсис) и два предназначены для развития темы (противопоставление и ассоциация). Предлагается конкретная процедура анализа Т-связности одновременно на двух уровнях — между словами в высказывании и между высказываниями в тексте. Получаемая в результате анализа сеть Т-связности текста изображается в виде графа на матрице $B \times S$ (B — число строк, соответствующих разным объектам, описываемым в тексте; S — число столбцов, соответствующих разным высказываниям). Т-связность организуется в основном по двум принципам: параллельному и цепочечному. Сочетая каждый из них со способами сохранения и развития темы, получаем четыре типа Т-связности.

На основании предложенной процедуры анализа Т-связности предлагается формула для вычисления C, т. е. степени Т-связности текста:

$$C = \left(\frac{r}{R} + \frac{q}{Q}\right) \cdot 10k$$

где: r — число дистантных связей, R — общее число связей в тексте, q — число единиц (вершин графа), имеющих сложную связь (связь с тремя другими или большим числом единиц), Q — общее число единиц, участвующих в Т-связности, k — коэффициент связности: $k = 0$, если граф содержит два или более компонентов связности; $k = 1$, если весь граф представляет собой один компонент связности.

Степень тематической сложности текста (обозначим ее буквой P) можно вычислить по формуле:

$$P = \frac{B - Nt}{S}$$

где Nt — число висячих вершин в графе (значение букв B и S уже было расшифровано выше).

Автор описывает функции обстоятельства и так называемого слова-темы через понятие Т-связности, формулирует правила связности для сохранения темы, перечисляет типичные нарушения Т-связности и пути их устранения.

Развиваемое автором в третьей части описание содержательной связности представляет собой конкретизацию сформулированного им в первой части понятия связности, и таким образом вся концепция приобретает логически последовательный и внутренне непротиворечивый характер.

По нашему мнению, предложенная автором концепция только выиграла бы, если бы в рамках понятия содержательной связности, помимо тематического и логического аспектов, был бы выделен и должным образом учтен аспект прагматической связности (хотя бы на уровне типов речевых актов), играющий исключительно важную роль в организации целостного и осмысленного текста.

Представляется также, что понятие содержательной связности могло бы получить дополнительную интерпретацию. Дело в том, что два аспекта этой связности, а именно, Т-связность, трактуемая как сквозная организация тем, и Л-связность, интерпретируемая как сквозная организация рем, ограничивает понятие содержательной связности только механизмом актуального членения предложения. Имеются, однако, основания полагать, что смысловые связи между предложениями не сводятся только к актуальному членению и располагают более обширным диапазоном измерений и средств. К тому же спорным является само положение об обязательном членении всех вьетнамских предложений на тему и рему (ср. предложения типа *Mưa* «Дождь» или «Идет дождь»; *Gió* «Ветер» или «Дует ветер»).

В целом книга Чан Нгок Тхема представляет собой заметное и оригинальное исследование в области лингвистики текста, выполненное на материале языка изолирующего типа, который до последнего времени не подвергался изучению под таким углом зрения.

Невлева Т. Н.

[2] См. об этом, например [1].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Шаляпина З. М.* О соотношении синтаксиса связного текста с синтаксисом предложения // Вопросы методики использования текста в обучении иностранным языкам: Материалы конференции молодых научных сотрудников. М., 1975.

Орловская М. Н. **Язык «Алтан тобчи».** М.: Наука, 1984. 235 с.

Появление книги «Язык „Алтан Тобчи"» в определенной степени восполняет пробел в монголистике, ибо ни в зарубежном, ни в советском монголоведении нет исследований, посвященных специально изучению морфологической структуры языка какого-либо памятника. Историки языка, разрабатывая отдельные вопросы грамматики, обычно ограничивались привлечением соответствующих данных из разных письменных источников — преимущественно из памятника XIII в.— «Сокровенное сказание монголов» (Э. Хэниш, С. А. Козин и др.). Между тем морфология в целом представляет собой наименее разработанную область в монгольском историческом языкознании.

В рецензируемой работе впервые в монголоведении дано описание морфологической структуры языка одного из самых интересных литературно-исторических памятников монгольской письменности XVII в.— летописи Лувсан Данзана «Алтан тобчи» — «Золотой свод». В монографии прослеживаются именные и глагольные словоизменительные грамматические формы языка летописи в сопоставлении с современным монгольским языком. Она состоит из предисловия, введения, трех глав и заключения.

Во введении два небольших раздела: 1) Старописьменный монгольский язык и периоды его развития; 2) Краткие сведения об «Алтан тобчи». При анализе вопроса о происхождении монгольской письменности на основе уйгурской графики и монгольского письменного языка автор, излагая найманскую, кереитскую (А. М. Позднеев, Б. Я. Владимирцов, Г. Д. Санжеев, С. Мурояма и др.), киданьскую (Л. Лигети, Д. Кара, Л. Л. Викторова и др.) версии, констатирует, что ни одна из них не получила обоснованного фактами подтверждения. Здесь следует заметить, что для современного состояния наиболее вероятной представляется киданьский вариант, разрабатываемый монголистами разных стран.

Предварительные итоги этих наблюдений были изложены на V Международном конгрессе монголоведов в сентябре 1987 г. (Улан-Батор) в докладах профессоров Д. Кара (ВНР), Ченгелтея (КНР), Ц. Шагдарсурэна (МНР) и др.

Рассматривая вопрос о периодизации развития старописьменного монгольского языка, М. Н. Орловская особое внимание уделила третьему, «классическому» периоду, отметив, что он «характеризуется существенными изменениями как в самом языке, так и в письме» (с. 11).

Однако мнение автора, согласно которому «с конца XVI в. старописьменный монгольский язык становится средством письменного общения только собственно монголов на территории Халхи (ныне МНР) и Внутренней Монголии» (с. 12), вызывает возражение в связи с тем, что и бурятские и ойратские племена, особенно бурятские, продолжали пользоваться «классическим» старомонгольским языком и в XX в. вплоть до образования своего литературно-письменного языка на хоринской диалектной основе.

Весьма ценными представляются исторические справки о самой летописи «Алтан тобчи», которая, по общему признанию исследователей (Л. С. Пучковский, Н. П. Шастина и др.), является не только переложением, пересказом 233 из 282 параграфов текста «Сокровенного сказания монголов», но также содержит фрагменты неизвестных древних монгольских хроник, отсутствующих в последнем. Это обстоятельство особо важно в языковом отношении.

В первой главе исследуются падежи имен существительных, суффиксы множественного числа, а также имена прилагательные, местоимения, числительные, зафиксированные в тексте летописи с указанием особенностей их употребления в сопоставлении с данными современного монгольского языка.

В системе падежей языка «Алтан тобчи» установлено сохранение ряда свойств древнемонгольского языка, в частности, употребление неустойчивого конечного *-н* в именительном, винительном и в других падежах. Как известно, наличие ауслаутного *-н* в именных основах не только в именительном, но также и во всех косвенных падежах представляло исходную позицию в древнемонгольском языке.

Автором внесены существенные уточнения в функции и значения архаичного местного падежа, вышедшего из употреб-

ления в современных монгольских языках за исключением монгорского. М. Н. Орловская показала, что в тексте «Алтан тобчи» круг слов в форме местного падежа достаточно широк и не ограничен только локативным значением (с. 33—36).

Язык изучаемой летописи подтвердил генетическую связь между формантами винительного и родительного падежей. Отсутствие строгих закономерностей в употреблении показателей винительного падежа в прямом дополнении автор связывает с существующим в агглютинативных языках правилом «определение всегда предшествует определяемому», что давало возможность не только строить определительные сочетания простым соположением имен, но и выражать объектные отношения только постановкой прямого дополнения перед глаголом-сказуемым. При этом имя и глагол образовывали единый комплекс, не требующий падежного форманта для имен по типу сочетаний *гэр барих* «ставить юрту».

Необходимость обозначать объект возникла тогда, когда он стал занимать дистантное положение по отношению к своему глаголу. Автор считает, что первоначально был один формант для двух падежных значений: винительного и родительного, что сохранилось в некоторых островных бесписьменных монгольских языках и до наших дней. В письменных языках произошло его расщепление на два самостоятельных форманта, но какое-то время они четко не разграничивались и заменяли друг друга, о чем свидетельствуют факты, обнаруженные автором исследования в языке летописи.

М. Н. Орловская обращает внимание на широкое употребление формы дательно-местно-исходного падежа на *-dača/-deče*, *-tača/-tece* в аблативном значении, которая практически исчезла из современных монгольских языков, сохранившись лишь в одной-двух словоформах типа *гэртээс* «из дома». Появление этого падежа в монгольском исследователь связывает с возможным влиянием древнетюркских языков, в которых существовал полифункциональный местно-исходный падеж на *-da/-de* и который в монгольском в собственно аблативном значении требовал уточнения в виде показателя исходного падежа *-ča/-če*» (с. 221).

В отношении категории числа М. Н. Орловская отметила два момента: 1) сохранение древних форм мн. числа в некоторых словах, например: *гад* «руки» вм. современного *гарнууд*, *од* «годы» вм. *одууд*; 2) наличие согласования в числе определения и определяемого, не свойственного для современных монгольских языков.

При рассмотрении системы словоизменения имен следовало бы автору обратить внимание на позицию монголистов, отрицающих наличие именительного падежа и особую специфику категории множественности в монгольских языках [1].

Во второй главе, посвященной глагольным формам, подробно исследованы все значения и функции изъявительных, повелительно-желательных, причастных и деепричастных форм, выявлены форманты и значения, характерные для языка этой эпохи, например, изъявительная глагольная форма на *-γu* с модальным значением достоверности в совершении обозначенного в глагольной основе действия, широко употребляемая в классическом монгольском, но отсутствующая в современном языке (с. 83—87).

Текст летописи позволил автору по-новому интерпретировать некоторые глагольные форманты: 1) форма на *-mja*, традиционно рассматриваемая как «изолированная повелительно-желательная» форма [2], относится исследователем к изъявительным глагольным показателям будущего времени с оттенком утверждения и уверенности в его осуществлении (с. 100); 2) зафиксирован более глагольный характер формы на *-γči*, которая в современном монгольском языке употребляется, как правило, в субстантивном значении (с. 126—130); 3) рассматривая «приготовительное», или «цитатное», деепричастие на *-run*, М. Н. Орловская отметила, что в тексте летописи прослеживается употребление формы на *-run* с многочисленными глагольными основами с разнообразными функциями в предложении и нередко выполняет значение финитной глагольной формы.

Автор доказал неправомерность сохранения за этой формой названия «цитатного», или «приготовительного», деепричастия, хотя и не предлагает своего варианта наименования (с. 178—183).

Наряду с безусловными достоинствами в изложении глагольных форм просматриваются некоторые недочеты в подаче материала. Так, например, в монголоведении до сих пор отсутствует четкое представление о количестве времен и наклонений в монгольских языках. Очевидно, автору следовало бы дать общий очерк наклонений, а затем исследовать глагольные формы, количество формантов и наклонений. К сожалению, вне поля наблюдения оказались также залоги и виды. Возможно, в одной монографии трудно осветить все такие важные в теоретическом и практическом отношениях проблемы, но тем не менее можно было бы отразить материалы летописи по этим грамматическим категориям глагола.

В третьей главе рассматриваются наречия и служебные части речи. Среди них интерес представляют слова, не известные в современных языках, например,

употребление наречия *munda* (с. 184), выделительной частицы *ber* (с. 209). Примеры, иллюстрирующие употребление частицы *ber*, подтверждают правильность мнения автора, согласно которому неправомерно отождествлять ее с омонимичной формой орудного падежа, как это еще делается в некоторых исследованиях.

Вопрос относительно наречия *munda* «сейчас, теперь», возводимого автором к тюркской форме местного падежа основы указательного местоимения *min-* (с. 222—223), следует уточнить прежде всего на материале монгольских языков. Например, в современном калмыцком языке употребляется частица *минь* «только что, сейчас, сразу»: *минь ода* «только что», образованное от *минь* + частица *ода* «теперь, сейчас» → *миньда* «сейчас». В бурятском языке имеется наречие *мэндэ* «прошлый раз», *тэз мэндэ* «тот раз, тогда».

В целом рецензируемая книга представляет собой важный вклад в монгольское историческое языкознание, ибо в лингвистический оборот введен ценный материал по истории именных и глагольных словоизменительных грамматических форм старописьменного монгольского языка классического периода. Подобный тип исследования крайне необходим для монголоведения.

Дарбеева А. А., Тенишев Э. Р.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. М., 1979.
2. *Санжеев Г. Д.* Сравнительная грамматика монгольских языков. Глагол. М., 1963.

Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века/Отв. ред. чл.-корр. АН СССР Десницкая А. В. Л.: Наука, 1984. 304 с.

Рецензируемая книга написана коллективом ленинградских авторов. В течение последних десяти лет в Ленинградском отделении Института языкознания АН СССР под руководством А. В. Десницкой ведутся систематические исследования в области истории языкознания. Выпущены три тома «Истории лингвистических учений» [1—3]. Создание в Ленинграде инициативной группы, занимающейся исследованиями в области истории лингвистических учений, представляется чрезвычайно важным в свете усиления интереса к историографии лингвистики в масштабе мировой науки.

Для успешного развития исследований по истории лингвистики первоочередной задачей является разработка фундаментальных понятий и концептуального аппарата этой сферы науки, постановка методологических проблем изучения истории языкознания [4]. Рецензируемая книга посвящена именно этой проблематике. Она ставит целью проанализировать важнейшие понятия, характеризующие хронологические периоды в развитии наук «в соответствии с основными для них направлениями теоретических интересов и методов» (с. 3), а именно — два важнейших «ключевых» понятия языкознания XIX в. — «историзм» и «развитие». Генезис этих понятий был связан «с общим теоретическим сдвигом научного мышления в сторону познания закономерностей развития и взаимосвязей явлений в природе и в обществе, совершившимся на рубеже XVIII и XIX вв.» (с. 3). Историзм как один из основных принципов диалектического подхода к изучению феноменов языка выкристаллизовывался в языкознании постепенно, на базе ряда «теоретических направлений и конкретных линий исследования, объединявшихся между собой в основном общностью подхода к языкам как к исторически развивающимся объектам» (с. 5). Поскольку авторам книги не представлялось возможным охватить все «версии» понимания принципов историзма и развития, а также их конкретное применение в практике лингвистических исследований первой половины XIX в., в рецензируемой книге получили освещение «лишь некоторые из наиболее значимых для первого этапа исторического языкознания концепций и направлений» (с. 5).

Учитывая, что «в первой половине XIX в. разработка исторических взглядов на изучаемые объекты оказалась для языкознания также путем для его спецификации, для выделения его в ранг самостоятельной науки» (с. 3), в книге анализируются лингвистические взгляды и методы основоположников сравнительно-исторического языкознания. Им посвящены статьи Ю. К. Кузьменко «Лингвистическая концепция Расмуса Раска», А. В. Десницкой «Лингвистические взгляды братьев Шлегель и их роль в формировании исторического языкознания», ее

же «Франц Бопп — основоположник сравнительно-исторического изучения языковых структур», а также статья С. В. Смирницкой «Якоб Гримм — историк языка». Наряду с этими статьями — очерками научных биографий и творчества крупнейших лингвистов прошлого — в книге содержатся статьи проблемно-методологического характера, непосредственно посвященные анализу понятий, вынесенных в заголовок книги. Это статьи С. В. Смирницкой «На рубеже XVIII и XIX вв.: поворот научной мысли к историзму и идейное наследие И.-Г. Гердера», А. В. Десницкой «Понятие языкового развития и языковой истории в лингвистической концепции Августа Шлейхера». Сюда же можно отнести две статьи, ставящие проблемы понимания историзма и развития в русском языкознании первой половины XIX в. Это статьи В. В. Колесова «Становление идеи развития в русском языкознании первой половины XIX в.» и Ю. С. Сорокина «Эволюция понятия историзма в русском языкознании 1830—1840-х гг.». Статьи С. Д. Кацнельсона «Содержательно-типологическая концепция Вильгельма Гумбольдта» и А. Б. Черняка «Франсуа Ренуар, Фридрих Диц и проблема возникновения романских языков к середине XIX в.» стоят несколько особняком и лишь опосредованно связаны с основной тематикой рецензируемого сборника.

При чтении рецензируемой книги создается впечатление, что увлекшись изложением биографий ярчайших филологов прошлого, авторы ряда статей лишь иногда по необходимости вспоминают об основном «задании» сборника. Например, в статье Ю. К. Кузьменко о Р. Раске историзм и развитие — скорее рефрены, обрамляющие композицию статьи, нежели предмет анализа. При чтении этой статьи невольно задаешься вопросом: можно ли вообще осветить в удовлетворительной форме понятия научного мышления эпохи, анализируя творчество лишь одного (пусть яркого, но все же одного) представителя науки изучаемого периода? В какой-то мере, конечно, можно, ибо даже ученый, не умещающийся в старую «парадигму», все же творит в контексте своей эпохи, опираясь на существующий понятийный строй и концептуальный аппарат науки (хотя, возможно, что «опора» эта и выражается в виде отрицания общепринятых понятий и создания новых). При этом новое в области методов и понятий, которые он формирует, может быть и не выражено у него в эксплицитной форме. Это способны увидеть и оценить лишь потомки.

Сравнительно-историческое языкознание возникло не путем эволюции взглядов, существовавших в предшествующие эпохи, а как скачок, как «принципиальная смена научных воззрений» (с. 3). Но этот скачок можно осмыслить только на базе анализа тех научных программ и установок предшествующей эпохи, от которых сравнительно-историческое языкознание отталкивалось, а не тех, на которые оно опиралось. Действительно, в период, предшествовавший XIX в., накопился довольно богатый материал об истории языков и о языковом родстве [5], но основой знания о языке до начала XIX в. было другое. Оппозиция науки и искусства в сфере грамматики, бывшей центром языковедения, определяла отношение к фактам отдельных языков. По мнению филологов XVIII в., наблюдение над фактами языков не может привести к научным обобщениям, ибо в этой области царят «каприз и произвол». Это всего лишь «обычай», тогда как существуют и неизменные свойства всех языков, основанные на особенностях восприятия действительности в сознании человека и на необходимости ее единообразного выражения на логическом уровне языка. В XVIII в. только логико-философское изучение языка считалось научным [6].

Понимание истории применительно к изучению языка как эмпирии языковых фактов в их развитии и возможность сопоставления этих фактов с целью выявления закономерных явлений в их строении и эволюции привели, как хорошо показала в своей статье С. В. Смирницкая, к тому, что Гримм предложил «совершенно новую концепцию грамматического исследования». «Научная грамматика, по мнению Гримма, может быть только исторической» (с. 145). Думается, что коренная смена и ломка научных воззрений в трудах Я. Гримма и других филологов XIX в. могли бы быть показаны ярче, если бы в книге был проанализирован тот научный фон, на котором развивалось творчество основоположников сравнительно-исторического метода. С. В. Смирницкая в статье о Я. Гримме поставила эти проблемы, в частности, проблему понимания истории как вида познания, противопоставляющегося философии (логике) и поэзии в XVII — нач. XIX вв. (с. 140). К сожалению, она не развила это положение применительно к ситуации в области познания языка к началу XIX в. И здесь, в одной из самых интересных статей книги, с наибольшей ясностью встает вопрос о необходимости освещения в монографическом труде подобного рода оппозиции настроений научного мышления «романтического» толка научному мышлению просветительского плана. Эта ситуация в начале XIX в. выступала нередко в виде оппозиции французского рационалистического типа научного и литературного мышления и мышления

«германского» типа. Вообще если бы авторам рецензируемой монографии удалось показать всю глубинную специфику этой борьбы идей (в частности, развитие в литературе и литературном языке индивидуально-стилистического начала и вытекающий из этого кризис нормативных установок в грамматике и поэтике, а также упадок риторики), «германоцентричная» установка книги была бы полностью оправданной. Более того, только «контекст эпохи» может разъяснить такой феномен, как смена ареала развития передовой языковедческой мысли в Европе и смена идеалов научности для литературно-филологических кругов. Особенно это важно для понимания процессов, происходивших в первой половине XIX в. в России. Русская филологическая мысль, начиная со второй половины XVIII в., была особенно чутким камертоном западных течений в литературе и в изучении языков. В сочетании с самобытными корнями лингвистического мышления, образовавшими еще в начале XI в. русскую редакцию восточного извода европейской языковедческой традиции, русское языкознание первой половины XIX в. являло собой уникальный феномен: усвоив и развив на славянском материале основные достижения сравнительного и исторического языкознания, оно сумело направить их на развитие национального литературного языка. Специфика развития идей исторического познания языка в России во многом была связана со спецификой языковой ситуации, с жизненностью позиций церковнославянского языка, дающего богатый стилистико-исторический материал языковеду и литератору. Единство логической и исторической точек зрения, их дополнительность в русском языкознании XIX в.— интересный и во многом еще не изученный феномен. В. В. Колесов в своей статье отмечает диалектическое единство «логических построений» и «сравнительного метода» в творчестве русских филологов, в частности Ф. И. Буслаева (с. 177), но, как думается, не раскрывает эту проблему до конца. В целом же раздел, написанный В. В. Колесовым, отличается стремлением подняться от эмпирии изучаемых текстов к научно-историографическим обобщениям. Он разрабатывает понятийный аппарат историографического описания, анализируя понятия развития, изменения, истории с опорой на проблему «признаков исходной системы» (с. 173–174). К сожалению, на этом пути ему не всегда удается избежать некоторой модернизации и схематизма в изложении материала. На мой взгляд применение приема характеристики стилей научного мышления различных эпох через эквиполентные, градуальные и бинарные привативные оппозиции как превалирующие формы способов познания окружающей действительности соответственно в древности, в средние века и в новое время (с. 166) нуждается в объяснении и уточнении. Однако стремление В. В. Колесова к «историологизации» языка историографического описания, к его методологической обоснованности и систематизации заслуживает внимания.

К сожалению, объем рецензии не позволяет остановиться на разборе статей, тематика которых выходит за пределы проблем, вынесенных в заглавие книги. Это в первую очередь относится к очеркам А. В. Десницкой. Они (особенно очерк о братьях Шлегель) читаются с интересом и вполне могли бы составить основу книги, содержащей очерки научных биографий и творчества языковедов XIX в. Кстати, в такого рода публикациях чрезвычайно нуждается научно-лингвистическое сообщество, особенно аспиранты и молодые ученые.

Очерк С. Д. Кацнельсона о «содержательно-типологической концепции В. Гумбольдта» с точки зрения анализируемых в нем проблем стоит несколько особняком по отношению к проблемам историзма, хотя в творчестве В. Гумбольдта проблемы истории и исторического занимали значительное место [7]. С. Д. Кацнельсон прослеживает у Гумбольдта генезис диалектического рассмотрения универсального и идиоматического понимания языка в их единстве (с. 131). Справедливо отмечая, что противоположность универсального и идиоматического понимания языка выступала до Гумбольдта как отражение двух противоборствующих субъективных точек зрения на язык и лишь им была «перенесена внутрь языка», «раскрыта как объективное противоречие, вытекающее из природы объекта» (с. 131), автор очерка допускает несколько неубедительных высказываний о предшественниках В. Гумбольдта, в частности, о Дж. Харрисе, авторе знаменитого «Гермеса». Он связывает имя этого выдающегося английского философа-грамматиста XVIII в. с философской грамматикой эмпиризма (с. 133). Эта ассоциация не только неудачна (Харрис был типичным сенсуалистом, находившимся к тому же под влиянием платонической и неоплатонической традиций, весьма сильных в Англии XVIII в.), но и мало дает для понимания развития языковедческой мысли. Собственно философские взгляды грамматистов XVIII в. не имели решающего влияния на их концепцию «общей грамматики».

В заключение хотелось бы отметить, что коллективный труд ленинградских авторов, несмотря на определенную неод-

нородность и противоречивость в изложении материала, читается с интересом и способствует лучшему пониманию целого ряда явлений и процессов в истории языкознания.

Бокадорова Н. Ю.

ЛИТЕРАТУРА

1. История лингвистических учений. Древний мир. Л., 1980.
2. История лингвистических учений. Средневековый Восток. Л., 1981.
3. История лингвистических учений. Средневековая Европа. Л., 1985.
4. *Бокадорова Н. Ю.* Проблемы историологии науки о языке // ВЯ. 1986. № 6.
5. *Droixhe D.* La linguistique et l'appel de l'histoire. 1600—1800. Genève — Paris, 1978.
6. *Бокадорова Н. Ю.* «Общая грамматика» XVIII века и современное общее языкознание // ИАН СЛЯ. 1982. № 2.
7. *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М., 1985.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7—8 сентября 1987 г. в Москве в Институте русского языка АН СССР состоялся IV Международный симпозиум в рамках заседания Международной комиссии по проблемам славянской фразеологии при Международном комитете славистов.

В работе симпозиума приняли участие около ста лингвистов из семи стран. Было прослушано 36 докладов и около 80 выступлений.

Открывая работу симпозиума, председатель Советского комитета славистов акад. Н. И. Толстой (Москва) подчеркнул значение фразеологических исследований в современной лингвистике и отметил насущную необходимость в разработке русской и славянской фразеологии, составлении двуязычных и многоязычных фразеологических словарей.

Выступивший затем В. П. Вомперский (Москва) отметил роль фразеологии для изучения русского языка в целом. Фразеология стала, по его мнению, одним из наиболее актуальных направлений; на современном этапе развития фразеологии необходимо создание словарей и справочников различных типов.

Председатель Международной комиссии по проблемам славянской фразеологии Й. Матешич (ФРГ) рассказал о работе комиссии, которая была основана в 1981 г. и стала за эти годы авторитетной международной организацией. В докладе была подчеркнута связь фразеологической теории с практикой создания фразеологических словарей и затронута проблема отбора фразеологического материала для словарей и структура заголовка в них.

Доклады участников симпозиума были посвящены наиболее актуальным проблемам фразеологии и фразеографии. Вопросы словарной обработки фразеологизмов различных типов затрагивались в докладе В. Петрачковой (ЧССР), подготовленном совместно с Л. Кроуповой и В. Мейстржиком, проблема разработки фразеологических неологизмов — в докладе П. Дюрчо (ЧССР). Далее освещались такие вопросы, как способы подачи фразеологических вариантов в словаре [В. Г. Гак (Москва), Е. И. Диброва (Москва), Р. Эккерт (ГДР)], актуализация индивидуально-авторских вариаций [Э. Газдецка (Польша)], значение иллюстративного материала для раскрытия значения фразеологизмов в переводном словаре [С. Влахов (Болгария)].

Следующий круг проблем, обсуждаемых на симпозиуме, сопряжен с составлением фразеологических словарей различных типов.

А. С. Аксамитов (Минск) рассказал о некоторых принципах построения идеографического фразеологического словаря (на материале белорусской идиоматики). М. М. Копыленко (Алма-Ата) подчеркнул важность создания учебных фразеологических словарей и призвал не ограничивать их рамками идиоматики. Л. Я. Костючук (Псков) подчеркнула исследовательские аспекты фразеографической деятельности, показав на примере Псковского областного словаря необходимость разрабатывать проблемы диахронической и региональной фразеологии. В. И. Коваль (Гомель) поставил вопрос о создании фраземообразовательного словаря, в котором фразеология может быть представлена в виде системы деривационных и мотивирующих баз.

В докладе А. М. Мелерович (Кострома), В. М. Мокиенко (Ленинград) были освещены принципы построения «Словаря индивидуально-авторских употреблений ФЕ в русском языке». Р. Н. Попов и Т. В. Бахвалова (Орел) в докладе, посвященном созданию диалектного фразеологического словаря (на материале орловских говоров), отметили трудности выделения его корпуса, так как многие диалектные фразеологизмы состоят из компонентов общелитературного языка. М. Чурак (Польша) проанализировал типы темпоральных фразеологизмов, имеющихся в материалах для «Белорусско-польского фразеологического словаря», создание ко-

торого осуществляется в плане сотрудничества Института языкознания им. Якуба Коласа АН БССР и Института славяноведения Польской академии наук. В. М. Мокиенко сообщил о проекте создания словаря славянской фразеологической терминологии.

Большой интерес вызвало заседание секции, посвященной проблемам типологии во фразеологии. Председательствующий на секции В. Г. Гак выделил два круга вопросов, подлежащих обсуждению: (1) сопоставительно-типологическое изучение фразеологии на различных уровнях и в различных аспектах (доклады Д. О. Добровольского (Москва) и Ю. П. Солодуба (Москва) и (2) типология соответствий в двуязычном фразеологическом словаре [В. Г. Гак, А. В. Кунин (Москва), Б. Татар (Венгрия)]. В. Г. Гак предложил свою оригинальную типологию соответствий, в основе которой лежит деление всех адекватных по смыслу переводов ФЕ на эквиваленты (т. е. имеющиеся в данном языке ФЕ) и неэквиваленты, которые в свою очередь делятся на дословные (нетрансформированные) и трансформированные. А. В. Кунин остановился также на проблемах объема фразеологии и типологии устойчивых словесных комплексов. Докладчик подчеркнул, что наиболее перспективным является широкое понимание фразеологии как лингвистической дисциплины, изучающей все типы устойчивых словесных комплексов. Б. Татар проанализировал типы эквивалентности во фразеологии на материале венгерской, славянской, балтийской и германской идиоматики.

Проблемам фразеологической семантики были посвящены доклады и сообщения М. Басая (Польша), О. Л. Ермаковой (Калуга), В. П. Жукова (Псков), М. Леонидовой (Болгария), В. Н. Телия (Москва), А. М. Чепасовой (Челябинск), А. М. Эмировой (Самарканд), В. П. Чебана (Кишинев).

Особое место в работе симпозиума заняло обсуждение перспектив создания фразеологического подфонда Машинного фонда русского языка. В. Н. Телия выступила с коллективным докладом, подготовленным совместно с Е. Г. Борисовой (Москва), Е. И. Диброва, Д. О. Добровольским и Т. З. Черданцевой (Москва). Доклад был посвящен разработке фразеографических параметров для создания фразеологического подфонда. Одной из насущных задач фразеологии и соответственно фразеографии является задача создания такого словаря, который отвечал бы языковой компетенции говорящих на данном языке. Путь к такому словарю — разработка фразеографических параметров, способных организовать корпус фразеологии по принципу тезауруса. В коллективном докладе были представлены некоторые параметры идиом и их лингвистическая интерпретация.

В заключение работы симпозиума состоялся круглый стол под председательством В. М. Мокиенко по проблемам составления словаря славянской фразеологической терминологии.

По прослушанным докладам состоялась дискуссия, в которой приняли участие В. Г. Гак, А. В. Кунин, А. И. Молотков (Ленинград), Н. И. Толстой, В. М. Мокиенко, Т. З. Черданцева, В. Н. Телия, Р. Эккерт, А. И. Алехина (Минск), С. И. Влахов (Болгария), Е. Г. Борисова, Л. К. Байрамова (Казань), З. П. Чебан и др. Как отмечали выступающие, особый интерес вызвали проблемы создания фразеологического компонента Машинного фонда, идеографических, фраземообразовательных и индивидуально-авторских фразеологических словарей, а также различные направления сопоставительного изучения фразеологии, в первую очередь структурно-типологическое исследование фразеологических систем различных (в том числе родственных) языков.

Закрывая симпозиум, Й. Матешич отметил высокий научный и организационный уровень его проведения.

Диброва Е. И., Добровольский Д. О.
(Москва)

С 1 по 5 октября 1987 г. в г. Звенигороде (Московская обл.) состоялась Всесоюзная научная конференция «Теория языка и словари» и расширенный пленум Научного совета АН СССР по лексикологии и лексикографии. Конференция была организована Научным советом АН СССР по теории советского языкознания совместно с Научным советом АН СССР по лексикологии и лексикографии. На ее пленарном заседании, трех секциях и двух круглых столах было прослушано более 60 докладов и сообщений.

Конференцию открыл председатель Научного совета АН СССР по лексикологии и лексикографии, директор Института русского языка АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов. В своем вступительном слове он отметил необ-

ходимость дальнейшего развития теории советской лексикографии, которая имеет непосредственное отношение к разрабатываемым в отечественной лингвистике приоритетным направлениям.

Доклад Н. Ю. Шведовой (Москва) «Виды информации, заключенной в словарном определении значения», открывший пленарное заседание, был посвящен природе языкового значения вообще и лексического значения в частности. В докладе развивался тезис о своеобразном «симметрическом дуализме» языкового значения; были систематизированы те виды информаций, которые заключены в словарной дефиниции, и рассмотрено их отношение к структуре лексического значения слова. Ю. Н. Караулов в докладе «Человек и словарь» высказал мысль о пользе изучения этики, психологии, социологии, философии словаря, понимаемого как продукт языка, а также о необходимости изучения ментального лексикона и соотношения его характеристик с лексикографическими параметрами. Д. Н. Шмелев (Москва) выступил с докладом «Об историческом словаре современного языка». В нем шла речь о том, что ни толковые, ни словообразовательные, ни этимологические словари современного языка не отражают и не могут отразить те сдвиги в семантике лексики, которые произошли на протяжении истории развития языка и определили современную семантическую структуру как отдельных слов, так и их групп. Автор выдвинул идею создания словаря принципиально нового типа, содержащего такую информацию. Л. С. Паламарчук (Киев) прочитал доклад «Словарь — лексический арсенал и летопись языка эпохи», где освещался вопрос об отражении в современном словаре сложной и многогранной лексической системы национального языка, развивающейся в результате взаимодействия экстралингвистических факторов и закономерностей языкового развития. В своем докладе «Словарная фиксация синтаксических свойств лексики: взаимодействие словаря и грамматики» Ю. Д. Апресян (Москва) обратился к рассмотрению конструкций с меной именительного падежа подлежащего и винительного падежа дополнения на родительный в контексте отрицания (в рамках развиваемой им концепции интегрального лингвистического описания).

В докладах и сообщениях, прочитанных на заседании секции № 1, рассматривались различные аспекты проблемы «Словарь как явление культуры народа». В докладе В. Г. Гака (Москва) и сообщении Л. В. Малаховского (Ленинград) речь шла об отражении в словаре как русской, так и общемировой культуры, и о факторах, необходимых для обеспечения высокого уровня развития лексикографической культуры народа. О выработке принципов нового типа словаря, отвечающего современным требованиям лингвистической теории и реальным нуждам практики, говорилось в докладе С. Г. Бережана (Кишинев). Доклад Л. П. Калакуцкой (Москва) был посвящен вопросам создания «Стилистического словаря русских личных имен». В докладе В. В. Макарова (Минск) рассматривалась проблема культурного фона словаря. Р. П. Рогожникова (Ленинград) в своем докладе показала процесс формирования Большой картотеки Словарного отдела ЛО ИЯ. В сообщении А. С. Белоусовой (Москва) был рассмотрен вопрос об отражении истории, культуры и быта народа в словарных толкованиях предметной лексики. Принципы составления этимологических и исторических словарей проанализированы в докладе В. К. Павела (Кишинев) и в сообщении А. А. Оганяна (Ереван).

Доклады и сообщения, прочитанные на заседаниях секции № 2, были посвящены особенностям лексической системы языка и формам их словарного отражения. Проблемы отражения системных свойств лексики и представления картины мира в предметно-понятийных и толково-идеографических словарях (тезаурусах) были рассмотрены в докладе В. П. Нерознака (Москва) и сообщении Н. А. Шехтмана (Оренбург), а также в докладе К. М. Ульвидаса (Вильнюс) на материале литовского языка. Темой сообщения С. А. Кузнецова (Ленинград) было теоретическое обоснование принципов построения «Тематического (функционально-лексического) словаря русского языка». Т. А. Сумникова, И. С. Улуханов (Москва) и Р. М. Цейтлин (Москва) выступили с докладами, посвященными выявлению системных связей лексики в диахроническом плане. А. Л. Семенас (Москва) в своем сообщении обратила внимание на современное состояние китайской лексикографии. В докладе А. Е. Супруна, А. П. Клименко (Минск) и сообщении А. А. Залевской (Калинин) рассматривались вопросы теории и практики лексикографического эксперимента. В сообщении Г. Г. Белоногова, А. П. Новоселова, Н. С. Пановой, Е. Ю. Рыжовой (Москва) речь шла о создании политематического машинного словаря гипонимов и гиперонимов. Проблемы лексикографического описания семантики некоторых групп прилагательных обсуждалась в докладе Р. М. Гай-

синой (Уфа) и сообщениях В. К. Юношевой (Москва) и В. Н. Винокуровой, З. А. Харитончик (Минск). Подаче полисемии и омонимии в толковых словарях посвятили свои сообщения Г. Е. Руснак (Кишинев) и В. И. Бахнарь, В. С. Пуриче (Кишинев). На глагольном материале были построены доклады В. Д. Черняк (Ленинград) и С. Н. Дмитренко (Москва), на материале служебных слов — доклады М. В. Лянон (Москва), Е. Л. Гинзбурга (Москва) и сообщение И. М. Богуславского (Москва). В сообщении Н. В. Соловьева (Ленинград) освещался вопрос о классификации слов по частям речи в толковых словарях. Орфографическая норма в словарях разных типов была рассмотрена в сообщении Б. З. Букчиной (Москва), проблемы правописания и лексикографической подачи сложных слов (на материале тюркских языков) — в сообщении Э. Абдулдаева (Фрунзе). М. М. Стенгренц (Рига) в своем сообщении, построенном на материале латышского языка, коснулась разных групп т. н. устарелой лексики. В докладе Б. И. Барткова (Владивосток) затрагивались вопросы количественной и качественной дериватографии.

На заседании секции № 3 обсуждались проблемы совершенствования методов семантического анализа и их использования в лексикографической практике. В докладе Ж. П. Соколовской (Кировоград) предлагалась модель смысловых отношений в лексике, на основе которой произведено членение семантического континуума. Различным аспектам экспериментального подхода к лексикографии были посвящены доклад Б. Ю. Городецкого (Москва) и сообщение А. М. Кузнецова (Москва), а также сообщение Т. С. Зевахиной (Москва) (на материале дунганского языка). Принципы описания закономерностей языкового употребления в «узуально-стилистическом» словаре были рассмотрены в докладе Т. Г. Винокур (Москва). В сообщении В. И. Заботкиной (Калининград) постулировался тезис о необходимости разработки функциональной лексикографии и — в рамках данного подхода — дополнительной системы помет, содержащих прагматически-релевантную информацию. В докладе Н. З. Котеловой (Ленинград) была обоснована дефиниция лексического значения. Сообщение Е. Г. Борисовой (Москва) посвящалось вопросу отражения сочетаемости слов в учебных словарях, сообщение О. И. Нечитайло (Киев) — проблеме синонимических словарных толкований. Семантика крылатых слов рассматривалась в сообщении Б. С. Шварцкопфа (Москва). К. П. Смолина (Москва) и И. В. Ласка (Запорожье) выступили с сообщениями, в которых речь шла об анализе семантических компонентов лексического значения.

Кроме пленарного и секционных заседаний, в ходе конференции были проведены два круглых стола. На первом рассматривался вопрос об оценочном элементе лексического значения и его фиксации в словаре, на втором обсуждались проблемы, касающиеся грамматики словаря и грамматических словарей.

На всех заседаниях конференции проходили обсуждения и дискуссии, которые способствовали освещению на новом, более высоком уровне, различных проблем, непосредственно выходящих в практику лексикографии.

4—5 октября 1987 г. состоялось заседание расширенного пленума Научного совета АН СССР по лексикологии и лексикографии (под председательством чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой), посвященное обсуждению принципов создания нового словаря современного русского языка, проект которого подготавливается в словарном отделе ЛО ИЯ АН СССР. Были прослушаны доклады Ф. П. Сороколетова «Словарь современного русского языка (второй половины XX в.)» и Т. А. Корованенко «Источники „Словаря современного русского языка"», после чего состоялось их обсуждение.

В докладе Ф. П. Сороколетова речь шла о том, что в настоящее время ощущается острая общественная потребность в словаре собственно современного русского литературного языка. Словарь, проект которого планируется подготовить к первой половине 1989 г., будет охватывать материалы относительно ограниченного хронологического периода — с 50-х по 80-е годы XX в. В нем предполагается расширить объем лингвистической информации о слове и провести более последовательное отражение ее в тексте словаря. Каждая словарная единица получит разностороннее и полное описание в системном, функциональном и нормативном аспектах. Вместо цитат будут широко представлены многообразные сочетания и речения. Авторы разрабатываемого проекта словаря предлагают алфавитный принцип расположения материала. Планируемый объем словаря — около 200 тыс. слов. Его общий замысел предполагает определенные новые решения многих проблем: новое, более свободное отношение к терминологии, к разговорно-просторечной стихии; новый подход к стилистике словаря, к форме толко-

вания, к показу сочетаемости и т. д. Однако, подчеркнул Ф. П. Сороколетов, некоторые важнейшие вопросы, касающиеся обоснования замысла словаря, еще требуют обсуждения на заседании пленума. Это, в частности, вопросы о его хронологических рамках, о словнике, о характере толкования слов (в связи с проблемой отражения культурно-исторического аспекта), о грамматике и стилистике словаря, об иллюстрировании (цитации), о фразеологии, о характере расположения материала.

В докладе Т. А. Корованенко рассматривались два основных аспекта проблемы отбора источников словаря: отношение к научной терминологии и интернационализмам и вопрос о пополнении картотеки, о совершенствовании лексикографической базы. Автор отметил, что основным принципом в отборе источников словаря в соответствии с его задачами и временными границами является расширение их типов и жанров. Словник словаря по сравнению с предшествующими лексикографическими изданиями будет в значительной степени обновлен и пополнен за счет отражения фактов литературного языка позднейшего времени, извлеченных из произведений всех жанров и стилей современного литературного языка. Представляется целесообразным включить в фонд источников новые их разновидности, не получившие еще марки «традиционных»: газеты, произведения переводной литературы, записи устной речи (с привлечением материалов радио- и телепередач).

В процессе обсуждения прочитанных докладов были высказаны ценные замечания. Д. Н. Шмелев отметил, что необходимо давать в словаре те значения слов, которые существуют в классической литературе и к настоящему времени уже устарели; тогда станет ясно, откуда возникло новое — возможно, переносное — значение, включенное в словарь современного языка. Он также коснулся вопроса о подаче устойчивых словосочетаний («сентем», по определению В. Г. Гака). О необходимости введения новой системы помет и принятия научного понимания функционально-стилистического распределения материала в словаре говорили Р. М. Цейтлин, Н. А. Баскаков, Н. Ю. Шведова, Д. Н. Шмелев. Расширить показ сочетаемости, обратить внимание на усиление зоны системных связей предложили С. Г. Бережан, В. Н. Телия, Н. З. Котелова, В. Г. Гак. Оживленную дискуссию вызвал вопрос о хронологических рамках словаря. Р. М. Цейтлин предложила несколько расширить их (1945—1990 гг.); Н. Ю. Шведова и Н. А. Баскаков отметили, что не вполне понятны причины отказа от описания лексики первой половины XX в. По их мнению, нужно ориентироваться на отражение материалов XX в. в целом (исключая, может быть, лишь дореволюционный период). Не менее спорным оказался и вопрос о словарных иллюстрациях. Мысль о том, что речения предпочтительнее цитат из художественной литературы, была высказана В. Г. Гаком, К. С. Горбачевичем, Н. З. Котеловой; противоположную точку зрения высказала Л. П. Калакуцкая. Говоря о принципе расположения материала, Р. М. Цейтлин, Н. Ю. Шведова, Д. Н. Шмелев и К. С. Горбачевич рекомендовали авторам словаря не отказываться от частичного гнездования; Н. З. Котелова, напротив, поддержала идею строго алфавитного порядка слов. Вопроса о терминологии коснулись Г. Г. Ивлева, Н. А. Баскаков, Н. З. Котелова. А. А. Алексеева и К. С. Горбачевич подчеркнули, что было бы желательно увеличить в словаре объем энциклопедических сведений. Были высказаны замечания и по некоторым другим проблемам: по вопросам включения в словарь фразеологии и народной лексики (Д. Н. Шмелев), демонстрации этимологии слова (В. Г. Гак, Н. А. Баскаков), унификации толкований и подачи грамматической информации (С. Г. Бережан), необходимости перестроить словарную статью и заново продумать ее структуру (Н. Ю. Шведова, В. Н. Телия), включения элементов историзма (Н. З. Котелова, Н. Ю. Шведова) и др.

В ответном слове Ф. П. Сороколетов сказал, что все замечания, высказанные в ходе заседания, будут тщательно изучены. Первое серьезное обсуждение принципов нового словаря, состоявшееся на пленуме, должно оказать большую помощь его авторам в деле составления словаря современного национального языка.

Смирнова Ю. А. (Москва)

22—24 октября 1987 г. в Тартуском государственном университете состоялась научно-теоретическая конференция по интерлингвистике «Плановые языки: итоги и перспективы». В ней приняли участие ученые вузов и академических учреждений Тарту, Таллина, Москвы, Минска, Донецка, Одессы, Симферополя, Тернополя, Вильнюса, Свердловска, Киева и др. городов страны. Местом проведения такой конференции Тарту избран неслучайно. В Эстонии существуют давние интерлингвистические традиции. В 80-90-е годы XIX в. в Тарту работал

И. А. Бодуэн де Куртенэ, специально занимавшийся вопросами интерлингвистики. В начале XX в. выделяется имя Я. Линцбаха, автора монографии «Принципы философского языка» (Пг., 1916; об этом эстонском интерлингвисте на конференции выступил с докладом Р. Круус). В 20-е годы в Таллине приобрел известность Э. Валь, создатель планового языка (ПЯ) окциденталь-интерлингва и издатель интерлингвистического журнала «Kosmoglott». С довоенных лет много внимания уделяет вопросам международных искусственных языков (МИЯ) акад. П. Аристэ. С 1982 г. под редакцией А. Д. Дуличенко выходит ежегодная серия научных сборников «Interlinguistica Tartuensis», посвященная разработке актуальных проблем международной языковой коммуникации. Серия получила признание у нас в стране и за рубежом. Тартуский университет становится одним из центров интерлингвистических исследований в СССР.

С приветственным словом к участникам конференции обратился акад. П. Аристэ. Он напомнил об основных вехах в развитии отечественной интерлингвистики и о тех исследованиях, которые ведутся в Тартуском университете, поделился воспоминаниями о личных контактах с некоторыми интерлингвистами довоенного и послевоенного времени.

Тематически работа конференции была построена таким образом: в первый день обсуждались общетеоретические вопросы интерлингвистики, второй день был посвящен эсперантологии, последний день — анализу языковой ситуации в мире и интерлингвистическим аспектам этнических языков.

В докладе А. Д. Дуличенко (Тарту) «МИЯ: объект лингвистики и интерлингвистики» рассмотрены теоретические аспекты оппозиции «этнически замкнутые языки — трансэтнические языки» и определено место международных искусственных языков среди последних. На материале изучения более 900 лингвопроектов, созданных к настоящему времени, предложена иерархия форм существования МИЯ, каждая из которых соотносительна с определенными этапами развития интерлингвистического конструирования, т. е. носит конкретно-исторический характер. Сущность МИЯ вскрывается анализом их генетической, структурной, функциональной и динамической моделей. Функциональная модель этих языков формируется с 70—80-х годов XIX в. (волапюк, эсперанто) и ныне воплощена в эсперанто, функциональный спектр которого приближается к таковому в этнических языках. Функционирование МИЯ воздействует на его структуру, намечается асимметрия плана выражения и плана содержания, усложняются связи элементов подсистем и т.д. О. В. Александрова (Москва) в докладе «Интерлингвистическая семиотика и семиологические основы естественного человеческого языка» подчеркнула, что хотя интерлингвистика изучает вспомогательные языки, она тем не менее опирается на широкие обобщения, извлекаемые из анализа естественных семиологических систем. Единство знакового и интерлингвистического проявляется в терминологии. Поэтому создание терминосистемы общенаучного типа на одном из ПЯ международного общения упорядочило бы использование терминов представителями разных научных школ. С. Н. Кузнецов (Москва) в докладе «Развитие планового языка» обосновал мысль о том, что изучение фактов изменчивости в искусственном языке (ИЯ) обещает прояснить не только вопрос о возможности развития такого языка, но и расширить наши представления о бытовании любого языка во времени, т. е. использовать интерлингвистические данные для корректировки общелингвистических воззрений на язык. Интерлингвистика шла от «антиэволюционизма» ранних философских языков XVII—XVIII вв. к системам, открытым для диахронических изменений,— социализованным (получившим применение в общественной коммуникации) искусственным языкам, регулируемым как «сверху», т. е. академиями (волапюк, идо), так и «снизу» т. е. носителями языка (эсперанто). В последнем случае речь идет в той или иной мере о стихийной саморегуляции, характерной для любого этнического языка. Доклад Д. Бланке (Берлин) был посвящен «Лингвофилософским и идеологическим мотивам создания плановых языков». Из этих мотивов наиболее существенными являются: стремление реализовать на практике конкретные лингвофилософские концепции, облегчить международные сношения, добиться определенных социальных изменений путем введения международного языка и др.

Ряд докладов касался теоретических аспектов построения ПЯ. С. В. Ткачев (Тернополь) в докладе «К проблеме поиска универсалий разных форм мышления для построения ПЯ» приходит к выводу о том, что оптимальный вариант ПЯ следует создавать на базе не логического, а образного мышления. О. В. Лещак (Тернополь) прочел доклад «Взаимоотношение единиц мышления и языка и проблемы формализации» Он считает, что для построения формализованных систем важно продолжать усилия в изучении тех свойств этнического языка, которые делают его гибкой, динамичной и открытой системой. В докладе П. И. Копа-

нева (Минск) «О логико-понятийной функции естественных языков как основе межъязыковой коммуникации и создания искусственных семиотических систем» выражена мысль, что благодаря логико-понятийной функции подъязыки науки и техники приближены к искусственным кодовым системам. Именно в подъязыках науки развивается сильная тенденция к интернационализации, что ставит задачу создания семантической записи, общепонятной для всех народов А. С. Мельников (Ростов-на-Дону) в докладе «Некоторые семантические проблемы выбора и обработки лексики для ПЯ» детально рассмотрел вопросы, связанные с ограничением количества слов в ПЯ, требованием их моносемантичности и отражения специфических реалий. В. П. Губарев (Москва) проанализировал вопросы конструирования фразеологии для социализованного МИЯ. Проект ИЯ априорного типа, ориентированного на работу с ЭВМ, предложил А. В. Колегов (Одесса). Е. Рубинова (Тарту) проанализировала японский проект всеобщего языка боабому Фуишики Окамото. В связи с вопросом общения человека с компьютером на важную роль ПЯ как посредника обратил внимание П. В. Секирин (Киев).

Устроители конференции провели специальное заседание, посвященное 100-летию функционирования эсперанто, широко отмечавшемуся во всем мире по инициативе ЮНЕСКО. На общетеоретическую и социолингвистическую значимость эсперанто указали в ряде выступлений П. Аристэ, С. Н. Кузнецов, А. Д. Дуличенко и др. В частности, отмечалось, что этот язык, несмотря на объективные трудности в его функционировании (дисперсность его сторонников, отсутствие естественной среды для проявления ряда коммуникативных функций и др.), дает пищу для плодотворных размышлений о языковой сущности вообще. На его примере демонстрируется процесс «оестествления» рационально созданного языка, т. е. процесс внедрения его в социум, видны те приращения и наслоения семантических и общеграмматических свойств, которые возникают, когда язык находится в реализации, «в действии». В ряде докладов рассматривались частные вопросы эсперантологии. Так, В. А. Корнилов (Донецк) в докладе «Эсперантские причастия как проблема общей и сравнительной партиципологии» осветил проблему пассивных причастий, полагая, что эсперантская причастная модель может способствовать развитию общей партиципологии. Н. Л. Заиченко (Симферополь) и Л. Н. Мясникова (Великие Луки) считают, что эсперантская фразеология должна быть выделена в самостоятельное направление эсперантологии. О сложении речевого этикета в эсперанто говорила М. А. Ким (Москва). А. В. Корженков (Свердловск) выявил характерные морфологические и словообразовательные особенности у русских эсперантоговорящих, навеянные русским языком. В докладе П. Ю. Алвре (Тарту) «Типологические параллели финно-угорских языков и эсперанто» показаны возможности типологических исследований, компонентом которых является социализованный МИЯ. Сравнение эсперанто и этнических языков было проведено также А. Вайтплавичюсом (Вильнюс). Прикладной аспект эсперантологии затронула Е. Г. Шевченко (Москва) (речь шла о составлении большого русско-эсперантского словаря). Истории эсперантологии в Эстонии коснулся в докладе «Б. Оясон и грамматика эсперанто» Э. К. Эрнитс (Тарту).

Социолингвистические и интерлингвистические аспекты современной мировой языковой ситуации обсуждались в последний день конференции. С. Н. Кузнецов в докладе «Мировая языковая ситуация и вопрос о средстве международного общения» выделил основные типы языков международного общения. Мировая языковая ситуация развивается не в сторону одноязычия, как нередко полагали, трактуя вопрос о будущем общечеловеческом языке, а в сторону усложнения многоязычия с выделением специфических «экологических ниш» для языков разного происхождения и разного диапазона использования. Г. А. Цыхун (Минск) в докладе «Языковая интеграция, языковая экология и языковые союзы» рассмотрел процесс зарождения языковой экологии в результате осознания исключительной ценности и уникальности отдельных языков и всего лингвистического ландшафта мира. При изучении языковых союзов интерлингвистика может получить надежную материальную и теоретическую базу. Конкретные пути решения проблемы межъязыкового общения были освещены на примере скандинавских стран Д. Р. Цискарашвили (Тарту). В докладе Ю. Маадла рассмотрены интерлингвистические аспекты латинского языка и показан вклад, который внесла латынь в интерлингвистическое конструирование. Специфика функционирования латыни за пределами романского мира, в частности, в Белоруссии в XIV—XVIII вв., показана В. М. Свежинскими и Г. И. Шевченко (Минск).

Выступивший в заключение А. Д. Дуличенко (доклад «Интерлингвистика, ее значение и вклад в развитие общелингвистической теории») отметил, что попытки создания языка рациональным

путем — один из старейших лингвистических экспериментов. Изучение интерлингвистического наследия позволяет выявить факты апробации в русле интерлингвистического конструирования ряда подходов и идей, предвосхитивших некоторые положения общей лингвистической теории. С этих позиций докладчик рассмотрел вклад интерлингвистики в разработку теории инвариантности, знаковой теории языка, комбинаторного и трансформационного методов, технологического подхода к языку, теории языковых универсалий, социальной управляемости языка и др.

В завершение конференции был проведен круглый стол «Актуальные проблемы современной интерлингвистики», на котором обсуждались следующие вопросы: статус интерлингвистики и ее место среди лингвистических дисциплин, интерлингвистика и инженерная лингвистика, языковая интеграция и ее значение для интерлингвистики, аспекты и границы социальной управляемости языка, формы существования международного языка.

Учитывая актуальность интерлингвистической проблематики, важность науки о международном языке для решения ряда общетеоретических вопросов и необходимость дальнейших исследований в этом направлении, решено проводить такие конференции на базе Тартуского университета регулярно.

Тезисы конференции опубликованы отдельным сборником «Плановые языки: итоги и перспективы» (Тарту, 1988). Материалы конференции составят 6-й том серии «Interlinguistica Tartuensis».

Дуличенко А. Д. (Тарту),
Кузнецов С. Н. (Москва)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 6 1988

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ» В 1988 г.

Приветствие X Международному съезду славистов 4

СТАТЬИ

Абаев В. И. (Москва). Parerga 3. К семантике глаголов с основным значением «делать» 3
Алексеева А. А. (Ленинград). Задачи научного издания славянских и русских источников XI—XVI вв. 4
Бидэм Кр. (Файф, Шотландия). Видовое значение конструкции *«быть + + страдательное причастие»* 6
Бирнбаум Х. (Лос-Анджелес). Новые гипотезы о славянской прародине (С заметками по поводу происхождения индоевропейцев) 5
Бомхард А. Р. (Бостон). Современные направления реконструкции праиндоевропейского консонантизма 2
Бомхард А. Р. (Бостон). Реконструкция прасемитской системы согласных 5
Булыгина Т. В., Степанов Ю. С. (Москва). Теория грамматики и теоретическая грамматика (К выходу в свет «Грамматики литовского языка» на русском языке) 3
Верещагин Е. М. (Москва). Терминотворчество Кирилла и Мефодия . . . 2
Вернер Г. К. (Таганрог). Опыт реконструкции общеенисейской деклинационной модели 5
Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). К вопросу о системе смычных и фрикативных «минойского» языка по показаниям греческой линейной письменности класса В 1
Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). Р. О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами 3
Гамкрелидзе Т. В. (Тбилиси). Происхождение и типология алфавитной системы письма (Письменные системы раннехристианской эпохи) . . . 5,6
Гринбаум Н. С. (Ленинград). Язык древнегреческой хоровой лирики (К итогам исследований) 2
Дашкевич Я. Р. (Львов). Codex Cumanicus — действительно ли Cumanicus? 2
Деснидкая А. В. (Ленинград). Теория ранней ступени номинативного строя (О труде С. Д. Кацнельсона «Историко-грамматические исследования») 6
Домашнев А. И. (Ленинград). К истории создания концепции национального варианта языка 5
Дьячков М. В. (Москва). Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков 5
Елизаренкова Т. Я. (Москва). О морфонологии хинди (К постановке проблемы) 1
Журавлев А. Ф. (Москва). Лексикостатистическая оценка генетической близости славянских языков 4
Зайлер Г. (Кельн). Инвариантность и вариативность: параметрическая модель исследования языковых универсалий 3
Золотова Г. А. (Москва). Синтаксические основания коммуникативной лингвистики 4
Зубкова Л. Г. (Москва). Соотношение звуковых единиц со значащими в типологическом аспекте (Ономасиологический и семасиологический подходы в фонологии) 3
Иванов Вяч. Вс. (Москва). Об исследовании структуры лингвистики и ее языка 2
Климов Г. А. (Москва). Реконструкция и диахроническая интерпретация в компаративистике 3
Коссек Н. В. (Москва). К вопросу о текстологии кирилло-мефодиевских переводов 2
Кунин А. В. (Москва). Асимметрия в сфере фразеологии 3
Лсонтьев А. А. (Москва). Генезис семантической теории: античность и средневековье 1

Орел В. Э., Столбова О. В. (Москва). К реконструкции праафразийского вокализма 5
Панфилов В. С. (Ленинград). О вьетнамских классификаторах 4
Петров В. В. (Москва). Язык и логическая теория: в поисках новой парадигмы 2
Прицак О. И. (Кембридж, Массачусетс). Тюрко-славянское двуязычное граффити XI столетия из собора св. Софии в Киеве 2
Руденко Д. И. (Харьков). Собственные имена в контексте современных теорий референции 3
Румянцев М. К. (Москва). Синтез китайских тонов 1
Скляревская Г. Н. (Ленинград). Еще раз о проблемах лексикографической стилистики 3
Степанов Ю. С. (Москва). Индоевропейское предложение: лексические вхождения в структурные схемы 1
Улуханов И. С. (Москва). Грамматический род и словообразование . . . 5
Шмальстиг У. Р. (Пенсильвания). К индоевропейской проблеме (В связи с выходом в свет книги Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова «Индоевропейский язык и индоевропейцы») 1
Шмидт К. Х. (Бонн). Значение новых данных для реконструкции праязыка 4
Шмитт Р. (Саарбрюккен). Прагматика и систематика в ларингальной теории 1
Эдельман Д. И. (Москва). Некоторые проблемы сравнительно-исторической морфологии иранских языков 6
Юрченко А. И. (Москва). Изборник 1073 года: интерпретация основных древнерусских философских терминов 2

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Винокур Г. О. О возможности всеобщей грамматики 4
Кацнельсон С. Д. Заметки о падежной теории Ч. Филлмора 1
Успенский Б. А. (Москва). Одна из первых грамматик русского языка (Грамматика Жана Сойе 1724 г.) 1
Флоренский П. А. Антиномия языка (Вступ. статья Вяч. Вс. Иванова) 6

ОБЗОРЫ

Даниленко В. П. (Иркутск). Ономасиологическое направление в истории грамматики 3
XXIX сессия Постоянной международной алтаистической конференции 4
Иванов Вяч. Вс. (Москва). Современные проблемы типологии (К новым работам по американским индейским языкам бассейна Амазонки) 1
Малаховский Л. В. (Ленинград). Новое в англо-американской лексикографии 6
Плунгян В. А. (Москва). О работах группы формальной лингвистики Парижского университета -VII 5
XI Международный конгресс фонетических наук 2
Семенас А. Л. (Москва). Лингвистические исследования в Китае 1
XIV Международный конгресс лингвистов 2

РЕЦЕНЗИИ

Алвре П. Ю. (Тарту). *Baker R.* The development of the Komi case system. A dialectological investigation 4
Алисова Т. Б. (Москва). *Гак В. Г.* Введение во французскую филологию 5
Бокадорова Н. Ю. (Москва). Понимание историзма и развития в языкознании первой половины XIX века 6
Бородина М. А. (Ленинград). Дикционар диалектал (Кувинте, сенсурь, формс) 3
Волкова З. Н., Шахнарович А. М. (Москва). *Долинин К. А.* Интерпретация текста 3
Горелов И. Н. (Саратов). *Павлов В. М.* Понятие лексемы и проблема отношений синтаксиса и словообразования 1
Дарбеева А. А., Тенишев Э. Р. (Москва). *Орловская М. Н.* Язык «Алтан тобчи» 6
Ермакова О. П. (Калуга). *Тихонов А. Н.* Словообразовательный словарь русского языка 2
Живов В. М. (Москва). *Янин В. Л., Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.) 4
Жлуктенко Ю. А. (Киев). Wurdboek fan de Fryske taal 6

Загиров В. М. (Махачкала). Тюркско-дагестанские языковые контакты; Тюркско-дагестанские языковые взаимоотношения 5
Зиндер Л. Р., Штерн А. С. (Ленинград). *Джапаридзе З. Н.* Перцептивная фонетика (Основные вопросы) 1
Ижакевич Г. П. (Киев). Русский язык в Белоруссии 1
Калакуцкая Л. П. (Москва). Dictionary of Russian Abbreviations 1
Касевич В. Б. (Ленинград). *Антипова А. М.* Ритмическая система английского языка 1
Кибрик А. Е. (Москва). Грамматические концепции в языкознании XIX века 3
Клычков Г. С. *Журавлев В. К.* Диахроническая фонология 5
Котов Р. Г., Рябцева Н. К. (Москва). *Марчук Ю. Н.* Методы моделирования перевода 1
Кубрякова Е. С., Шахнарович А. М. (Москва). *Караулов Ю. Н.* Русский язык и языковая личность 5
Кумахов М. А. (Москва). *Smeets R.* Studies in West Circassian phonology and morphology 1
Лаанест А. (Таллин). Dialectologia Uralica 3
Луценко Н. А. (Донецк). *Николаева Т. М.* Функции частиц в высказывании (На материале славянских языков) 3
Маковский М. М. (Москва). *Mann S. E.* An Indo-European comparative dictionary 3
Маковский М. М. (Москва). *Lehmann W. P.* Gothic etymological dictionary 5
Мещерский Н. А. *Франчук В. Ю.* Киевская летопись 1
Мокиенко В. М. (Ленинград). Историческая типология славянских языков 2
Невлева Т. Н. (Ленинград). *Чан Нгок Тхем.* Система текстовой связности вьетнамского языка 6
Орел В. Э. (Москва). *Hadrovics L.* Ungarische Elemente im Serbokroatischen 2
Петрова З. М. (Ленинград). *Вомперский В. П.* Словари XVIII века 5
Постовалова В. И., Шрейдер Ю. А. (Москва). *Степанов Ю. С.* В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства 2
Семенюк Н. Н. (Москва). *Миронов С. А.* История нидерландского литературного языка (IX—XVI вв.) 2
Тенишев Э. Р., Чеченов А. А. (Москва). *Кажибеков Е. З.* Глагольно-именная корреляция гомогенных корней в тюркских языках (Явление синкретизма) 3
Уваров Ю. П. (Москва). *Гринева Е. Ф., Громова Т. Н.* Словарь разговорной лексики французского языка (На материале современной художественной литературы и прессы) 6
Улуханов И. С. (Москва). Теория грамматического значения и аспектологические исследования 2
Фёйе Ж. (Нант). *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы 4
Шарашидзе Ж. (Париж). *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы 4
Шульце В. (Бонн). *Алексеев М. Е.* Вопросы сравнительно-исторической грамматики лезгинских языков. Морфология. Синтаксис 3
Щербак А. М. (Ленинград). Altaistic studies 1
Эдельман Д. И. (Москва). *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы 4

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 2,5,6

Технический редактор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 29.08.88 Подписано к печати 17.11.88 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 13,0 Усл. кр.-отт. 75,7 тыс. Уч.-изд. л. 14,7 Бум. л. 5,0
Тираж 5748 экз. Зак. 1971

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6